

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIV

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1965

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Э. А. Макаев (Москва). Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания	3
Б. А. Серебрянников (Москва). О некоторых приемах восстановления архаических черт грамматического строя языков	20

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. К. Журавлев (Минск). Генезис протезов в славянских языках	32
В. И. Лыткин (Москва). Еще к вопросу о происхождении русского аканья	44
Н. З. Котелова (Ленинград). О применении объективных и точных критериев описания сочетаемости слов	53
О. М. Барсова (Москва). Основные проблемы трансформационного синтаксиса	65

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова (Москва). Об эталоне сопоставительного описания морфологии русских говоров	74
В. А. Москович (Москва). Опыт квантитативной типологии семантического поля	80
И. А. Мельчук (Москва). О фонологической трактовке «полугласных» в испанском языке	92
З. П. Степанова (Москва). Ареал распространения глаголов на -ē- в индоевропейских языках	110

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Л. Ф. Пичурин (Томск). К вопросу о применении математики в языкознании	119
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. Г. Костомаров, Б. С. Шварцкопф (Москва). Работы по вопросам культуры русской речи (1962—1965)	121
--	-----

Рецензии

А. В. Исаченко (Прага). Два пособия по исторической грамматике русского языка	129
Ф. П. Фидин (Москва). В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке	137
А. И. Горшков (Коломна). В. Д. Лесви. Очерки стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика)	143

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

М. И. Боргояков (Абакан). Языкознание в Хакасском НИИ языка, литературы и истории	148
Хроникальные заметки	150
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	166

Э. А. МАКАЕВ

**ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОГО
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИНДООЕВРОПЕЙСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

Современное состояние индоевропейского сравнительного языкознания — это период утраченных иллюзий и больших ожиданий. В начале XX в. была завершена кодификация сравнительной грамматики индоевропейских языков на младограмматической основе, нашедшая выражение в классическом «Grundriß»¹ Бругмана и Дельбрюка. В этом труде систематизировался материал всех к тому времени известных индоевропейских языков и подводились итоги многочисленным разысканиям компаративистов первой и второй половины XIX в. Отличительной чертой данного труда, изобиловавшего огромным количеством точных и проверенных фактов и множеством тонких и правильных наблюдений, было отсутствие общей концепции статуса и эволюции общиндоевропейского языкового типа и его соотношения с отдельными индоевропейскими языками в терминах пространственной и хронологической соотнесенности отдельных явлений, что имело следствием прямолинейное и рядоположное возведение всех или большинства явлений индоевропейских языков к общиндоевропейскому состоянию. Индоевропейский праязык оказался при подобной процедуре своеобразным складочным местом для многочисленных регулярных образований и аномалий отдельных индоевропейских языков, благодаря чему праязыковая историческая перспектива по сути дела была сведена к нулю. Естественно, что при таком подходе не мог быть со всей серьезностью поставлен вопрос о критериях архаизмов и инноваций как в самом праязыке, так и в засвидетельствованных индоевропейских языках. Адекватному описанию общиндоевропейского состояния мешало также сознательное изъятие глоттогонической проблематики как не внушающей доверия лингвистической процедуры². К этому следует добавить, что кодификация сравнительной грамматики индоевропейских языков была достигнута лишь в области фонетики и морфологии; сравнительный синтаксис индоевропейских языков Дельбрюка ни в коей мере не являлся сравнительным синтаксисом: это было скорее собрание и сопоставление подчас совершенно гетерогенных структур отдельных индоевропейских языков без попытки соотнести их с праязыковым состоянием.

Уточнения, дополнения, а также частичная ревизия «Grundriß»¹ Бругмана и Дельбрюка были предприняты еще в начале XX в. Они шли в следующих направлениях:

а) В своем «Введении в сравнительное изучение индоевропейских языков» А. Мейе еще в 1903 г. пытался ввести в обиход сравнительной

¹ K. Brugmann, B. Delbrück, Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2-te Aufl., Straßburg, 1897—1916.

² Традиционная младограмматическая точка зрения на глоттогоническую проблематику со всей ясностью выражена в докладе Е. Куриловича. См.: J. Kurylowicz, On the methods of internal reconstruction, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 9.

грамматики индоевропейских языков некоторые идеи своего учителя Ф. де Соссюра. Именно последним было продиктовано рассмотрение индоевропейского праязыка как системы соответствий между отдельными индоевропейскими языками. Элементы системного анализа языка, в то время только прокладывавшего себе дорогу, явственно ощущаются в замечательном руководстве А. Мейе. При всей новизне и плодотворности целого ряда весьма важных положений, мощно повлиявших на дальнейшее развитие сравнительного языкознания, «Введение» Мейе не порывало с традиционными представлениями сравнительного индоевропейского языкознания; достаточно указать на то, что в превосходном разделе о сонантах Мейе даже в последнем издании своего «Введения»³ не счел возможным использовать учение Ф. де Соссюра о сонантических коэффициентах.

б) В работах Богородицкого⁴, хотя и в робкой, но определенной форме была сделана попытка ввести принцип относительной хронологии в сравнительную грамматику индоевропейских языков.

в) Г. Хирт в многочисленных этюдах, обобщенных впоследствии в семитомной «Индогерманской грамматике»⁵, в прямой оппозиции к «Grundriss» у Бругмана и Дельбрюка, стремясь обосновать именно происхождение индоевропейского глагола, пытался утвердить глоттогоническую проблематику как неотъемлемую часть сравнительной грамматики индоевропейских языков. При всей шаткости, легковесности и, неудовлетворительности глоттогонических спекуляций Хирта его «Индогерманская грамматика» поражала своим традиционным и консервативным характером в трактовке фонетического, морфологического и синтаксического строя индоевропейских языков.

§ 2. При всех указанных дополнениях и уточнениях контуры сравнительной грамматики индоевропейских языков оставались непоколебленными вплоть до открытия и расшифровки тохарских и анатолийских индоевропейских языков. Подобно тому, как открытие санскрита привело к созданию сравнительной грамматики индоевропейских языков в начале XIX в., расшифровка клинописного хеттского языка, а впоследствии и других анатолийских языков индоевропейского происхождения, привела к полному преобразованию сравнительной грамматики индоевропейских языков, к радикальному пересмотру концепций об архаизмах и инновациях в отдельных индоевропейских языках, а тем самым и к вопросу о самом праязыке и его членении. Помимо хетто-лувийских языков, преобразованию сравнительной грамматики индоевропейских языков способствовали следующие факторы:

а) Внедрение принципов системного анализа в сравнительно-историческую методiku исследования, не только давшее возможность фонологической интерпретации сравнительной фонетики индоевропейских языков, но и обеспечившее изоморфное описание фонемного, морфемного и синтагматического уровней языка при строгом соблюдении принципа иерархичности языковых явлений и процессов, позволило в свою очередь значительно расширить возможности сравнительной и внутренней реконструкции и тем самым более объективно поставить вопрос о восстановлении текста на индоевропейском праязыке. Именно принципы системного анализа дают возможность очертить контуры сравнительного синтаксиса

³ A. Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes, 1934, Paris (A. Meillet, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938).

⁴ В. Богородицкий, Краткий очерк сравнительной грамматики ариевропейских языков, Казань, 1917.

⁵ H. Hirt, Indogermanische Grammatik, I—VII, Heidelberg, 1921—1937.

индоевропейских языков и тем самым решить вопрос о том, какие синтаксические структуры можно приписать индоевропейскому праязыку и каким образом, на основе трансформационного анализа, из общеиндоевропейских ядерных конструкций можно получить синтаксические модели отдельных индоевропейских языков. В качестве образца описания индоевропейской морфологии на основе принципа иерархичности можно указать на последнюю книгу Е. Куриловича «Морфологические категории индоевропейских языков»⁶.

б) Углубление методики общеиндоевропейской реконструкции на основе разработки и применения в н у т р е н н е й реконструкции. Именно последняя позволяет более строго и объективно разграничить архаизмы и инновации и тем самым определить, какие категории можно приписать исходному состоянию отдельных индоевропейских языков и, путем последовательного и ступенчатого нисхождения, индоевропейскому праязыку. Внутренняя реконструкция обеспечивает также реальную постановку вопроса о периодизации общеиндоевропейского языкового состояния. Современное состояние общелингвистической теории позволяет рассматривать внутреннюю реконструкцию как неотъемлемую часть системного описания сравнительной грамматики индоевропейских языков.

в) Внедрение принципов пространственной лингвистики в сравнительно-историческое языкознание. Преимущество данной методики, подробно рассмотренной в нашей работе «Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики»⁷, заключается в том, что она обеспечивает возможность вычленения на основе ряда структурных признаков определенных ареалов индоевропейской языковой общности, выяснение условий или возможности контактирования данных ареалов, установление соотношения моделей различных уровней с общеиндоевропейскими моделями и определение архаизмов и инноваций в отдельных ареалах на основе положения ареальных и общеиндоевропейских моделей (см. об этом ниже).

г) Введение принципов типологических исследований в сравнительную грамматику индоевропейских языков. Методика типологических исследований, в настоящее время в значительной мере перекрывающаяся с методикой пространственной лингвистики, позволяет более выпукло и более надежно отделить явления, возводимые к генетически общему источнику, от явлений, формирующихся в результате параллельного и независимого развития в нескольких ареалах, что является одним из важных критериев установления архаизмов и инноваций в отдельных индоевропейских языках⁸. Кроме того, типологические критерии чрезвычайно важны (подчас они являются просто решающими) при постановке вопроса, весьма актуального именно в настоящее время, о формах и степени контактирования индоевропейских языков с неиндоевропейским языковым миром: с финно-угорскими (или, шире, алтайскими), кавказскими, семитскими языками, а возможно также с языками Дальнего Востока как в терминах отдаленного генетического родства, так и в терминах языковых союзов.

§ 3. Вышеуказанные факты явились и продолжают являться решающими в постепенном преобразовании сравнительной грамматики индоевропейских языков, далеко не завершеном в настоящее время, в связи

⁶ J. Kuryłowicz, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg 1964.

⁷ Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М.—Л., 1964.

⁸ Э. А. Макаев, Сравнительная, сопоставительная, типологическая грамматика, ВЯ, 1964, 1.

с чем продолжают оставаться открытыми многие вопросы первостепенной важности. Нет нужды указывать на то, что в рамках небольшого этюда невозможно остановиться на всех этих дискуссионных вопросах. Здесь будут рассмотрены только аспекты и проблемы сравнительного индоевропейского языкознания, которые с нашей точки зрения представляют наибольший интерес.

1. Возможная модель индоевропейского праязыка

Одной из иллюзий классической грамматики индоевропейских языков была гипотетическая общиндоевропейская модель, извлеченная в основном из данных ведического диалекта и языка Гомера: их флективная полнота рассматривалась как наследие индоевропейского праязыка. Данная модель остается непоколебленной и в настоящее время у эпигонов младограмматической школы, например в работах Г. Крае⁹. В то же время на основе сравнительной реконструкции Мейе и его школе удалось обнаружить значительное количество инноваций отдельных индоевропейских языков, что было достигнуто путем строгого разграничения явлений, генетически восходящих к общиндоевропейской эпохе, и явлений, проистекающих из конвергентов развития различных индоевропейских языков. Исследования, основанные на внутренней реконструкции (например, работы Уоткинса о происхождении строя кельтского глагола)¹⁰, подтвердили и значительно дополнили наблюдения Мейе. Наконец, итальянские компаративисты (особенно Девото¹¹ и Пизани¹²), хотя и в несколько гипертрофированной форме, неоднократно подчеркивают, что расхождения между индоевропейскими языками носят более древний характер, а сходства между ними — позднейшего происхождения. Все вышеизложенное подготавливает к выводу, что целый ряд особенностей именного и глагольного строя является следствием параллельного развития отдельных индоевропейских языков и не может быть приписан общиндоевропейскому языку. Однако необходимо тут же оговорить, что многие исследователи склонны весьма широко интерпретировать общиндоевропейское состояние, поэтому задачей первостепенной важности является разработка хронологической стратиграфии индоевропейского праязыка. Так, в уже упомянутой своей последней книге Е. Курилович считает возможным на основе ряда соображений, которые здесь не рассматриваются, приписать общиндоевропейскому языку наличие с е и падежей¹³ [звательный падеж как не отвечающий символическому полю (в терминологии Бюлера «Symbolfeld») не включается в состав парадигмы с синхронной точки зрения, хотя в диахроническом плане Курилович придает данному падежу большое значение]. В то же время Курилович полагает, что при помощи внутренней реконструкции можно дойти до древнейшего этапа общиндоевропейского состояния и дать следующую схему падежей:

I	Ед. число:	им., вин., зв.	нулевое окончание
II	»	» род., отлож.	окончание -s
III	»	» местн.	» -i

⁹ H. Krahe, *Indogermanische Sprachwissenschaft*, I—II, Berlin, 1962—1963.

¹⁰ C. Watkins, *Indo-European origins of the Celtic verb*, I—The sigmatic aorist, Dublin, 1962.

¹¹ G. Devoto, *Storia della lingua di Roma*, Firenze, 1944; е г о ж е, *Origini indeuropee*, Firenze, 1962.

¹² V. Pisani, *Geolinguistica e indeuropeo*, Roma, 1940; е г о ж е, *Storia della lingua latina*, I, Torino, 1962; е г о ж е, *Zur Sprachgeschichte des alten Italiens*, «Rheinisches Museum für Philologie», 97, 1, 1954.

¹³ J. Kuryłowicz, указ. соч., стр. 199 и сл

Оставляя в стороне отдельные спорные детали построения Куриловича, следует указать на то, что приписать общиндоевропейскому состоянию о д н о в р е м е н н о наличие трехчленной и семичленной парадигмы, естественно, невозможно; поэтому Курилович и указывает на древнейший этап, до которого может дойти реконструкция. Следовательно, внутренняя и сравнительная реконструкция позволяют выделить по меньшей мере два хронологических среза общиндоевропейского языка, которые можно условно обозначить как I ранне- (или прото-) индоевропейский и II позднеиндоевропейский. Структурные модели этих двух срезов, а также их соотношение во многом остаются неясными, что вынуждает ограничиться лишь предварительными замечаниями. Что касается позднеиндоевропейского состояния, то с достаточной степенью вероятности ему можно приписать следующие характерные черты:

а) Фонемный уровень

Описание фонологического строя позднеиндоевропейского языка представляет наибольшие трудности. Прежде всего продолжает оставаться неясной система чередования гласных. Апофоническая теория Куриловича¹⁴, оригинальная и блестящая, является лишь одним из возможных, но не единственно оправданным построением. Ее односторонний, подчеркнута морфологический характер, делает ее элегантною, но одновременно и ущербной. Кроме того, учение Куриловича о редуцированной ступени чередования покоится на весьма шатких основаниях, а его учение о продленной ступени чередования явно неудовлетворительно и должно быть отброшено. Продолжает по-прежнему оставаться неясным место ларингальных в фонологической системе данного периода. Нет единого ответа на вопрос о том, входили ли ларингальные в подсистему согласных (или, согласно иной интерпретации, сонантов) или они составляли особую подсистему, наряду с подсистемой согласных и сонантов. Как известно, на Техасском симпозиуме, посвященном проблеме ларингальных¹⁵, не было достигнуто единства по данному вопросу. Поэтому представляется желательным описание отдельных индоевропейских языков на основе внутренней реконструкции с применением т о ж д е с т в ё н н ы х постулатов ларингальной теории. Следует указать на то, что первый опыт подобного описания, предложенный на вышеупомянутом симпозиуме, не является удовлетворительным именно потому, что постулаты ларингальной теории не были тождественными у его разных участников. Желательно также р а з д е л ь н о е рассмотрение вопроса о возможном участии ларингальных в структурном оформлении слова, включая сюда такие явления, как абсолютное начало слова, допустимые анлаутные чередования, протеза, преформанты и пр., и вопроса о месте и функциях ларингальных в фонологическом и морфологическом строе в общиндоевропейском. До сих пор остается открытым вопрос о том, в какой мере данные хеттолувийских языков являются решающими при обосновании ларингальной теории. Не обращая внимания на старомодную и провинциально окрашенную аргументацию Кронассера¹⁶, следует указать на то, что в недавно опубликованной статье Уайэтта «Структурная лингвистика и ларингальная теория» предлагается вернуться к сонантическим коэффициентам Ф. де Соссюра, т. е. к чисто функциональной интерпретации ларингальной

¹⁴ J. Kuryłowicz, *L'apophonie en indo-européen*, Wrocław, 1956.

¹⁵ Сб. «Evidence for laryngeals», ed. by W. Winter, Austin, 1960.

¹⁶ H. Kronasser, *Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen*, Heidelberg, 1956; его же, *Etymologie der hethitischen Sprache*, Lf. 1, Wiesbaden, 1962, стр. 94—100.

теории, что, по мнению Уайэтта, позволяет вообще игнорировать хеттский материал¹⁷. Следует думать, что подобный вывод является преждевременным и недоказуемым до тех пор, пока не будут разработаны в достаточной степени этимологические основы хетто-лувийских языков и в более широком масштабе не будет поставлен вопрос о формах языковых контактов анатолийского и переднеазиатского индоевропейского языкового мира. Наблюдающееся у некоторых исследователей увлечение набором ларингальных (Адрадос¹⁸ доводит их число до 6, Пухвел¹⁹ — до 8, Мартине²⁰ — до 10) не является оперативным и не вытекает логически из самой ларингальной теории²¹. Во всяком случае не следует упускать из вида здравого постулата схоластической философии: *entia non multiplicanda!* Нет сомнения в том, что период «бури и натиска» в ларингальной теории, когда ее особо рьяным адептам казалось, что она призвана упорядочить и объяснить все запутанные проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков (которая, вообще говоря, состоит только из запутанных проблем), в настоящее время уступает место более хладнокровной и умеренной ее оценке.

б) Морфологический уровень

В области парадигматики позднеиндоевропейского можно отметить следующее: парадигматизация средних падежей во мн. числе еще не была завершена (ср. в др.-инд. *-bhyām*, *-bhis*, *-bhyas*, *-su*; в критомикенском падежа на *-pi*, в др.-греческом φι(v)); не были завершены процессы вклинивания местоименной парадигмы в именную парадигму и тематизации именных основ: становление, но не завершение парадигмы *o*-основ с колонным ударением и рядом явных инноваций также относится к данному периоду. Еще не было завершено втягивание полунаречного образования в качестве формата отложительного падежа ед. числа *o*-основ в отличие от соответствующего формата род./отлож. падежа ед. числа атематических основ. Форматив *-ei/-i* дат./мест. падеж ед. числа, подвергшийся впоследствии парадигматической дифференциации, выступил в двух вариантах в зависимости от акцентных отношений. Все это позволяет свести количество членов именной парадигмы в этом периоде к четырем, а возможно, на основе сведения формата им. и род. падежей ед. числа к единой модели — к трем членам.

В области глагольной парадигматики позднеиндоевропейского можно отметить следующее: отсутствие парадигматической оппозиции основ презенса, перфекта и аориста при наличии оппозиции инфекта и перфекта, отсутствие парадигмы имперфекта и плюсквамперфекта, отсутствие универбальной частицы *-e* с глагольной основой, давшей впоследствии, при этом лишь в некоторых индоевропейских ареалах, аугмент, отсутствие парадигматической оппозиции первичных/вторичных окончаний в системе

¹⁷ W. F. Wyatt, Jr., *Structural linguistics and the laryngeal theory*, «Language», XL, 2, 1964.

¹⁸ R. Adrados, *Estudios sobre las laringales indoeuropeas*, Madrid, 1961.

¹⁹ J. Puhvel, *Laryngeals and the Indo-European verb*, Berkeley — Los Angeles, 1960.

²⁰ A. Martinet, *Les laryngales indo-européennes*, «Proceedings of the VIII International congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 36 и сл.

²¹ См. критические замечания Е. Куриловича о ларингальной теории в работе: J. Kurjowicz, *Probleme der indogermanischen Lautlehre*, «II Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft, Innsbruck, 10—15 Oktober, 1961», Innsbruck 1962, стр. 112; а также: O. Szemerényi, *Structuralism and substratum — Indo-Europeans and Aryans in the ancient Near East*, «Lingua», XIII, 1, 1964, стр. 4, 9 и сл.; R. Hiersche, *Untersuchungen zur Frage der Tenues aspiratae im Indogermanischen*, Wiesbaden, 1964, стр. 7—13

глагола при парадигматическом оформлении лишь вторичных окончаний, отсутствие парадигмы будущего времени, возможно также отсутствие парадигмы медиума перфекта и факультативность редупликации в основе перфекта. Если эта картина в какой-то мере соответствует действительности, то тогда не приходится согласиться с реконструкцией Куриловича протоиндоевропейского глагольного состояния в его монографии «Морфологические категории индоевропейских языков»²², предполагающего наличие парадигматической оппозиции основ презенса, имперфекта, перфекта и аориста при доминанте презенса как в диахроническом, так и в синхроническом плане²³.

Что касается ранне(или прото-)индоевропейского состояния, то здесь следует довольствоваться лишь некоторыми гипотетическими построениями и доводами существенно дедуктивного характера. Здесь принципиально важным оказывается решение вопроса о том, в какой мере внутренняя реконструкция именного и глагольного строя различных индоевропейских языков и логика языковой трансформации индоевропейского структурного типа позволяют дойти до такой хронологической глубины, такого раннеиндоевропейского состояния, когда оказывается возможным приписать ему структурный облик, характеризующийся наличием лишь одной гласной фонемы — силлабемы, недифференцированной именной / глагольной основы (или *Kasus indefinitus*)²⁴, слоговой структуры, допускающей лишь открытые слоги, наличием таких морфосинтаксических особенностей, которые позволяют говорить об элементарном эргативном строе в раннеобщиндоевропейском. Не приходится отрицать, что при таком описании раннеобщиндоевропейского состояния оно слишком отдалается от модели общиндоевропейского состояния. Ведь смысл любой реконструкции заключается в том, что она дает возможность наиболее полным и непротиворечивым образом объяснить последовательные трансформации частных подсистем, а идеально и системы в целом, в последующие этапы развития уже исторически засвидетельствованных отдельных индоевропейских языков. Нескольким иначе это сформулировано Куриловичем: «Невозможно реконструировать *ad infinitum*. Мы должны довольствоваться реконструкцией этапов, граничащих с исторической действительностью»²⁵. В какой мере наличие разнообразных реликтов отдельных индоевропейских языков приглашает к такой и только такой интерпретации раннеобщиндоевропейского состояния? При современном состоянии сравнительно-исторического языкознания дать ясный ответ на данный вопрос не представляется возможным. Его эффективное решение диктует необходимость углубленной разработки следующего круга проблем: 1) внутренняя реконструкция отдельных индоевропейских языков; 2) широкое привлечение постулатов типологической грамматики и универсалий при решении альтернативного вопроса о том, какую процедуру описания общиндоевропейского состояния следует предпочесть на основе таких типологических параллелей, которые могут иметь всеобщий или обязательный характер; 3) разработка проблемы контактирования индоевропейских языков с языками неиндоевропейского языкового мира. К этому остается добавить, что большие надежды можно возлагать на

²² J. Kuryłowicz, *The inflectional categories of Indo-European*, Heidelberg, 1904.

²³ См. об этом на германском материале в работе: Э. А. Макаев, *Морфологический строй общегерманского языка*, сб. «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963.

²⁴ E. Hermann, *Zusammengewachsene Präteritum und Futurum-Umschreibungen in mehreren indogermanischen Sprachzweigen*, II. *Der Kasus indefinitus*, KZ, 69, 1/2, 1948, стр. 37 и сл.

²⁵ J. Kuryłowicz, указ. соч., стр. 58.

поступающий материал недавно открытых и открываемых индоевропейских языков. Так, можно уверенно утверждать, что в ближайшее время материал индоевропейских языков Малой Азии, в частности успешная расшифровка карийского, лидийского, ликийского, а также дальнейшая разработка хетто-лувийских языков позволит анатолийскому языковому миру занять ключевую позицию в построении сравнительной грамматики индоевропейских языков на уровне современных данных. При всех этих оговорках следует со всей определенностью подчеркнуть, что описание раннеиндоевропейского состояния, полученное в основном дедуктивным путем, не может уже тем самым рассматриваться как несовершенное или научно несостоятельное описание. Следует помнить, что дедукция всегда занимала важное место в сравнительной грамматике индоевропейских языков; достаточно указать на «Mémoire» Ф. де Соссюра, где гениальный автор чисто дедуктивным путем пришел к ряду открытий первостепенной важности, как-то: учение о структуре индоевропейских корней, особенно двусложных, учение об индоевропейском вокализме, учение о сонантических коэффициентах, учение о едином происхождении дриониндийских глаголов V, VII, IX классов. Можно полагать, что роль дедукции в сравнительном языкознании в дальнейшем еще более возрастет в связи с бурным и успешным развитием методики точной лингвистики.

Все вышеизложенное подготавливает к выводу, что в настоящее время предпочтительнее давать не одну модель общеиндоевропейского состояния, а разделять описывать два его хронологических среза: более ранний и более поздний. Можно также полагать, что представляется мало вероятной процедура возведения в ранг общеиндоевропейского состояния частных подсистем отдельных индоевропейских языков на основе их внутренней реконструкции, как то было продемонстрировано Куриловичем при анализе акцентной системы ведического наречия, которая рассматривалась как общеиндоевропейский эталон, позволивший наложить его на акцентные системы прочих индоевропейских языков и выявление в них многочисленных инноваций на фоне архаической и, следовательно, общеиндоевропейской акцентной модели. Однако в исследованиях последнего десятилетия, посвященных акцентологии отдельных индоевропейских языков (работы Станга, Садник, Тронского, Иллича-Свишча, Голтона²⁶ и др.) были достаточно выукло обнаружены слабые стороны реконструкции общеиндоевропейской акцентной системы, производимой Куриловичем. Кроме того, есть основания полагать, что структурный облик ведического наречия весьма далек как от модели раннеиндоевропейского, так и от модели позднеиндоевропейского состояния²⁷. Эти соображения не позволяют также согласиться с концепцией Пизани, изложенной в работе «Санскрит и индоевропейский»²⁸, согласно которой общеиндоевропейским состоянием следует считать структурную модель санскрита, навязанную прочим индоевропейским языкам в порядке образования и экспансии языковых союзов.

Можно полагать, что в дальнейшем общеиндоевропейская модель раннего и позднего периода будет строиться на основе сопоставления частных подсистем отдельных индоевропейских языков в соответствии с принци-

²⁶ Ch. St a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; J. S a d n i k, Slavische Akzentuation, Wiesbaden, 1959; И. Т р о н с к и й, Древнереческое ударение, М.—Л., 1962; В. И л л и ч - С в и т ы ч, Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм, М., 1963; H. G a l t o n, The fixation of the accent in Latin and Greek, «Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 15, 3/4, 1962.

²⁷ Об этом см. подробнее в нашей работе «Арханзмы и инновации в ведическом» (в печати).

²⁸ V. P i s a n i, Indogermanisch und Sanskrit, KZ, 76, 1/2, 1959.

нами иерархичности и относительной хронологии, а также в связи с более жесткими и строгими критериями индоевропейских архаизмов и инноваций. Это позволит описать общеиндоевропейскую модель как своеобразную наддиалектную форму, представленную двумя разновидностями, условно обозначенными как «литературный» и «разговорный» язык. Восстановимым оказывается по понятным причинам лишь так называемый литературный язык. Полученная таким образом общеиндоевропейская структурная модель может быть интерпретирована и типологически при соположении ее с иноструктурными моделями неиндоевропейского языкового мира. Процедура подобного типологического описания разработана еще весьма недостаточно, а опыты типологической характеристики общеиндоевропейского состояния, предложенные Финком, Леви, Трубецким, Хартманом²⁹ и др., являются преждевременными и мало удовлетворительными.

2. Реконструкция текста на индоевропейском праязыке

В сравнительной грамматике индоевропейских языков младограмматического толка, называемой также классической, проблема реконструкции текста на индоевропейский праязык подавляющим большинством исследователей была изъята из научного обихода и упоминание праязыковой басни Шлейхера вызывало снисходительную улыбку. Любопытно отметить, что попытка Хирта вторичной транскрипции басни в терминах сравнительной фонетики индоевропейских языков начала XX в., встреченная с явным презрением, свелась лишь к модификации вокализма и консонантизма³⁰. В то же время перевод Шлейхера был не чем иным, как транскрипцией санскрита в фонетический облик индоевропейского праязыка, как это отвечало уровню реконструкции середины XIX в. С некоторой долей иронии это можно было бы рассматривать как первый опыт внутренней реконструкции на основе древнеиндийского языка. Такому отношению к возможности реконструкции текста способствовало также состояние совершенно неудовлетворительной разработки сравнительного синтаксиса индоевропейских языков. Однако внедрение принципов системного анализа языка на разных уровнях в сравнительную грамматику индоевропейских языков и методика внутренней реконструкции, а также некоторые соображения, почерпнутые из общей теории языка, заставили вновь вернуться к проблеме реконструкции текста в свете современных данных. Можно полагать, что восстановление текста на индоевропейском праязыке на уровне фонетики, морфемики и синтагматики, частично и на лексико-семантическом уровне допустимо и возможно. Естественно, что перекодирование текста с одного уровня на другой может всякий раз сопровождаться процедурой реконструкции, которая специфична для данного уровня, например фонемного или морфемного, и поэтому для каждого уровня требует особого описания. В то же время, в силу изоморфизма языковых структур разных уровней, многое в реконструкции фонемного, морфемного, синтагматического и лексико-семантического уровней будет однотипным и поэтому, в целях экономии самой процедуры реконструкций, а также для достижения большей архитектурной строй-

²⁹ F. N. F i n c k, Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig, 1910; E. L e w y, Der Bau der europäischen Sprachen, «Proceedings of the Royal Irish Academy», 48, section C, № 2, Dublin, 1942; е г о ж е, «Kleine Schriften», Berlin, 1961; Н. Т р у б е ц к о й, Мысли об индоевропейской проблеме, ВЯ, 1958, 1; P. H a r t m a n n, Zur Typologie des Indogermanischen, Heidelberg, 1956.

³⁰ Н. H i r t, Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, Halle, 1939.

ности, возможно дать подробное описание процедуры реконструкции лишь одного уровня, всякий раз внося добавления и коррективы каждого иерархически высшего уровня, что можно представить алгебраически в виде следующей схемы:

1. $(a + b) + c$
2. $(a + b + c) + d$
3. $(a + b + c + d) + e$ и т. д.

Реконструкция текста на индоевропейский праязык, каким бы фрагментарным он ни был, влечет за собой целый ряд соображений не только лингвистического, но и филологического характера. Роль филологии в сравнительном индоевропейском языкознании значительно возросла не только в связи с дешифровкой и интерпретацией текстов на недавно открытых индоевропейских языках, но в значительно большей степени в связи с обострившимся интересом к реконструкции и характеру общеиндоевропейских поэтических и метрических формул, индоевропейского поэтического языка, стратиграфии индоевропейского словаря: сакральной, правовой, поэтической и экспрессивной лексики. Некоторые задачи изучения общеиндоевропейского поэтического языка были обрисованы Ваккернагелем и Шпехтом³¹, а контуры общеиндоевропейской метрики, данные еще в середине XIX в. А. Куном, более выпукло предстали в работах Мейе, Якобсона, Куриловича и Уоткинса³². Однако уже простое сопоставление ведических и древнеисландских поэтических фрагментов, предпринятое Шпехтом³³:

«Hlióðs bið ec allar helgar kindir
meiri oc minni mögo Heimdalar
vildo, at ec, Vilfoðr vel fyrtelia
forn spjóll fira, þau er fremst um man» (Edda, I, 8).

«Внимайте мне, все священные роды
великие с малыми Хеймдалля дети!
Один, ты хочешь, чтоб я рассказала
о прошлом всех сущих, о древнем, что помню».

«Idam, janā, úpa śruta
nārāsaṃsa staviṣyate» (Atharvaveda, XX, 127, 1)

«Внемлите этому, о люди; будет возведено повествование, прославляющее дарообильных людей».

а также попытка реконструкции первой строчки гимна:

«idém, gonōses, úpo klute»

со всей ясностью обнаруживает настоятельную необходимость не только дальнейшего собирания поэтических фрагментов на различных индоевропейских языках, могущих быть причисленными к общеиндоевропейскому достоянию, но прежде всего углубленную разработку индоевропейской просодии, в частности выяснение общеиндоевропейских основ сандхи. Необходимость продиктована и тем обстоятельством, что метрический и просодический уровни требуют отдельной интерпретации. Реконструкция текста должна предшествовать прежде всего его филологическая обработка, а это означает, что одной из актуальных задач является создание

³¹ J. Wackernagel, Indogermanische Dichtersprache, «Philologus», 95, 1943; Fr. Sprecht, Zur indogermanischen Sprache und Kultur, KZ, 64, 1/2, 1937.

³² A. Meillet, Origines indo-européennes des mètres grecques, Paris, 1923; R. Jakobson, Studies in comparative Slavic metrics, «Oxford Slavonic papers», 3, 1952; J. Kurylowicz, Indo-European metrical studies, сб. «Poetics», Warszawa, 1961; C. Watkins, Indo-European metrics and archaic Irish verse, «Celtica», VI [отд. отт. б. м. б. г.].

³³ Fr. Sprecht, указ. соч., стр. 1—2.

индоевропейской филологии, такой дисциплины, которая обеспечит лингвистическое и филологическое осмысление многих разпыленных общиндоевропейских поэтических фрагментов, сохраненных как в памятниках различной степени древности, так подчас и в произведениях устного творчества. Вплоть до настоящего времени исследователи, стремящиеся обнаружить общиндоевропейские основы определенных поэтических фрагментов, оперируют лишь некоторыми моделями, заимствованными из древнеиндийской и греческой, значительно реже — из славянской и кельтской метрики и перенесенными на общиндоевропейскую плоскость.

3. Глоттогоническая проблематика

Описать общиндоевропейский язык в его раннем и позднем состоянии — означает прежде всего восстановить картину неоднократно менявшегося отношения между словообразовательным и формообразовательным уровнями. Для общиндоевропейского языка характерны многоступенчатые процессы парадигматизации первоначально гетерогенных деривационных рядов и лексикализации отдельных звеньев парадигмы и становление на их основе новых деривационных рядов. На протяжении истории общиндоевропейских языков иерархическое отношение между деривационным и парадигматическим уровнями неоднократно менялось; поэтому задачей первостепенной важности является синхронное описание взаимоотношения двух вышеупомянутых уровней в разные периоды развития общиндоевропейского языка. В качестве одного из первых внушительных опытов в этом направлении можно указать на уже упоминавшуюся монографию Куриловича «Морфологические категории индоевропейских языков». В связи с этим можно полагать, что структурное оформление слова в разные периоды общиндоевропейского языка не могло оставаться неизменным и, следовательно, структура индоевропейского корня и его соотношение с детерминативами и суффиксами, а также структура детерминативов, их функциональная нагрузка и принципы их выделения и членности точно так же были подвержены многообразным и существенным модификациям. Как раз одним из существенных недостатков важной и ценной книги Шпехта о происхождении индоевропейского склонения является однолинейное, статическое рассмотрение детерминативов в индоевропейских языках, их хронологическая вездесущность, что в значительной мере обедняет его полемику с Бенвенистом и делает ее бессодержательной³⁴. Теория индоевропейского корня, предложенная Бенвенистом, являющаяся одним из самых замечательных достижений сравнительно-исторического языкознания XX в., вполне применима лишь к древнейшему состоянию общиндоевропейского языка³⁵. В отдельных ареалах индоевропейской языковой общности с течением времени происходили подчас весьма значительные преобразования именных и глагольных основ, следствием чего являлись не менее значительные преобразования структуры корня и детерминативов, и поэтому вряд ли целесообразны попытки ряда исследователей описать структуру индоиранских, греческих, германских и славянских корней в терминах теории Бенвениста (работы Лангенхове, Рок, Полеме, Манесса³⁶ и др.). В настоящее время одной из

³⁴ Fr. Specht, *Der Ursprung der indogermanischen Deklination*, Göttingen, 1947.

³⁵ Э. Бенвенист, *Индоевропейское именное словообразование*, М., 1955.

³⁶ G. van Langenhove, *Linguistische Studien*, II — *Essais de linguistique indo-européenne*, Antwerpen — s-Gravenhage, 1939; E. Raucq, *Contribution à la linguistique des noms d'animaux en indo-européen*, Antwerpen — s-Gravenhage, 1939; e же, *Bijdrage tot de studie van de morphologie van het indoeuropeesch verbum*, Brug-

очередных задач сравнительной грамматики индоевропейских языков должно явиться создание общей теории индоевропейских д е т е р м и н а т и в о в; монография Перссона, представляющая большую ценность по собранному материалу, далеко не отвечает уровню современного состояния разработки сравнительной грамматики и этимологии индоевропейских языков³⁷. Предпосылкой для создания подобной общей теории детерминативов должны явиться описания структуры слова (включая структуру корня и детерминативов) в отдельных индоевропейских языках и процедуры соотнесения полученных частных структурных моделей с общеиндоевропейскими моделями различных периодов общиндоевропейского языка. Разработка общей теории детерминативов сопряжена с углубленным анализом различных словообразовательных моделей. Одной из неотложных задач ближайшего будущего должно явиться описание индоевропейского словообразования на уровне современных данных, на что справедливо указывают Семереньи и Отрембский³⁸. Глоттогоническая проблематика по своему существу такова, что она не может замыкаться лишь кругом индоевропейских языков и требует углубленной разработки этимологического аспекта соответствующих явлений. Вопрос о древнейшей структуре индоевропейского корня, состоявшей из трех элементов и допускавшей лишь консонантный анлаут (согласный или ларингальный), нуждается в настоящее время в свете вышеизложенного в новой постановке. Как уже указывалось выше, успешная разработка глоттогонических проблем сопряжена с углубленным этимологическим анализом, что требует теснейшей увязки и взаимоконтроля сравнительной грамматики индоевропейских языков и этимологических исследований. И хотя методика сравнительной грамматики и методика индоевропейской этимологии основателями сравнительно-исторического языкознания была задумана как нечто единое, все увеличивающийся разрыв между ними не подлежит сомнению. Так, Ф. де Соссюром были открыты, а Мейе и некоторыми другими исследователями упорядочены и кодифицированы правила построения индоевропейских корней. Мейе указывает: «а) *a*. Нет корней, которые бы начинались и оканчивались на смычную звонкую не придыхательную, **bheudh-*, **gwendh-* и **bheid* существуют... но форма, подобная санскр. *gádati* «говорит», не имеет вне санскрита надежных соответствий... б) Корень, начинающийся на смычную звонкую придыхательную, не оканчивается на глухую, а наоборот; существуют **bheudh-* и **bheid-*, но не существует **bheut-* или **teubh-*. б) Корень не начинается и не оканчивается на два сонанта или на две смычные... Следовательно, сочетания **st*, **sp*, **sk*, допускаемые в начале корня, являются исключениями»³⁹.

Однако в «Индоевропейском этимологическом словаре» Покорного⁴⁰ как бы в нарушение вышеозначенных правил, постулируются следующие

ge, 1947; E. P o l o m é, Théorie «laryngale» et germanique, «Mélanges de Linguistique et de philologie F. Mossé in memoriam», Paris, 1959; J. M a n e s s y, Les substantifs en -as- dans la Rk-Samhitā, Dakar, 1961; e e ж e, Recherches sur les dérivés nominaux à bases sigmatiques en sanscrit et en latin, Dakar, 1963.

³⁷ P. P e r s s o n, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, I—II, Uppsala, 1912.

³⁸ O. S z e m e r é n y i, Principles of etymological research in the Indo-European languages, «II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft», Innsbruck, 1962; J. O t r e b s k i, Über die Vervollkommnung der Forschungsmethoden in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft, «Lingua posnaniensis», IX, 1963.

³⁹ A. M e i e, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 191—192.

⁴⁰ J. P o k o r n y, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern — München, 1959.

корни: *geid-* «колоть», *geig-* «кусать, колоть» (стр. 356), *bhok-* «пламенеть, гореть?» (стр. 162); *dēg-* «хватать?» (стр. 183); *gāb-* «выглядывать» (стр. 349); *bhāt-*: *bhāt-* «вить, толкать» (стр. 111); *dheub-*, *dheu-p-* «глубокий» (стр. 267). Разрыв между сравнительной грамматикой и этимологией находит выражение также в том, что исследователи, работающие в области этимологии, нередко прибегают к индивидуальному законотворчеству в области сравнительной фонетики индоевропейских языков, ища в них оправдание своим новым этимологическим сближениям: ср. закон аспирации конечного смычного в ударном слоге Петерсона⁴¹, позволивший ему расширить тип гетероклитических основ до невероятных пределов; ср. lex Бартоли⁴², не вышедший за рамки индивидуальных авторских прав, позволивший ему связать этимологически греч. ἄγαθός и гот. *goþs*; ср. закон передвижения согласных, применяемый Хаасом для раннеиталийского периода, позволяющий ему связать лат. *parcō* и гот. *bairgan*, лат. *culpa* и др.-исл. *glap*, лат. *flossus* и русск. *волокно* и т. д.⁴³; ср. также работы де Фриса, Шефтеловица, Махка⁴⁴ и др. В свою очередь исследователи, работающие в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, предпочитают как можно реже обращаться к соответствиям, основанным преимущественно на данных этимологии, апеллируя к их ненадежности или их произвольному характеру. Ср., например, заявление Куриловича: «Кроме того, нас меньше интересует этимология окончаний, чем их функция»⁴⁵. Подобное положение вещей не может быть терпимо. Следует полагать, что в дальнейшем роль и объем этимологического аспекта в сравнительной грамматике индоевропейских языков должны значительно возрасти, что диктуется интересами прежде всего самой сравнительной грамматики: заострением глоттогонической проблематики, интенсивной разработкой проблем, связанных со структурой индоевропейских корней и детерминативов, генезисом именных и глагольных формативов, а также в связи с анализом индоевропейских пластов лексики и ее стратиграфии. Настоятельно необходимая и многообещающая разработка проблем, связанных с вопросом генетического или типологического родства индоевропейских и алтайских, семитских, возможно, и дальневосточных языков, также требует глубокого этимологического обоснования гипотетических соответствий.

4. Вопросы индоевропейской диалектологии

В индоевропейском сравнительном языкознании раздел, посвященный индоевропейской диалектологии как в отношении самого объекта исследования, так и в отношении применяемой методики, является наименее разработанным. Хотя индоевропейская диалектология (или то, что может претендовать на подобное наименование!), если ее истоки возводить к монографии И. Шмидта 1872 г.⁴⁶, имеет почти вековую традицию, вплоть до настоящего времени все относящиеся к ней кардинальные вопросы остаются нерешенными, а осмысление соответствующего материала дается в столь противоречивой форме, что вполне своевременной и правомерной оказывается постановка вопроса о реальности и оправданности построений в данной области.

⁴¹ H. P e t e r s s o n, Studien über die indogermanische Heteroklitie, Lund, 1921.

⁴² M. B a r t o l i, La questione delle medie aspirate e la coppia ἄγαθός e gotico *gods* «buono», сб. «Saggi di linguistica spaziale», Torino, 1945.

⁴³ O. H a a s, Das frühitalische Element, Wien, 1960.

⁴⁴ J. d e V r i e s, Altnordisches etymologisches Wörterbuch, Leiden, 1961; V. M a c h e k, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957.

⁴⁵ J. K u r y l o w i c z, указ. соч., стр. 201, примеч. 21.

⁴⁶ J. S c h m i d t, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872.

Не входя в историю вопроса, следует указать на то, что весь смысл последующего развития индоевропейской диалектологии заключается во все более интенсивном внедрении в нее принципов лингвистической географии или, шире, пространственной лингвистики, как бы проецирование наблюдений и исследовательских приемов, почерпнутых из описания живых говоров, их интерференции и их лабильных границ, на индоевропейскую плоскость. В связи с этим все более широкое распространение получают три процедуры, роковым образом сказавшиеся на индоевропейской диалектологии: а) приписывание общеиндоевропейскому языку диалектных особенностей; б) оперирование методикой изоглосс при характеристике индоевропейских диалектных особенностей; в) подмена проблемы индоевропейских диалектов проблемой членения индоевропейской языковой общности. Предвосхищая все нижесказанное, следует подчеркнуть, что именно перенесение методики лингвистической географии на описание общеиндоевропейского состояния имело следствием двусмысленное и неточное определение задач индоевропейской диалектологии и явно несостоятельную методику ее исследования. Более детальный анализ вышеупомянутых трех процедур позволит установить, в какой мере данное положение согласуется с современным состоянием индоевропейского языкознания.

Уже И. Шмидт отмечал наличие отдельных диалектных особенностей в индоевропейском праязыке. С течением времени количество диалектных особенностей, которые различными исследователями приписывались общеиндоевропейскому языку, значительно увеличилось. В то же время усовершенствованная методика сравнительной реконструкции и особенно применение приемов внутренней реконструкции отдельных подсистем различных индоевропейских языков позволяют восстановить такое состояние общеиндоевропейского языка, которое можно изобразить в виде своеобразной наддиалектной нормы или в виде литературного языка, предполагающего наличие разновидности в форме разговорного языка. Общеиндоевропейская наддиалектная норма уже по определению требует наличия ей противопоставленных диалектов или диалектных признаков, реализовавшихся скорее всего в форме разговорного языка. Обе разновидности общеиндоевропейского языка — литературная и разговорная — характеризовались как определенной совокупностью общих конститутивных признаков всех уровней языка, так и определенной совокупностью признаков, характерных лишь для одной из разновидностей: признаков, присущих только литературному языку, и признаков, присущих только разговорному языку. Естественно, что сравнительная и внутренняя реконструкция допускают восстановление лишь одной из разновидностей общеиндоевропейского языка, именно — наддиалектной нормы, или литературного языка, т. е. такое общеиндоевропейское состояние, которое свободно от конститутивных диалектных признаков. Тем самым должна быть отброшена возможность приписать общеиндоевропейскому языку ряд диалектных особенностей. То, что некоторыми исследователями описывается как диалектные разновидности общеиндоевропейского языка: альтернация *bh* — *m* в некоторых падежах именной парадигмы, *su-/si-* в местном падеже мн. числа, фонеморфологические варианты в форме личного местоимения 1-го лица ед. числа; известные чередования в системе гуттуральных, наличие/отсутствие аугмента в глагольной парадигме и пр. — на самом деле представляет позднейшие образования эпохи стабилизации отдельных ареалов индоевропейской языковой общности и с точки зрения принципов относительной хронологии является анахронизмом.

Принято описывать вычленение отдельных ареалов индоевропейской языковой общности в виде конституирования большего или меньшего ко-

личества диалектных изоглосс. Понятие изоглоссы⁴⁷, утвержденное в лингвистической географии и извлеченное из практики составления атласов и описания живых говоров, было перенесено в первой половине XX в. в методiku индоевропейского сравнительного языкознания и стало конститутивным элементом при построении индоевропейской диалектологии. Кумуляция изоглосс фонетического, морфологического, синтаксического и лексического уровней языка рассматривается как свидетельство разнообразных контактов между отдельными индоевропейскими ареалами, а наличие и объем перекрещивающихся изоглосс должны обнаруживать более тесные связи различных ареалов. Данная методика исследования отражена в работах французской и итальянской школы компаративистов и в монографии В. Порцига 1954 г.⁴⁸ Обращает на себя внимание полное отсутствие каких-либо принципов или критериев при отборе или нагромождении изоглосс при описании членения индоевропейской языковой общности и конституирования отдельных ареалов. Подбор изоглосс разных уровней языка, чаще всего случайный и ничем не мотивированный (или мотивированный лишь тем, что данная изоглосса представлена или отсутствует в различных ареалах) не может не привести к калейдоскопу конфигураций отдельных индоевропейских ареалов, всякий раз меняющихся в зависимости от субъективных установок исследователя. Необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что в любой лингвистической процедуре, в том числе и в сравнительном индоевропейском языкознании, первоосновой всякого описания является строгое соблюдение принципа и е р а р х и ч н о с т и как самих лингвистических единиц и отношений между ними, так и уровней языка. Перенесенная во временную плоскость иерархичность означает не что иное, как строгое соблюдение принципа относительной хронологии. Не подлежит сомнению, что подбор таких изоглосс, как определенное структурирование подсистемы сонантов, наличие аугмента, наличие *-m* в абсолютном исходе слова, наличие/отсутствие лексем для обозначения «орла», «коня», «солица» и пр.⁴⁹ не дает никакого основания для вычленения определенного индоевропейского ареала или для выяснения его контактов с другими ареалами и является грубым нарушением вышеуказанных обязательных принципов лингвистического анализа. Вопрос осложняется еще и тем обстоятельством, что отдельные заведомо 'архаические изоглоссы разных уровней языка могут сохраняться в виде р е л и к т о в в отдельных индоевропейских языках и тем самым они ничего не говорят о временной глубине того языка или ареала, где представлена данная изоглосса. Излишне также указывать на то, что не получает никакого уточнения понятие изоглоссы применительно к общеиндоевропейскому состоянию и его дальнейшей дезинтеграции. Нельзя не прийти к выводу, что оперирование диалектными изоглоссами в индоевропейском сравнительном языкознании без учета их иерархического порядка и без разграничения их возможной хронологической соотнесенности, их механическая кумуляция при вычленении и характеристике отдельных индоевропейских ареалов, отражает пережившие себя атомистические установки традиционного языкознания, не согласующиеся с принципами системного описания всех уровней языка, и должно быть отброшено. Представляется настоятельной необходимостью замена вышеописанной процедуры атомистического изоглоссного анализа процедурой вычленения микросистем разных уровней языка при строгом соблюдении

⁴⁷ См. об этом в работе: Э. М а к а е в, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, стр. 16—25.

⁴⁸ W. P o r z i g, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954.

⁴⁹ См.: W. P o r z i g, указ соч., стр. 79 и 161—162.

принципов иерархичности и относительной хронологии как микросистем, так и уровней языка. Сопоставление и наложение ряда микросистем различных индоевропейских языков на основе внутренней и сравнительной реконструкции (принцип иерархичности сказывается и в данном случае в том, что сравнительная реконструкция должна быть иерархически всегда подчинена внутренней реконструкции!) даст возможность установить наличие/отсутствие определенных континуумов, позволяющих говорить о стабилизации отдельных индоевропейских ареалов.

Стабилизация отдельных индоевропейских континуумов происходила как в рамках развертывания исконных общеиндоевропейских элементов, сохранения или элиминирования тех или иных вариантов разных уровней общеиндоевропейского литературного языка, так и в рамках образования известной совокупности конститутивных признаков, возникших в результате контактирования родственных и неродственных языков, втягивавшихся в различные языковые союзы. Для всего комплекса проблем, связанных с членением индоевропейской языковой общности, центральным понятием оказывается языковое пространство. Именно оно структурирует, одновременно нивелируя и контрастируя, многообразные микросистемы тех языков, которые по ряду причин оказались втянутыми в данное языковое пространство, накладывая на них неизгладимый отпечаток пространственной характеристики. В языковом пространстве нет места для разграничения генетически родственного и неродственного, своего и чужого, исконного достоинства и разного рода заимствований — все эти гетерогенные элементы как бы унифицируются и сублимируются в новой языковой структуре, формируемой данным пространством. Следовательно, членение индоевропейской языковой общности ничего общего не имеет с картиной постепенного распада индоевропейского праязыка и превращения диалектных особенностей общеиндоевропейской эпохи в некое структурное целое, дающее впоследствии основание для формирования и развития отдельных индоевропейских языков. Языковое пространство, формируя и структурируя языковой союз, всегда таит в себе возможность, часто получающую реализацию, решительного перерыва в языковой эволюции и создания из гетерогенных элементов в генетическом и структурном отношении нового единства. Тем самым, и с этой стороны получает подтверждение положение о невозможности восстановления индоевропейских диалектов и в теоретическом отношении полной бесплодности попыток в этом направлении. Следствием из этого положения является постулат о невозможности и нецелесообразности проекции структурных черт отдельных индоевропейских ареалов в общеиндоевропейское состояние как пучка диалектных изоглосс, приписываемых данному состоянию. Между диалектами общеиндоевропейского языка, противопоставленными индоевропейской литературной норме и недоступными для реконструкции, и отдельными ареалами индоевропейской общности лежит ничем не заполнимая пропасть. Методически чрезвычайно слабая фундированность индоевропейской диалектологии, ее беспочвенность и противоречивость ее выводов, бездоказательный и необязательный характер ее постулатов явились прямым следствием того, что были неправильно сформулированы ее задачи, и проблема членения индоевропейской языковой общности оказалась подмененной мнимой проблемой общеиндоевропейских диалектов и их дальнейшей эволюции.

Проблема членения индоевропейской языковой общности — это описание многоступенчатых и неоднократно имевших место процессов интеграции и реинтеграции языковых континуумов как в терминах генетического родства, так и в терминах типологического сродства. Языковые союзы следует рассматривать как один из самых мощных факторов, способ-

ствовавших преобразованию исконных общиндоевропейских моделей структурирования отдельных уровней языка в различных ареалах и созданию известной совокупности инноваций, характерных для всего последующего развития индоевропейских языков. Конституирование языковых союзов могло вести одновременно к установлению резких границ между близкородственными языками, которые втягивались в различные языковые союзы (ср., например, историю иранских и индийских языков), и к нивелированию структурных различий между родственными и неродственными языками (ср., например, тенденции в развитии скандинавских и финно-угорских языков). Тем самым, различные опыты описания членения индоевропейской языковой общности, в основе которого лежит учение о дифференциации общиндоевропейского языка на отдельные ареалы путем экспансии и обособления его диалектных особенностей, должны рассматриваться как неудовлетворительные. Можно указать на теорию волн, которая является весьма односторонним описанием процесса стабилизации различных индоевропейских континуумов, предполагающих лишь иррадиацию из одного центра с постепенным затуханием и отсутствием резких различий между отдельными континуумами. Можно указать также на членение индоевропейской языковой общности на два ареала — восточный и западный, — утвердившееся в работах ряда компаративистов⁵⁰, которое не отвечает строгости лингвистического описания и должно быть отброшено. Дело в том, что общие восточному или западному ареалу конститутивные признаки при ближайшем рассмотрении оказываются или принадлежностью лишь части соответствующего ареала, или оказывается возможным доказать их более позднее возникновение. Отсутствие глобальных конститутивных особенностей восточного или западного ареалов ставит под сомнение реальность самого членения. В свете всего вышеизложенного можно утверждать, что исходного состояния структурной общности языков восточного и западного ареала, явившегося следствием распада индоевропейского праязыка на две ветви — восточную и западную, — вообще не существовало и что различные черты структурной общности явились следствием контактирования нескольких индоевропейских языков, втянутых в определенный языковой союз. Описать членение индоевропейской языковой общности — означает дать описание, обоснование и анализ многообразных и мощных языковых контактов.

В сравнительном индоевропейском языкознании есть проблема реконструкции и периодизации общиндоевропейского языка, а также членения индоевропейской языковой общности, но проблемы общиндоевропейских диалектов и посвященной их описанию индоевропейской диалектологии — не существует.

Индоевропейское сравнительное языкознание является самой существенной частью сложного комплекса археологических, исторических, этнографических и филологических дисциплин. Отличительной чертой современного состояния индоевропейского языкознания является синтезирование различных приемов исследования, не рядоположное, а перекрестное рассмотрение языковых явлений при посредстве вышеназванных дисциплин. Можно полагать, что одной из важных задач индоевропейистики второй половины XX в. явится построение индоевропейского сравнительного языкознания на основе единых структурных приемов описания всего комплекса относящихся сюда дисциплин.

⁵⁰ См. об этом в работе: Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, стр. 46—57.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРХАИЧЕСКИХ
ЧЕРТ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКОВ

Установление типических структурных черт, характеризующих более древнее состояние языка, является одним из важных элементов изучения его истории. Обычно принято считать, что при сравнительно-историческом изучении языков архаические черты и инновации обнаруживаются сами собой, а в том случае, когда их выявление связано с особыми трудностями, возможные подходы и способы решения поставленных проблем могут быть настолько разнообразны, что не подчиняются каким-либо более или менее определенным методическим правилам. С таким мнением нельзя полностью согласиться. Разработка общей методики исследования в данной области возможна, несмотря на всю ее сложность. Настоящая статья посвящена только одному из многих способов выявления архаизмов, отличающемуся, как нам представляется, наибольшей универсальностью применения по сравнению со всеми другими способами.

Архаические явления могут быть очень разнообразными по своему характеру, и по этой причине они с трудом поддаются классификации. Тем не менее в целях большей ясности изложения затронутого здесь вопроса это необходимо сделать.

Многочисленные архаические явления, наблюдаемые в различных языках, можно приблизительно разделить на четыре больших группы: 1) архаические явления, сохраняющиеся спонтанно, 2) архаические явления, сохраняющиеся в особо благоприятных условиях, 3) архаические явления, подвергшиеся переосмыслению, и 4) скрытые архаизмы.

Архаические явления, сохраняющиеся спонтанно, представляют чаще всего результат исторической случайности. Конечно, при более углубленном исследовании можно обнаружить причины, которые способствовали сохранению архаического явления, относимого к категории так называемых спонтанных архаизмов. Однако практически определить эти причины бывает очень трудно; поэтому простоты ради архаизмы подобного рода ниже будут рассматриваться как результат исторической случайности.

Примеров подобного рода архаизмов можно привести довольно много. Личные окончания 1-го и 2-го лиц в прошедшем времени *-mek* и *-dek* в норвежско-лапландском языке несомненно представляют глубокие архаизмы, так как во всех остальных финно-угорских языках в таком виде они не сохранились: они почти совпадают с реконструированными формами этих окончаний **mʒk*, **-tʒk*. Отл)жительный падеж на *-do*, *-da*, *-de* в мордовском языке (например, эрзя-морд. *vele* «село», *velede* «от села») также является архаизмом, потому что ни в одном другом уральском языке суффикс отложительного падежа не сохраняет одновременно старого значения и относительно архаической формы. Такой же архаизм представляет собой и литовское окончание местного падежа мн. числа *-se* (например, *rankose* «в руках»), так как это окончание наиболее близко к древней его форме, и в то же время местный падеж в литовском языке сохранил само-

стоятельное значение. Суффикс аблатива на *ē-* в западноармянском (например, *c'ov-ē* «от моря») является архаизмом, поскольку он отсутствует в восточноармянском, но существовал в древнеармянском.

В каждом языке могут быть особые области или участки, создающие особо благоприятные условия для сохранения архаизмов. Давно подмечено, что такие части речи, как предлоги, послелогои, наречия и т. п., благоприятствуют сохранению архаизмов. Ср., например, в коми-зырянском языке наречие *bara* «оиять», сохраняющее суффикс древнего латива на *-a*, в современном языке уже давно исчезнувшего, вопросительное наречие *myjla* «почему», имеющее в своем составе суффикс древнего латива *-la*, также уже давно исчезнувшего.

Многие марийские послелогои продолжают сохранять почти в неизменном виде все суффиксы древних марийских падежей, хотя в современном марийском языке система склонения существительных является в основном новой. Ср. такие наречия и послелогои, как *jama-ke* «под», *onžə-ko* «вперед» (суффикс древнего латива *-ka*, *-ko*), *wokte-ne* «рядом», *liš-ne* «близки» и т. д. (суффикс древнего локатива *-ne*), *ÿmba-č* «от, с», *jama-č* «из-под» и т. д. (суффикс древнего аблатива *-č*).

Консервации древних падежных суффиксов в марийских послелогоах и наречиях способствовали по меньшей мере два фактора. Если рассматривать с исторической точки зрения новые суффиксы марийских местных падежей, то нетрудно заметить, что они представляют обычно сочетания двух падежных суффиксов; таков, например, суффикс нового направительного падежа *-ške*, нового местного падежа *-šte* и т. д. Необходимость такого сочетания падежных суффиксов была обусловлена стремлением уточнить слишком абстрактные и общие значения старых падежных суффиксов. Что же касается послелогов, то в их семантике довольно точно передавались различные нюансы локальных значений, например, *er woktene šanža* «сидит около озера»; *pört onžəlno šoça* «стоит перед домом»; *jal yč lektanət* «вышли из деревни». Поэтому в уточнении падежных суффиксов, входивших в состав послелогов, не было никакой необходимости.

Кроме того, в сознании говорящего не ощущается четкой границы между основой и падежным суффиксом в некоторых марийских послелогоах типа *den*, *dene* «с», *yč* «из», *perçen* «о» и т. д., давно утративших связь с именами существительными, прежде всего, из-за утраты соответствующих существительных современным марийским языком. В наречиях архаические падежные суффиксы обычно сохраняются по причине крайне абстрактных значений, получаемых ими в наречиях.

Переосмысленные архаизмы вскрыть также нетрудно. Почти во всех тюркских языках есть суффикс *-ča*, *-če*, имеющий значение сравнения, например: татар. *batyrlar-ča* «как герой, героически», *rus-ča* «по-русски», *minät-čä* «по-моему», турецк. *türk-çe* «по-турецки», *leh-çe* «по-польски», казах. *qazaq-ša* «по-казахски». Исторически суффикс *-ča* представлял собой суффикс древнего латива *-ča*, *-če*, сохранившийся в первоначальном своем значении в современном тувинском языке, например: *хемче ула-ныр* «направиться к реке», *хоорайже чоруур* «ехать в город», *бышкыже баар* «пойти к учителю» и т. д.¹

Будущее время в современном удмуртском языке типа *тыно* «я пойду», *тынод* «ты пойдешь», *тыноз* «он пойдет» и т. д. представляет собой переосмысленное более старое настоящее время. Эрзя-мордовский переместительный падеж, или пролатив, на *-va*, *-ga* представляет переосмысленный древний латив на *-ka* и т. д.

¹ Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбаха, Грамматика тувинского языка, М., 1961, стр. 138.

Значительно труднее определить так называемые скрытые архаические черты, когда данные, полученные при сравнении родственных языков, не дают основания для определенного вывода о том, какими особенностями характеризовалось древнее состояние. Так, например, при реконструкции древних глагольных форм уральского языка-основы можно прийти к выводу, что в уральском языке-основе было два прошедших времени, так называемое *z*-овое прошедшее время и *i*-овое прошедшее время, однако неизвестно, что предшествовало этой временной системе и какое из этих двух времен возникло позднее. Для решения задач подобного рода требуется особая методика.

Объем журнальной статьи не позволяет охватить совокупность возможных методических приемов; здесь будет описана только одна система методических приемов, применение которой на практике может дать, по нашему мнению, известные положительные результаты. Предлагаемая система методических приемов состоит из следующих слагаемых: 1) обнаружение логического противоречия, 2) формулирование гипотезы-допуска, призванной устранить логическое противоречие, 3) выявление языковых материалов, необходимых для доказательства гипотезы-допуска, 4) создание системы аргументов, доказывающих выдвигаемую гипотезу, 5) формулировка вывода.

Рассмотрим по отдельности звенья этой системы методических приемов.

1. **Обнаружение логического противоречия.** Система грамматических средств любого языка, несмотря на наличие некоторых элементов стихийности ее развития, логической непоследовательности, избыточности и т. п., всегда отражает особенности определенного языкового типа, а каждое грамматическое явление в основе своей логично. Учет этих свойств системы даст возможность выявлять кажущиеся логические противоречия и выяснить их причины, исходя из того, что в своей истории рассматриваемое грамматическое явление не было противоречивым.

Каждый, кто занимался агглютинативными языками, не мог не заметить одного, логически трудно объяснимого явления. Для выражения принадлежности во многих агглютинативных языках употребляются в одной и той же конструкции и притяжательные местоимения типа русского *мой*, *его* и особые притяжательные суффиксы; например: фин. *minun* «мой» + *poika-ni* «мой сын», марийск. *tudän* «его» + *pört-šö* «его дом», коми-зырян. *tenad* «твой» + *kerkaud* «твой дом», хант. *tiğew* «наш» + *hore-w* «наша лодка», татар. *minäm* «мой» + *quz-um* «моя дочь» и т. д. Как известно, в агглютинативных языках действует довольно строго соблюдающийся порядок слов — определение + определяемое. Практически это означает, что каждое слово, обозначающее качество или свойство предмета, а также его отношение к другому предмету по линии принадлежности, обычно помещается перед словом, обозначающим носителя этих качеств, например, турецк. *Kara deniz* «Черное море», *onun evi* «его дом». Почему же в таком случае притяжательный суффикс, генетически восходящий к личному местоимению, выражает отношение предмета к другому предмету по линии принадлежности, но располагается иначе, чем функционально тождественное ему личное местоимение в форме род. падежа?

2. **Формулировка гипотезы-допуска.** В целях устранения этого противоречия формируется гипотеза-допуск: Притяжательные суффиксы возникли из личных местоимений, занимавших сопозитивное положение, благодаря приобретению ими в этой позиции особой функции. Эта функция оказалась тождественной функции притяжательных местоимений в вышеуказанных конструкциях, которые в уральских и тюркских языках возникли позднее притяжательных суффиксов.

3. Выявление языковых материалов, необходимых для доказательства гипотезы-допуска. Нетрудно заметить, что в некоторых агглютинативных языках притяжательные местоимения фактически представляют форму родительного падежа соответствующего личного местоимения, ср. фин. *minä* «я» — *minun* «мой», *sinä* «ты» — *sinun* «твой»; луг. марийск. *maj* «я» — *majen* «мой», *taj* «ты» — *tajen* «твой»; эрзя-мордов. *mon* «я» — *moñ* «мой» (из *monñ*), *ton* «ты» — *toñ* «твой» (из *tonñ*), татар. *baz* «мы» — *baznəŋ* «наш», *səz* «вы» — *səznəŋ* «ваш» и т. д. Имеются случаи, когда в формировании притяжательных местоимений участвуют притяжательные суффиксы, например: удм. *mon* «я» — *munam* «мой», *ton* «ты» — *tynad* «твой»; эрзя-мордов. *son* «он» — *sonze* «его», *miñ* «мы» — *minek* «наш»; татар. *min* «я» — *minəm* «мой»; азерб. *män* «я» — *mänim* «мой».

В финно-угорских и тюркских языках имеются явные свидетельства того, что в древности родительного падежа не было. В хантыйском и мансийском языках принадлежность может выражаться путем простого соединения двух имен существительных по способу примыкания, ср. манс. *jā wata*, хант. *johan xonəŋ* «берег реки» (буквально: «река берег»). Об этом также свидетельствует отсутствие родительного падежа в некоторых типах изафетных конструкций, например: венг. *Magyarország története* «история Венгрии», турецк. *Türkiye tarihi* «история Турции». Отсутствие родительного падежа до сих пор обнаруживается в некоторых архаических конструкциях, например в марийском: *eger serəške woləšna* «мы спустились на берег реки», *pušege wujət onžəza* «посмотрите на вершину дерева», *jal muško kajəš* «ушел на конец деревни», где в сочетаниях *eger ser* «берег реки», *pušege wuj* «вершина дерева» и *jal muš* «конец деревни» форма родительного падежа отсутствует.

В то же время заслуживает внимания тот примечательный факт, что ни в уральских, ни в тюркских языках личные местоимения в именительном падеже не участвуют в изафетных конструкциях. Такое понятие как «его дом», следовательно, не может быть выражено такими несуществующими конструкциями, как турецк. *o evi*, мордов. *son kudozo*, марийск. *tudo kido*, финск. *hän talo* или *hän talonsa* и т. п.

В случаях соединения двух имен существительных по способу примыкания первое из них может выполнять роль относительного прилагательного, например, манс. *jā wata* или хант. *johan xonəŋ* «берег реки» может также быть истолковано как «речной берег».

Во многих финно-угорских и во всех тюркских языках существует две формы винительного падежа. Суффикс винительного падежа имеет артиклевое значение, и винительный падеж фактически выражает определенный объект действия; если же объект действия представлен неопределенным предметом, имя, его выражающее, не получает специального суффикса винительного падежа.

В финно-угорских и тюркских языках некогда существовал особый падеж инструктив, сохранившийся только в отдельных реликтовых образованиях. Сильное сокращение сферы инструктива требует объяснения.

Личные глагольные окончания в некоторых финно-угорских языках и личные окончания некоторых глагольных форм в тюркских языках совпадают с притяжательными суффиксами, ср. удм. *munо-ту* «мы уйдем», *munо-ду* «вы уйдете», *munо-зу* «они уйдут» и *lud-ту* «наше поле», *lud-ду* «ваше поле» и *lud-зу* «их поле»; эрзя-мордов. *lovny-nek* «читали мы» и *kudo-nok* «наш дом»; манс. *waril-um* «я делаю», *waril-en* «ты делаешь», *waril-uw* «мы делаем», *wari-janəl* «они делают» и *put-um* «мой котел», *put-en* «твой котел», *put-uw* «наш котел», *put-anəl* «их котел»; татар. *ald-um*

«я взял», *ald-yr* «ты взял», *ald-y* «он взял» и *qyr-yt* «мое поле», *qyr-yr* «твое поле», *qyr-y* «его поле» и т. д.

В уральских языках нередко наблюдается формальное совпадение именных и глагольных словообразовательных суффиксов². Так, например, суффикс *-l* может употребляться для образования имен существительных (фин. *rykä-lä* «зарубка», удм. *pupa-l* «день»), для образования имен прилагательных [фин. *vete-lä* «водянистый», коми-зырян. *jumo-v* (*jumo-l*) «сладкий»], для образования многократных глаголов (коми-зырян. *tin-lu-ny* «ходить часто», мордов. *kant-l-ems* «носить часто»).

4. Создание системы аргументов для доказательства выдвинутой гипотезы. Данные уральских и тюркских языков явно свидетельствуют о том, что в глубокой древности родительного падежа не было. Притяжательность могла быть выражена двумя способами — соединением по способу примыкания или двух имен существительных (*отец дом = дом отца*), или же личного местоимения и имени существительного (*я дом = мой дом*).

Если первый способ был вполне допустим, то второй способ мало вероятен³. Если в первом случае одно из слагаемых, именно первый член этого сочетания, мог быть истолкован как «прилагательное» (*отец дом = отцовский дом*), то во втором случае этот способ был неприменим, так как в уральских и тюркских языках личное местоимение не могло получить такого осмысления (о неприменимости второго способа говорит невозможность создания таких несуществующих изафетных конструкций, как турецк. *o evi* «его дом», мордов. *son kudo* «его дом»). Поэтому до возникновения родительного падежа эти языки должны были выражать понятие принадлежности иным способом. Постпозиция личного местоимения (*дом-я*), по-видимому, была более удобна: личное местоимение в этих случаях могло приобретать роль суффикса, выражающего соотношение по линии притяжательности. Такому переосмыслению в немалой мере способствовало наличие в уральских и тюркских языках относительных прилагательных типа коми-зырянск. *vyn-a* «сильный», «обладающий силой» от *vyn* «сила», луг. марийск. *čodra-n* «лесистый, лесной, обладающий лесом», от *čodra* «лес», татар. *köç-lä* «сильный, обладающий силой» от *köç* «сила» и т. д. В результате сочетания типа *дом-я*, *дом-ты* и т. п. приобрели значение «дом, относящийся ко мне», т. е. «мой дом», «дом, относящийся к тебе», т. е. «твой дом» и т. д.

Возможность такого пути развития подтверждается данными индонезийского языка. В современном индонезийском языке личные местоимения, употребляемые в постпозиции, т. е. после имени существительного, могут иметь значение притяжательных местоимений: ср., например, индонез. *rumah saja* «мой дом» (буквально: «дом-я»), *rumah kami* «наш дом» (буквально: «дом-мы»), *rumah mereka* «их дом» (буквально: «дом-они») и т. д. Любопытно отметить, что такое употребление личных местоимений в функции притяжательных создало в индонезийском языке благоприятные условия для возникновения системы притяжательных суффиксов. Личное местоимение *aku* «я» легло в основу образования притяжательного суффикса 1-го лица ед. числа (*rumah-ku* «мой дом» < *rumah aku*); точно

² T. Lehtisalo, Über die primären ururalischen Ableitungssuffixe, Helsinki, 1936, стр. 1, 2.

³ Правда, в некоторых уральских языках, например, в венгерском и мансийском, встречаются конструкции типа *en könyvet* (венг.) «моя книга» и *am namut* (манс.) «мое имя», где личное местоимение «я» (*en*, *am*) выступает в роли притяжательного местоимения. Однако оно не выступает в этой функции вне связи с притяжательными суффиксами. Эти факты не опровергают высказанного нами положения о невозможности первичной схемы «я дом» = «мой дом».

так же притяжательный суффикс 3-го лица ед. числа развился из личного местоимения *ia* «он» (*rumah-hja* «его дом» < *rumah ia*) и т. д.

Различие моделей образования уральских и тюркских притяжательных местоимений — с участием суффикса родительного падежа в одних случаях и с участием притяжательных суффиксов в других случаях (ср. фин. *hän-en* «его», но татар. *min-ät* «мой» и т. д.) — объясняется тем, что некоторые притяжательные местоимения уже начали образовываться в эпоху существования притяжательных суффиксов еще до возникновения родительного падежа. Другие притяжательные местоимения оформились, по всей видимости, в тот период, когда родительный падеж вполне оформился.

Родительный падеж в финно-угорских и тюркских языках, видимо, возник в результате переосмысления инструктива, что подтверждается совпадением форм суффиксов этих падежей, ср. турецк. *arkadaş-in* «товарища», но *kiş-in* «зимою», *yaz-in* «летом»; луг. марийск. *jal-ən* «деревни», но *pis-ən* «быстро», *jük-ən* «громко» и т. д. Наречные формы с суффиксами *-in*, *-ən* в турецком и марийском языках представляют реликты некогда более широко распространенного инструктива.

Формальное совпадение некоторых именных и глагольных словообразовательных суффиксов в уральских языках, а также совпадение личных глагольных окончаний и притяжательных суффиксов, по-видимому, свидетельствует о том, что в уральских, а возможно и в тюркских языках, в древности не было каких-либо резких различий между именем и глаголом и глагольное действие фактически выражалось глагольным именем.

Если личные местоимения в уральских и тюркских языках уже в глубокой древности превратились в своеобразные средства выражения соотносительности по линии принадлежности, то легко понять возможность их использования в этой роли в глагольных именах для выражения соотносительности действия с субъектом действия. Современным конструкциям типа *он дерево рубит* могла в то время соответствовать конструкция типа *дереворубка его*.

Если гипотеза определенным образом доказывается, то формулировка конечного вывода будет естественно совпадать с формулировкой гипотезы-допуска.

Установление одного положения вместе с тем помогает решить и другие исторические загадки. Выше уже говорилось о том, что многие финно-угорские и все тюркские языки характеризуются наличием двух форм винительного падежа — винительного неопределенного, совпадающего по форме с именительным, и винительного определенного, характеризующегося специальным суффиксом. Если в уральских и тюркских языках древнейшей поры господствующим типом связи было простое примыкание и были распространены конструкции типа «дереворубка его» = «он дерево рубит», то возможно допустить, что имя в роли объекта действия и глагольное имя, выражавшее действие, соединились по способу непосредственного примыкания, т. е. что суффикса винительного падежа в то время не было. Интересно отметить, что в формах объектного спряжения в мордовском языке инфигированные основы личных местоимений, выступающие в роли объектов глагольных действий, не имеют суффикса винительного падежа, ср. эзя-мордовские формы: *kunda-t-an* «я поймаю тебя», *kundasa-t-ak* «ты поймаешь меня».

Позднее в языке возникла необходимость выражать формальными средствами определенность объекта действия. К имени, выполнявшему роль объекта действия, стал присоединяться постпозитивный артикль (будущий суффикс винительного определенного). Известное нарушение типичной формы связи двух имен способствовало переосмыслению отглагольного имени, выражавшего действие, в глагольную форму. Там, где

объект действия оставался неопределенным, постпозитивный артикль, естественно, не присоединялся. Поэтому конструкции подобного типа сохраняют старый способ связи — примыкание, несмотря на то, что глагольное имя уже превратилось в глагольную форму, ср. татар. *min kiçä bär malaj öbrattım* «я вчера встретил одного парня».

В некоторых финно-угорских языках, а также в ненецком, средством отрицания глагольного действия являются спрягаемые формы специального отрицательного глагола, сочетаемые с основой того глагола, действие которого отрицается, ср. фин. *en tiedä* «я не знаю», *et tiedä* «ты не знаешь», *ei tiedä* «он не знает» и т. д.; коми-зырян. *og mun* «я не иду», *on mun* «ты не идешь», *oz mun* «он не идет»; марийск. *om lut* «я не читаю», *ot lut* «ты не читаешь», *og lut* «он не читает» и т. д. Данное явление нельзя считать глубоким архаизмом по следующим соображениям. Отрицание имени в уральских языках имеет совершенно особую форму (ср. коми-зырян. *sijb oz mun* «он не идет», но *vojys abu pemyd* «ночь не темна»); таким образом, возникновение в языке особого способа отрицания глагольного действия не может быть датировано раньше эпохи разделения имени и глагола — в противном случае наличие двух способов отрицания оказалось бы совершенно бессмысленным.

Пользуясь вышеизложенной методикой, рассмотрим еще ряд случаев, когда воссоздание картины исторического прошлого представляется затруднительным.

Одна из наиболее характерных особенностей системы числительных в финно-угорских языках заключается в любопытном чередовании так называемых меченых и немеченых пар. Числительные от 1 до 7 закономерно распределяются на три пары: первая пара, включающая числительные 1, 2, характеризуется наличием у каждого члена этой пары особой дейктической частицы *tš*. Члены следующей пары 3, 4 не имеют дейктической частицы *tš*. Члены следующей пары 5, 6 вновь получают дейктическую частицу. Ср.: «один» — фин. *yksi* (основа *yhte-*), лапл. *okta*, коми *öti* и т. д.; «два» — фин. *kaksi* (основа *kahde-*), эрзя-мордов. *kavto*, лапл. *guokte* и т. д.; «три» — фин. *kolme*, эрзя-мордов. *kolme*, марийск. *kum* и т. д.; «четыре» — фин. *nelja*, марийск. *näI*, эрзя-мордов. *ñil'e*, коми *ñol'* и т. д.; «пять» — фин. *viisi* (основа *viite-*), эрзя-мордов. *vet'e*, коми *vit* и т. д.; «шесть» — фин. *kuusi* (основа *kuute-*), эрзя-мордов. *koto*, лапл. *gutta*, коми *kvajt* и т. д.

Если логически распространить эту структуру на единицы первого десятка, то должна была бы получиться следующая схема (знаком плюс снабжены числительные, в состав которых входит дейктическая частица, а знаком минус — числительные, не имеющие дейктической частицы):

$$+1 +2 -3 -4 +5 +6 -7 -8 +9 +10.$$

Однако в реальной действительности дело обстоит иначе. Числительное 7 как член немеченой пары (7, 8) действительно не имеет дейктической частицы, ср. коми *šitim*, эрзя-мордов. *sišem*, фин. *seitsemän*, марийск. *šät*, хант. *šabät* и т. д. В то же время числительные 8 и 9 образуют особую меченую пару, имеющую совершенно особую структуру, созданную по схеме «два до десяти», «один до десяти», ср. коми-зырян. *kōkjamys* «восемь», *ōkmys* «девять», марийск. *kandaš(e)* «восемь», *indeš(e)* «девять», эрзя-мордов. *kavkso* «восемь», *vejkse* «девять», фин. *kahdeksän* «восемь», *yhdeksän* «девять». Таким образом, числительные 7 и 10 остаются вне пар.

Логическое противоречие здесь заключается в том, что естественное чередование меченых и немеченых пар в пределах десятка оказалось нарушенным. Для объяснения этого противоречия возникает необходимость в гипотезе-допуске, которую можно было бы сформулировать следующим образом.

Естественное чередование меченых и немеченых пар в пределах первого десятка в уральских языках не могло полностью осуществляться по двум причинам: 1) образование числительного 8, которое должно было входить в состав четвертой немеченой пары, было подчинено иному принципу, 2) название числительного 10 также имело особое оформление, подчиненное другому принципу. Остается теперь подыскать конкретные языковые данные, которые в какой-то мере могли бы подтвердить предлагаемую гипотезу-допуск.

В ненецком языке числительное 8 образовано по схеме «дважды четыре» — *сидидет* (*сидя* «два» и *тет* «четыре»). В названиях числительного 8 в обско-угорских языках и венгерском несомненно присутствует название числительного 4, например: манс. *ñol-oli*, хант. *ñiv-əl* и венг. *nyol-c* «восемь», ср. фин. *neljä* «четыре», коми-зырян. *nól'*, эрзя-мордов. *ñile*, манс. *ñila* и т. д. Эти данные вполне подтверждают потенциальную возможность особого оформления числительного 8 в уральских языках.

В языке коми обнаруживается древнее название числительного 10, которое имеет разную форму в зависимости от того, входит ли это числительное в обозначение первого десятка, или же в обозначение непервых десятков; ср., например, коми-зырян. *kõkja-mys* «два до десяти», удм. *t'a-mys* (исторически из *kekja-mys*: *kekja-mys* > *kjamys* > *t'a-mys*), коми-зырян. *õk-mys* «девять» (буквально: «один до десяти»), удм. *uk-mys*, но коми-зырян. *ko-myn* «тридцать» (буквально: «три десятка»), удм. *kua-myn*, коми-зырян. *ïela-myn* «сорок» («четыре десятка»), *ñety-myn* «пятьдесят» («пять десятков»), *kvajty-myn* «шестьдесят» («шесть десятков») и т. д.

Следы мечености непервых десятков прослеживаются и в венгерском языке, ср. *negy-ven* «сорок», *öt-ven* «пятьдесят», *hat-ven* «шестьдесят», *het-ven* «семьдесят» и т. д., где элемент *ven* этимологически мог быть родственен коми-зырян. *myn*.

Если название числительного 10 имело особое оформление, то совершенно естественно, что название числительного 9 не могло с ним составить пятую меченую пару, и название числительного 9 было оформлено по схеме «один до десяти». Эта схема обнаруживается во всех уральских языках. В большинстве финно-угорских языков особая схема образования числительного 8 с буквальным значением «две четверки» утрачена, и это числительное получило оформление по новой схеме «два до десяти», поскольку следующее за ним числительное 9 уже было оформлено по схеме «один до десяти».

Как уже указывалось выше, при конструировании общей структуры уральского языка-основы совершенно отчетливо обнаруживается наличие в нем двух типов прошедших времен, так называемого *i*-ового прошедшего времени и *s*-ового прошедшего времени. В связи с этим возникают вопросы: 1) были ли эти времена одинаковы по своему значению?; 2) были ли эти времена различными по значению?; 3) почему *s*-овое прошедшее время в истории развития уральских языков явно шло на убыль? Если предположить, что эти времена были одинаковыми по значению, то здесь возникает явное логическое противоречие: чем объяснить совершенно нелогичный плеоназм употребления одинаковых по функции грамматических средств?

Формулируется гипотеза-допуск: *s*-овое и *i*-овое прошедшие времена были различными по своему значению. Рассмотрим языковые данные.

Известно, что в современном марийском языке все глаголы по типу своих основ делятся на две группы — основы на *-a-* и основы на *-e-*; например, *лида-т* «я читаю» и *воже-т* «я пишу». Прошедшее время от глаголов этих двух групп образуется по-разному. Глаголы с основой на *-e-* типа *воже-т* «я пишу» сохраняют *s*-овое прошедшее время; например, *вожә-š-әт* «я написал», *вожә-š-әш* «ты написал», *вожәш* «он написал» и т. д., где пока

затель прошедшего времени $\dot{\zeta}$ исторически возник из s . Глаголы с основой на $-a$ образуют прошедшее время без показателя $\dot{\zeta}$, например: *lidät* «я читал», *lidäč* «ты читал» и т. д. В пермских языках — в языках коми и древнеудмуртском — показателем настоящего времени является a ; например: коми-зырян. *тун-а-п* «ты идешь», удм. *тун-о-з* «он идет» (< *тун-а-з*). Примечательно также, что в мордовском языке в качестве показателя настоящего времени выступает a , ср. эрзя-мордов. *lovnots* «читать», но *lovn-a-n* «я читаю». Эти факты допустимо истолковать в том смысле, что форматив a имел в уральских языках определенное видовое значение — значение несовершенного вида. Отсюда легко понять, почему марийские глаголы на $-a$ не образовывали s -ового прошедшего времени, поскольку последнее имело, по всей видимости, значение совершенного вида.

Обратимся теперь к фактам ненецкого языка. В ненецком языке s -овое прошедшее время исчезло. Исчезло оно потому, что у него появился конкурент — так называемое неопределенное время, которое может иметь значение настоящего и прошедшего времени. Неопределенное время, выступающее в роли прошедшего, имеет определенную видовую окраску — оно выражает действие, достигшее предела. Поскольку прошедшее неопределенное в ненецком языке оказалось способным выражать законченное действие, необходимость наличия специализированного в видовом отношении s -ового прошедшего времени естественно отпала.

Исчезновению s -ового прошедшего времени во многих других уральских языках способствовали другие факторы. В уральских языках стали развиваться в глаголе суффиксы однократного действия; глаголы с такими суффиксами в ряде случаев могли выполнять функцию s -ового прошедшего времени. В результате надобность в этой форме стала ослабевать, и она уступила место другому прошедшему времени — так называемому i -овому прошедшему времени, которое с самого начала было нейтральным в видовом отношении.

Другой случай, который трудно объяснить с точки зрения синхронической, представлен в эрзя-мордовском объектном спряжении, где имеется целый ряд совершенно омонимичных форм с разным значением, например:

kunsolymiž «послушал ты нас» *kunsolymiž* «послушали вы нас»
kunsolymiž «послушал он нас» *kunsolymiž* «послушали они нас».

Если подходить к этим формам с чисто логической точки зрения, то они должны быть построены по строго определенной схеме: основа глагола + показатель объекта действия + показатель времени + показатель субъекта действия.

Формулируется гипотеза-допуск: все ныне омонимичные формы должны были в древности иметь различные показатели объекта и субъекта.

Для аргументации этой гипотезы в парадигме объектного спряжения подыскиваются такие формы, где сохраняется объект действия «нас». Показательной в этом отношении будет форма *kunsolymiž* «послушали они нас», где объект действия представлен показателем $-m$, генетически восходящим к основе личного местоимения 1-го лица.

В объектном спряжении эта основа не обнаруживает различий по числу объектов, ср. форму *kunsoly-m-iž* «послушали они меня». Это свидетельствует о том, что искомый показатель объекта найден правильно. Далее, сравнение таких форм, как *kunsolydiž* «послушали они тебя», *kunsolyž* «послушали они его» и т. д., позволяет определить показатель субъекта действия 3-го лица мн. числа $-ž$. Элемент i перед $ž$ будет, очевидно, показателем так называемого i -ового прошедшего времени.

Следовательно, одна из вышеприведенных четырех форм, а именно

форма *kunsolyimí* «послушали они нас» вполне удовлетворяет поставленной задаче. Остается разобрать (и восстановить) другие формы. В форме *kunsolyimí* «послушали вы нас» — морфологически неправильный показатель субъекта. Форма объектного спряжения *kunsolyink* «послушали вы его» свидетельствует о том, что показателем субъекта действия 2-го лица мн. числа должен быть *-nk*. На этом основании морфологически «неправильная» форма *kunsolyimí* восстанавливается в виде *kunsolyimink*. Подобная же операция производится с формой *kunsolyimí* «послушал он нас». Форма объектного спряжения *kunsolyze* «послушал он его» дает возможность обнаружить истинный показатель субъекта 3-го лица ед. числа *-ze*. Таким образом получается правильная форма *kunsolyimíze* «послушал он нас». Остается произвести операцию с последней из омонимичных форм *kunsolyimí* «послушал ты нас». Форма объектного спряжения *kunsolyt'* «послушал ты их» дает представление о показателе субъекта действия 2-го лица ед. числа *t'*, точнее *t*. В результате после подстановки истинного показателя субъекта действия *t* можно воссоздать древнюю форму *kunsolymit* «послушал ты нас».

Произведенные операции позволяют констатировать, что древние мордовские формы объектного спряжения *kunsolymit* «послушал ты нас», *kunsolyimíze* «послушал он нас», *kunsolyimink* «послушали вы нас» уподобились форме *kunsolyimí* «послушали они нас», в результате чего возникла полная омонимия всех четырех форм.

В кельтских языках, насколько известно, глагольная форма помещается в самом начале предложения; например: в древнеирландском: *D é s a d cách a gnímu* «Пусть каждый смотрит на свои дела»⁴, в новоирландском: *De ir an maistir na rabhais an* «Учитель говорит, что ты там не был», в валлийском: *cu d d i o i d e f y trysor y tu* «спрятал сокровище в доме». Поскольку такая позиция глагола для остальных индоевропейских языков не является типичной, возникает предположение, что постановка глагола в начале предложения представляет вторичное явление, которому предшествовало некоторое иное состояние.

В этой связи обращает на себя внимание структура будущего времени в кельтских языках. Почти все кельтские языки имеют так называемый *f-futurum*, например: др.-ирл. *leic-f-ea* «я оставлю», *leic-f-e* «ты оставишь» и т. д. Если показатель будущего времени *-f-*, *-b-* действительно восходит к корню индоевропейского глагола **bhū* «быть», то при исконной начальной позиции кельтского глагола образование будущего на *-b-*, *-f-* было бы невозможно. Глагол в кельтских языках древнейшей поры, по всей видимости, располагался на конце предложения. Такую же позицию он занимал некогда и в латинском языке; ср., например: лат. *ama-bo* «я буду любить», *lauda-bo* «я буду хвалить». Необходимо также заметить, что в период образования будущего на *-b-*, *-f-* в кельтских и латинском языках глагол *bhū* имел значение «превращаться во что-нибудь» или «становиться». В противном случае образование будущего времени было бы невозможно.

В некоторых языках существует так называемая эргативная конструкция предложения (различные типы эргативных конструкций могут содержать некоторые отклонения от излагаемой ниже схемы; здесь приводится наиболее типичная схема). Сущность ее заключается в том, что переходный глагол, выступающий в роли сказуемого, требует особого оформления предложения. Действующий субъект при этом выражается особым косвенным падежом — эргативом; прямой объект принимает форму так называемого абсолютного падежа, не имеющего окончания; глагол получает показатели субъекта и объекта одновременно.

⁴ J. P o k o r n y, *Altirische Grammatik*, Berlin — Leipzig, 1925, стр. 118.

Возникает проблема, является ли эргативная конструкция предложения более архаичной по сравнению с номинативной или же она развивалась из номинативной конструкции.

Прежде всего необходимо заметить, что сама эргативная конструкция предложения не является логически необходимой. Можно найти случаи, когда форма переходного глагола содержит показатели субъекта и объекта, однако субъект действия выражается при этом формой именительного падежа. Например: манс. *Man ti totap toti-l-uw* «Мы несем этот ящик»⁵, где глагольная форма *totiluw* содержит показатель объекта *-l-* и показатель субъекта *-uw*, а вместе с тем личное местоимение *ман* «мы» употреблено в форме именительного падежа.

В некоторых уральских языках (обско-угорские, мордовский) показатели объекта действия в структуре глагольной формы имеют артиклевое значение. Не исключена поэтому возможность более позднего возникновения показателей объекта в формах переходного глагола также и в языках эргативного строя. Развитие могло идти по линии — артиклевое значение > обобщенное значение показателя переходности. К тому же в ряде языков, имеющих эргативную конструкцию предложения, эргативный падеж совпадает по форме с творительным падежом, что явно свидетельствует о более позднем использовании творительного падежа в его новой роли. Все эти данные не подкрепляют гипотез некоторых ученых об архаичности эргативного строя.

Рассмотрим другой случай. В мансийском языке, в отличие от многих других чисто агглютинативных языков, имеются глагольные приставки, например: *ela-kwaluykwe* «отодвигать», *ela-towuykwe* «отгрести», *ela-totuykwe* «унести», *təḡ-tilamlaykwe* «прилететь», *təḡ-totuykwe* «принести», *jot-wantuykwe* «увести с собой», *jot-xartuykwe* «утащить с собой», *akwan-lakutuykwe* «сдвинуть», *akwan-xajtuykwe* «сбежаться», *paləḡ-jaktuykwe* «разрезать», *paləḡ-poksuykwe* «лопаться» и т. д. Наличие глагольных префиксов в языке агглютинативного типа представляется аномальным явлением, что дает известное право для формулировки гипотезы-допуска: в мансийском языке древнейшей поры не было глагольных приставок.

Современные глагольные приставки восходят к наречиям. Интересно отметить, что часть этих наречий сохранила окончания некоторых старых мансийских падежей и их значения. Так, например, приставка *ela*, восходящая к наречию «вперед», сохраняет окончание древнего латива *-a*, совершенно исчезнувшего в современном мансийском языке, но уцелевшего в хантыйском, ср. хант. *voš-a* «в город» (*voš* «город»). Приставка *təḡ* «сюда» сохраняет древнее лативное значение суффикса *-ḡ*, который в современном мансийском языке имеет значение транслатива. Приставка *jot* омонимична мансийскому наречию *jot* «вместе», где *t* — суффикс местного падежа; приставка *paləḡ* представляет собой форму латива от существительного *pal* «половина» или «сторона» (следовательно, *paləḡ manumtaḡkwe* «разорвать» первоначально означало «рвать на две половины»).

Известно, что в агглютинативных языках наречие, выступающее в роли глагольного определения, всегда предшествует глаголу (татар. *ul matur jaza* «он красиво пишет»). В силу этого некоторые наречия, особенно часто употреблявшиеся перед глаголом, в мансийском языке превратились со временем в превербы.

В заключение необходимо заметить, что на практике исследователь может встретиться с кажущимися или мнимыми архаизмами. При сравнении некоторых чувашских слов с соответствующими словами других тюркских

⁵ А. Н. Баландин, Самоучитель мансийского языка, Л., 1960, стр. 81.

языков обнаруживается, что чувашские слова сохраняют как будто конечный древний гласный, который во всех остальных тюркских языках утрачен, ср. чуваш. *juđä* «собака», татар. *it*, турецк. *et*; чуваш. *vyžă* «голодный», татар. *ađ*, турецк. *ađ*; чуваш. *uġă* «лук, стрела», татар. *uq*, турецк. *ok* «стрела»; чуваш. *udă* «сено, трава», татар. *ut*, турецк. *ot* и т. д. Однако на самом деле это кажущийся архаизм. По причине необычайно развитого внешнего сандхи в чувашском языке древние конечные глухие согласные типа *k*, *t*, *p*, *q* (в чувашском *x*) и т. д. стали нетипичными, поскольку частотность употребления звонких вариантов этих согласных перед гласными следующего слова необычайно возросла. По этой причине в конце слова после глухих согласных во многих чувашских словах развился гласный, вследствие чего конечные глухие согласные превратились в звонкие, например: *ut* > *udă* «трава, сено».

В северных диалектах языка коми формы мн. числа настоящего и прошедшего времени содержат два ряда личных окончаний, поскольку перфектные окончания наивысываются на личные окончания ед. числа; например: коми-зырян. *типа-п-пуд* «вы идете», *тин-б-пу* «они идут», диалектн. *тин-б-пуд* «они идут». Наличие личных окончаний ед. числа в формах мн. числа нельзя считать пережитком той эпохи, когда в глагольной системе мн. число не различалось. Одинаковость личных окончаний для обоих чисел здесь отражает более позднюю эпоху, иногда вследствие исчезновения древнего окончания мн. числа *-t* в некоторых диалектах произошло выравнивание форм ед. и мн. чисел.

Описанные выше методические приемы нельзя рассматривать как универсальные, в то же время применение их могло бы дать стимул дальнейшей разработке проблемы методов изучения истории языка.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. К. ЖУРАВЛЕВ

ГЕНЕЗИС ПРОТЕЗОВ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В славистической литературе протезами обычно называют те согласные начала слова, которым нет соответствия в других индоевропейских языках: ср. лат. *agnus* — серб.-хорв. *jǎgње*, польск. *jagnię*, русск. *ягненок*; др.-инд. *udrás* — др.-русск. *выдра*, серб.-хорв. *вѣдра*, чеш. *vydra* и т. п.

В ряде случаев, однако, протетический согласный отмечается не во всех славянских языках: ср. польск. *węzeł*, болг. *възел*, укр. *вузол* и русск. *узел*, серб.-хорв. *џао* — *џла*. Нередко различные протетические согласные употребляются в одном и том же слове в говорах одного и того же языка: ср., например, укр. диалектн. *вѣлиця*, *џѣлиця*, *гулиця*, *кѣлиця* и *улиця* при русск. *џлиця*; белорусск. диалектн. *озера*, *вбз'ира*, *убз'ара*, *хбз'еро* при др.-русск. *озеро* и ст.-слав. *незеро*, совр. болг. *езеро* (без протеза).

Отсутствие очевидной закономерности употребления протезов в славянских языках, непоследовательность появления или исчезновения протеза в одном и том же языке, в одном и том же слове в разных диалектах одного и того же языка послужили основанием для различных, зачастую противоречащих друг другу гипотез и теорий.

Если, исходя из принципов сравнительно-исторического метода, проецировать явления, относящиеся к протезам, в глубь «доистории», в «праславянское состояние», то для праславянского можно вывести три протеза: *h*, *ǰ*, *ʒ*; можно объяснить и наиболее общие случаи их функционирования: *ʒ*-развилось перед *ǰ*, *ǰ*-/*j*- — перед гласным переднего ряда, а также перед *ā*, *h*-развивался, видимо, перед гласными заднего ряда. Такое решение проблемы генезиса протезов и находим у А. А. Шахматова¹.

С развитием консонантных протезов все или по крайней мере большинство слов в праславянском языке стали начинаться согласной. Как же объяснить это его кардинальное отличие от других индоевропейских языков? Другим кардинальным отличием праславянского языка, как известно, является отсутствие конечных согласных. В праславянском языке на определенном этапе его развития все слова оканчивались на гласный. Связаны ли между собой эти явления? Обращает на себя внимание тот факт, что в потоке речи между конечным гласным предшествующего слова и начальным гласным следующего слова оказываются два гласных рядом, возникает «зияние» (hiatus: ...CCV + VCC...). Перед языком встает альтернатива: допустить хиат или выставить протез во имя избежания «зияния». Протез или хиат? «Prothese či hiat,» — так и называлась статья Ф. Травничка², по мнению которого праславянский язык разрешил эту

¹ А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пгр., 1915, стр. 54—56. Сходные выводы см.: Ф. Ф. Фортунатов, *Phonetische Bemerkungen*, *AfslPh*, XII, 1—2, 1890, стр. 98 и сл.

² F. Trávníček, *Prothese či hiat?*, «*Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski*», II, Kraków, 1928.

проблему в пользу протезов. Теория «хиата» как первопричины появления протезов является общепринятой. Ее принимают полностью или с оговорками, пожалуй, все лингвисты, так или иначе касавшиеся этой проблемы. В свое время Г. А. Ильинский, разрабатывая эту теорию как «синтаксическую», подвел под нее и явление переразложения праславянских предлогов *vъn, kъn, sъn* ³.

С точки зрения теории «хиата», протез должен был развиваться лишь в середине предложения. В начале предложения, где не было «зияния» и «сбега» двух гласных, протез не должен был развиваться. Следовательно, если эта теория верна, перед частицами, некоторыми союзами и т. п., начинавшими предложение, протеза быть не могло. Действительно, перед *a* (частица и союз), перед *ese, eda* и т. п. протез не наблюдается. В этом увидел подтверждение гипотезы «хиата» А. Мейе ⁴. Однако несколько позже А. Брюкнер и Я. Лось показали, что протез мог возникнуть в любом слове независимо от его места в предложении ⁵.

Если гипотеза хиата верна, если появление протеза объяснять стремлением избежать хиат и связывать это с появлением открытых слогов (падение конечных согласных), то вплоть до появления новых закрытых слогов (следствие падения редуцированных) условия появления и функционирования протезов должны были оставаться идентичными. Следовательно, оставаясь на позициях гипотезы хиата, нельзя говорить даже о диалектном, даже частичном падении начальных протезов до эпохи падения редуцированных: таких случаев не должно было быть.

Если стремление избежать хиат вызывало появление протеза между словами, то внутри слова эта тенденция должна была действовать с еще большей силой. Как ни странно, сторонники гипотезы хиата не связывали появление начальных протезов с появлением протезов в середине слова (ср., например, протетическое *B* в причастиях типа *znawъши*). А между тем, уже ранние памятники славянской письменности свидетельствуют об относительно раннем «падении» интервокального *-j-* и образовании хиата там, где его раньше не было (ср. ст.-слав. *добраа, въздаати, старааго*) ⁶. Кроме того, общеславянское происхождение имперфекта с обязательным хиатом (*znaxъ, vidъaxъ*), кажется, никто не подвергал сомнению ⁷. Далее, в древнерусском языке встречаются случаи не только отсутствия начального протеза, но и отсутствие исконного *w-* и *j-* (*хноша, хсъ < *jaun-, *wqs-*) уже в памятниках, отражающих состояние до падения редуцированных, когда условия хиата оставались такими же, какими были в эпоху после падения конечных согласных.

Таким образом, получается, что причина, вызвавшая данное явление, действовала постоянно и однообразно в течение длительного времени, а явление, считающееся ее следствием, за тот же период получает весьма разнообразное и противоречивое воплощение: ликвидация хиата путем вставки протезов, появление нового хиата путем опущения исконного согласного, его ликвидация путем стяжения, отпадение протетических и исконных

³ Г. А. Ильинский, Праславянская грамматика, Нежин, 1916, стр. 157 и сл.

⁴ A. Meillet, Sur l'initiale des mots vieux slaves *ese* et *a*, сб. «Статьи по славяноведению» (под ред. В. И. Ламанского) II, СПб., 1906 г.

⁵ См.: А. В р ъ с к н е р [ред. на кн.:] А. Meillet, Le slave commun, AfsPh, XL, 1—4, 1926, стр. 133 и сл.; J. Л о с ь, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, Lwów, 1927, стр. 65.

⁶ Ср.: С. П. О б н о р с к и й, Судьба *г*-та (*i*) в Супрасльской рукописи, ИОРЯС, XVII, кн. 3, СПб., 1912, стр. 246 и сл.

⁷ Как свидетельствует чешский материал (см.: Н. С. Т р у б е ц к о й, К вопросу о хронологии стяжения гласных в западнославянских языках, Slavia, VII, 4, 1929, стр. 805), процесс падения интервокального *-j-* имел место до падения редуцированных.

согласных начала слова. Кроме того, если необходимо было ликвидировать хиат, то этого можно было достичь не только путем вставки протеза (дихотомия Травничка совсем не обязательна), но и контракцией (стяжением), наконец, опущением любой гласной. Однако случаев опущения начальной гласной в славянском этимологическом материале не отмечено⁸.

Далее. Теория хиата может предсказать лишь появление протеза, но не его качество (почему *u-*, *i-*, *h-*, а не *s*, *x* или что-либо другое?), которое остается непредсказуемым. Если же исходить из «синтаксической» теории хиата, то ответ на этот вопрос следует искать в качестве (характере) конечного гласного предшествующего слова. Так и поступил Г. А. Ильинский⁹. С его точки зрения, конечные *ĭ* и *ĭ̇* им. и вин. падежей ед. числа существительных и послужили источником протезов (ср. его фразу:

proti estĭ avĕ при аналогии *vъn qtrъ*). Однако и в этом случае факт последовательного наличия *u-*протеза перед прежним *ĭ̇*, предпочтение *i-*протеза гласными переднего ряда и непоследовательность протеза в других случаях остается за пределами данной теории.

Непоследовательность в употреблении протеза, т. е. факты нерегулярного соответствия протезов в славянских языках и диалектах можно трактовать, исходя из принципов сравнительно-исторического метода, как позднее диалектное явление в отличие от случаев регулярного соответствия, трактуемых как общеславянское, праславянское явление. Однако диалектным может быть как наличие, так и отсутствие протезов, и с равным правом можно допустить как диалектную утрату, так и диалектное развитие протезов в соответствующих случаях. Действительно, в литературе высказывались две противоположные точки зрения. Факт нерегулярности *u-*протеза перед *o*, *u* (< *au*) Ф. Ф. Фортунатов, А. Мейе, А. Вайян и другие трактуют как последовательное развитие *u-*протеза в праславянском с поздней диалектной утратой¹⁰. Наоборот, Р. Нахтигал, З. Штибер и другие полагают, что в этих случаях в праславянском не было *u-*протеза, который развился относительно поздно по диалектам¹¹. С. Б. Бернштейн выдвигает такое решение: протезами следует считать лишь те факты, которые отмечаются во всех славянских языках как протетический согласный (например, *u-* перед *y* и *ъ*), а противоречивые показания (например, *w-* перед **a*, *i* перед *a* и т. д.) протезами не считать, считая их лишь вторичными начальными звуками, имевшими различное происхождение¹². В таком случае на долю исследователя праславянского языка остаются лишь некоторые случаи регулярного появления протезов.

Регулярное появление *u-* перед рефлексами прежнего *ĭ̇* (*y* и *ъ*) можно связать с фактом делабиализации **ĭ̇* > *ĭ̇̃*. Такое решение было предложено А. М. Селищевым¹³. Но при такой интерпретации можно обойтись

⁸ Ср.: С. У. Ш е в е л о в, *Prothetic consonants in common Slavic*, сб. «American contributions to the V International congress of slavists», I, The Hague, 1963, стр. 243.

⁹ Г. А. И л ь и н с к и й, указ. соч., стр. 157 и сл.

¹⁰ Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, *Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка*, Избр. труды, II, М., 1957, стр. 227; А. М е й е, *Общеславянский язык*, М., 1954, стр. 65 и сл.; А. V a i l l a n t, *Grammaire comparée des langues slaves*, I, Paris [1950], стр. 185 и сл.

¹¹ R. N a h t i g a l, *Slovanski jezik*, Ljubljana, 1952, стр. 173; Z. S t i e b e r, *Nagłosowe w dialektach zachodniślōwiańskich*, «Slavia occidentalis», XIV, 1935, стр. 237.

¹² С. Б. Б е р н ш т е й н, *Очерк сравнительной грамматики славянских языков*, М., 1961, стр. 185—187.

¹³ А. М. С е л и щ е в, *Старославянский язык*, ч. 1, М., 1954, стр. 122. Однако, объясняя генезис *i-*протеза, он прибегал к традиционной теории хиата (там же, стр. 136—137). Наоборот, А. Мейе («Общеславянский язык», стр. 66), А. Вайян (указ соч., стр. 178—184), Р. Нахтигал (указ. соч., стр. 41) и другие готовы были видеть в *i-*протезе лишь усиление палатализации.

и без теории хиата: лабиальная артикуляция гласных заднего ряда, находящихся в любом положении, отделяется от их образования и опережает его. Но если допустить, что ψ -протез обязан своим происхождением обособлению лабиальной артикуляции, то можно допустить, что и возникновение $\dot{\imath}$ -протеза связано с обособлением палатальной артикуляции. Такое решение проблемы протезов может полностью обходиться и без теории хиата. Тогда некоторые недостатки теории хиата, о которых говорилось выше, отпадут, факты, не покрываемые этой теорией, найдут свое объяснение в рамках теории об обособлении палатальной и лабиальной артикуляции. Этой теории более или менее последовательно придерживаются Б. Каллеман, А. Мартине, Э. Петрович¹⁴ и др.; истоки этой теории восходят к трудам старших исследователей: А. А. Шахматова, А. Мейе¹⁵ и др.

Недавно с компромиссной теорией генезиса протезов выступил Г. Шевелев, предложивший различать три этапа в развитии протезов: 1) $v + \check{a}$, $j + \check{i}$, 2) $v + \circ a$, $j + \circ e a$, 3) $j + a$ ¹⁶. С его точки зрения, первый этап не был связан с явлением хиата; стремление избежать зияния проявилось лишь на третьем, а частично и на втором этапе. Появление протеза на первом и частично на втором этапах связывается, по Шевелеву, с перестройкой системы вокализма. Истоки такого компромисса и такого разграничения можно найти у старших исследователей. Компромисс в старой теории хиата вполне оправдан: как уже отмечалось выше, с точки зрения последовательной теории хиата появление ψ - или $\dot{\imath}$ - безразлично, факты же свидетельствуют о регулярности ψ -протеза перед \check{a} и предпочтительности $\dot{\imath}$ -протеза перед гласными переднего ряда.

Развивая идеи исследователей старшего поколения о возможности «обособления» лабиальной и палатальной артикуляции при образовании протезов, можно предложить такую фонологическую интерпретацию данного процесса, которая могла бы связать воедино генезис протезов с другими процессами (совпадение прежних $*\check{a}$ и $*\check{o}$, делабиализация гласных, палатализация согласных и др.), благодаря действию которых сложилась специфика праславянской фонетики и фонетики отдельных славянских языков.

Праславянский процесс совпадения и.-е. $*\check{a}$ и $*\check{o}$ фонологически можно интерпретировать как процесс делабиализации $*\check{o}$ путем передачи признака бемольности прежним $*\check{o}$ предшествующему согласному ($C + \check{o} \rightarrow C^0 + \check{a}$). Вслед за этим процессом и в связи с ним проходил более общий процесс делабиализации гласных ($C + \check{a} \rightarrow C^0 + \check{y}$), который шел тем же путем передачи признака бемольности гласным предшествующему согласному ($C + {}^0V \rightarrow C^0 + V$)¹⁷. Процесс делабиализации гласных нельзя считать полностью завершенным до его осуществления во всех позициях. Если же в позиции не после согласного (после гласного или в начале слова) еще будут сохраняться лабиализованные гласные, эта позиция

¹⁴ B. Callemann, Zu den Haupttendenzen der urslavischen und altrussischen Lautentwicklung, Uppsala, 1950, стр. 12, 72—73, 121—123; A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Berne [1955], стр. 361—362 (правда, Мартине в некоторых случаях допускает влияние «синтаксической фонетики»); Э. Петрович, Явление сингармонизма в исторической фонетике румынского языка — следствие славяно-румынской интерференции, «Romanoslavica», VI, 1958, стр. 17.

¹⁵ А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 54—55; ср. А. Мейе, Общеславянский язык, стр. 66—67.

¹⁶ G. Y. Shevelov, указ. соч., стр. 256 и сл.

¹⁷ См.: В. Ю. Журавлев, Формирование группового сингармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1961, 4, стр. 35.

будет позицией наибольшего различения для гласных, сильной позицией (там еще будут различаться * \check{a} и * \check{o}). В таком случае делабиализованные гласные \check{y} и \check{a} будут лишь позиционными вариантами, аллофонами лабиализованных гласных, а позиция после согласных будет позицией неразличения \check{a} и \check{o} . Но материал сравнительной грамматики славянских языков свидетельствует, что процесс делабиализации гласных, проявлением которого можно считать процесс $\check{a} > \check{y}$, осуществился во всех позициях.

Если считать нашу гипотезу о механизме делабиализации верной, то передача признака бемольности должна была произойти во всех позициях. Однако в позиции после гласной передача признака бемольности предшествующему гласному не имеет смысла: в таком случае образовались бы новые лабиализованные гласные, а в позиции начала слова вообще признак бемольности передавать «некому и некуда». Учитывая возможность фонологического переразложения дифференциальных признаков сегмента¹⁸, можно допустить, что дифференциальный признак «бемольность гласного» может обособиться — иными словами, в некоторых позициях проявится как ψ -протез: если $C + {}^0V \rightarrow C^0 + V$, то и $\# + {}^0V \rightarrow \#^0 + V$, где $\#$ («не-согласный», т. е. позиция начала слова или после гласного) проявляется как ψ -протез перед прежним лабиализованным гласным: $\#^0 + V = \psi + V$.

Согласно излагаемой здесь гипотезе перед и. е. * \check{a} протез пока не развивается, прежние различия между искомыми * \check{a} и * \check{o} сохраняются как наличие или отсутствие ψ -протеза: $\# \check{o} : \# \check{a} \rightarrow \psi \check{a} : \# \check{a}$, т. е. диахронически $\check{o} : \check{a} = \psi : \emptyset$.

Только в том случае, если делабиализация произойдет во всех позициях, праславянская система вокализма сможет трансфонологизироваться из треугольной пятичленной в прямоугольную, которая только и сможет далее превратиться в линейную, как предпосылку и условие группового сингармонизма¹⁹ и «эпохи силлабем»:

$$\begin{array}{c} \check{i} \\ \check{e} \\ \check{a} \end{array} : \begin{array}{c} \check{y} \\ \check{o} \\ \check{a} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \check{i} \\ \check{e} \\ \check{a} \end{array} : \begin{array}{c} \check{y} \\ \check{a} \\ \check{a} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \check{i} \\ \check{e} \\ \check{a} \end{array} : \begin{array}{c} \check{y} \\ \check{a} \\ \check{a} \end{array}$$

Вслед за процессом передачи признака бемольности осуществился процесс передачи гласными и признака диезности предшествующим согласным ($C + {}^1V \rightarrow C^1 + V$), что проявилось как последовательное «смягчение» согласных гласными переднего ряда и наиболее ощутимо — как так называемая «первая палатализация» задненёбных. Между прочим без такого процесса прямоугольная система вокализма, построенная на признаке диезности (гласные переднего ряда противопоставляются гласным заднего ряда), не могла бы перестроиться в линейную систему, где признак диезности не является релевантным для гласных фонем. Чтобы признак диезности мог обособиться в \check{i} -протез, необходимо было, чтобы про-

¹⁸ Идея о переразложении сегментов в эволюции языка восходит к И. А. Бодуэну де Куртене (см. его «Избранные труды по общему языкознанию», I, М., 1963, стр. 349). Эта идея подтверждается новейшими достижениями в области экспериментальной фонетики; ср., например, высказывание М. Джуза о том, что «восприятие речи вызывает обширное перераспределение фонетических признаков вдоль по временной оси» (M. Joz, Acoustic phonetics, «Language», XXIV, 1948, Suppl., стр. 123). Об этом же свидетельствуют и опыты по сегментации речевого потока (см.: И. Дукельский, Принципы сегментации речевого потока, М.—Л., 1962, стр. 49, 102 и др.).

¹⁹ В. К. Журавлев, указ. соч., стр. 39—41.

цесс дедизации прошел последовательно во всех позициях, т. е. и в позиции не после согласного (в начале слова или после гласного). Иными словами, если $C + {}^0V \rightarrow C^0 + V$ и $C + 'V \rightarrow C' + V$ и если $\# + {}^0V \rightarrow \# + V$, то и $\# + 'V \rightarrow \# + V \rightarrow \dot{i} + V$.

Если наша гипотеза верна, то в праславянском языке относительно раннего периода (эпоха, непосредственно связанная с периодом действия т. н. первой палатализации)²⁰ мог проходить процесс образования протетического $\#$ - перед прежним $*\dot{u}$ и $*\dot{o}$ и протетического \dot{i} - перед прежними $*\dot{i}$ и $*\dot{e}$, но перед прежним $*\dot{a}$ ни \dot{i} -, ни $\#$ - закономерно развиться не могли. В связи с этим процессом в праславянском языке все слова стали начинаться с «прикрытых» слогов (кроме слов с прежним $*\dot{a}$); если же впоследствии положение с прикрытыми слогами генерализуется и начальный гласный станет тотально невозможным, то перед прежним $*\dot{a}$ сможет развиться либо какой-нибудь иной протез (например, h -), либо то или иное слово с начальным $*\dot{a}$ получит тот или иной из уже имеющихся протезов (\dot{i} или $\#$). Принципиально допустимо в праславянских диалектах и отсутствие генерализации прикрытости начального слога слова, т. е. возможность \dot{a} в начале слова, восходящего к исконному $*\dot{a}$ (не $*\dot{o}$!).

Следы описываемого здесь процесса так или иначе сохраняются в современных славянских языках и диалектах. Естественно, на прежние отношения, сложившиеся в результате столь древнего процесса, наложились «шумы» последующих более молодых процессов, «снимая» которые можно обнаружить прежние отношения.

Если наша гипотеза верна, то позднеславянские y и \dot{z} ($< *i\dot{u}$) и их заменители не могли находиться в начале слова, перед ними должен был развиться $\#$, давший w/v . Действительно, в старославянском языке, где до падения редуцированных прежние отношения между y и \dot{z} сохранились, y и \dot{z} не находим в позиции начала слова, перед ними регулярно находим v протетического происхождения: *выдра*, *выпѣ*, *высоць* $<$ раннепраслав. $*\dot{u}d\dot{r}\dot{a}$, ср. литов. *údra*; раннепраслав. $*\dot{u}p\dot{a}s$, ср. лит. *ùpas*; раннепраслав. $*\dot{u}s$ — $< *u\dot{p}s-$, ср. греч. $\dot{u}\psi$; *вѣз-*, *вѣшь*, *вѣнѣти* $<$ раннепраслав. $*\dot{u}z-$, ср. латыш. *uz-*; раннепраслав. $*\dot{u}sis$, ср. литов. *usnìs*; раннепраслав. $*\dot{u}p\dot{i}\dot{t}\dot{i}$, ср. латыш. *ūpis*, *upibit* и т. д.

В позиции середины слова после гласного перед заменителем исконного $*i\dot{u}$ также находим рефлекс протетического $\#$ -: ср., например, в причастиях действительного залога прошедшего времени, где реконструируется суффикс $*-us-$: *ведѣ*, *ведѣша*, *ведѣши*, ср. литов. *vedusio*, *vedusi*, но *бравѣши*, *видѣши*, *кывѣша*, *чювѣша*, $< *w\dot{e}d + \dot{u}s + i\dot{a} > w\dot{e}d\dot{y}-xja > w\dot{e}d\dot{z}ša$, но $*b\dot{i}r\dot{a} + \dot{u}s + j\dot{a} > b\dot{i}r\dot{a} + \dot{u}y\dot{x} + j\dot{a} > b\dot{i}r\dot{a}w\dot{z}ša$.

В современных славянских языках w - протетического происхождения перед заменителями позднеславянских y и \dot{z} хорошо сохраняется; поздние

²⁰ Сторонники теории хиата относительно хронологию возникновения протезов определяют иначе. С их точки зрения, протезы появились после процесса падения конечных согласных. Это дает возможность датировать данный процесс как поздний (к концу праславянской эпохи относит его В а н В е й к, см. его: «Zu den Phänomenen \dot{i}/j und $\dot{u}/w/v$ speziell im Slavischen», «Linguistica Slovaca», I/II, 1939/1940, стр. 77—84) и как сравнительно ранний (Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, Лекции по фонетике..., стр. 215 и А. А. Ш а х м а т о в, указ. соч., стр. 54). Одна деталь в гипотезе А. А. Шахматова позволяет сделать выводы, противоположные гипотезе в целом. С его точки зрения, \dot{i} -протез закономерно развился не только перед \dot{e} из $*e$, но и перед \dot{e} дифтонгического происхождения. В таком случае проявление протезов следует относить лишь к периоду после монофтонгизации дифтонгов. Г. Ш е в е л е в (указ. соч., стр. 256) пытался установить и абсолютную хронологию появления протезов. По его мнению, ранний этап в возникновении протезов можно датировать I—V вв. н. э. Однако если связывать данное явление с началом процесса первой палатализации, который, судя по имеющимся материалам и соответствующей литературе, закончился где-то между I и V вв. н. э., то появление протезов следует отнести к периоду, несколько более раннему, чем эта дата.

процессы (совпадение поздних *y* и *i*, вокализация и падение редуцированных и т. п.) не смогли отразиться существенным образом на судьбе рефлексов *y*-протеза. Ср.: русск. *выдра*, *высок*, *воз-/вз-*, *вошь*, *узнавший*; болг. *видра*, *висок*, *въз-/вз-*, *въшка*, серб.-хорв. *вѣдра*, *вѣсок*, *уз-/уза-*, *вѣш*, *пдгледѣвши*; словен. *vidra*, *visok*, *vz-*, *uš*, *bravši*, чеш. *vydra*, *vysoký*, *vz-/vze*, *veš*, *dělav*; польск. *wydra*, *wysoki*, *wz-*, *wesz*; в.-луж. *wudra*, *wusoki*, *woš*; н.-луж. *hudra*, *husoki* и *wusoki*, *weš*.

В случаях типа серб.-хорв. *уз-/уза-*, *ŷniti* (при параллельной *vŷniti*), словен. *uš*, чеш. *úpěti*, *úterý*, словацк. *upet'* и т. п. прежний *y* протетического происхождения, рефлексировавшийся как *u*, получил слоговость утрачивавшегося редуцированного по формуле:

$$y \rightarrow \underset{.}{y} \rightarrow u.$$

В случаях типа н.-луж. *hudra* (\leq **wydra*), *huje* (\leq **wume*), *husoki* (\leq **wysoky*), *huć* (\leq **wyti*) и т. п. имеет место явление поздней мены протезов.

Ранние заимствования иноязычного *ŷ* иногда отражаются через *ŷ* с предшествующим протезом. Видимо, к таким случаям можно отнести ст.-слав. *давидъ*, др.-евр. *daud-*; русск. *водъ* $<$ *wǫd* - $<$ *wǫd-*, $<$ *ǫd*, ср. вост. *ud-murt* (удмурты), гидроним *Втроя/Утроя* (Исковская область) из эст. диалектн. *utra* и *udra* (см. М. Фасмер, REW, I, стр. 233, 237).

Перед рефлексами позднеславянских *ā* и *ǫ*, восходящих к **ā* и **ǫ* эпохи появления протезов, протезы не могут проявляться с такой же последовательностью, как перед прежними **ǭ*. Действительно, как перед позднеславянскими *a* $<$ **ā*, **ǫ*, так и перед *o* $<$ **a* и **o* первоначально могли быть две возможности: там, где *a* и *o* восходили к **ā*, регулярно возникал *y*-протез, там, где они восходили к **ǭ*, протеза не было, позже в последнем случае мог появиться *h*-протез. Перед **ě* развивается *i*-протез, который может совпасть с *j*. Позиция после *j* на протяжении длительного периода была позицией неразличения для дизных — недизных (передних — непередних) гласных²¹. Позже в этой позиции на месте ранее нейтрализовавшихся **ě* и **ā* выступит один из представителей архифонемы, — рефлекс *ě* или *ā* (по праславянским диалектам); перед таким *ā* $<$ **ě* должен проявиться рефлекс *i*-протеза. Следовательно, на поздних этапах в развитии праславянского языка перед позднеславянскими *a* и *o* (= *ā*) следует ожидать рефлекс *y*-протеза, *h*-протеза, *i*-протеза (перед *ā* из **ě*), (а также отсутствие протеза), употребление которых не было мотивировано фонологической системой позднего синхронного среза.

I период:	<i>ā</i>	<i>ǭ</i>	<i>ō</i>	<i>ǭ</i>	<i>ē</i>	<i>ě</i>
II период:	<i>ā</i>	<i>ǭ</i>	<i>ǭā</i>	<i>ǭǭ</i>	<i>iē</i>	<i>iě</i>
III период:	(<i>h</i>) <i>ā</i>	(<i>h</i>) <i>ǭ</i>	<i>ǭā</i>	<i>ǭǭ</i>	<i>ǭā</i>	<i>ǭǭ</i>
IV период:	(<i>h</i>) <i>a</i>	(<i>h</i>) <i>o</i>	<i>ǭa</i>	<i>ǭo</i>	<i>ǭa</i>	<i>ǭo</i>

Иными словами, перед общеславянскими *a* и *o* (= *ā*) могли спорадически и немотивированно употребляться все имеющиеся протезы, а в некоторых случаях они могли начинать собою слово и слог. Именно потому, что только перед прежним **ā* не развивался закономерно *y* или *i*-протез, рефлекс прежнего **ā* могли легко допускать хиат; к таким случаям и относится факт наличия хиата уже в древних образованиях праславянского имперфекта: *знаахъ*, *видѣахъ*, *носиахъ*; именно перед *a* раньше, чем в других случаях, выпадал интервокальный *-j-*: *въздаати* (**wъzdajati*), *добраа* ($<$ **dobraja*) и т. п.

²¹ См.: В. К. Журавлев, указ. соч., стр. 44.

Случаи спорадического, немотивированного употребления протезов должны были так или иначе упорядочиться, закрепиться соответственно той или иной новой мотивации. Такое закрепление, естественно, должно все больше и больше стирать старые отношения: $\delta : \delta = \psi : \varphi$. Тенденция к генерализации может пойти как в пользу наличия любого из протезов, так и в пользу его отсутствия. В первом случае будет представлено явление мены протезов, во втором — могут быть отброшены *w* и *j* не только протетического происхождения, но и исконные.

К случаям протетического *w*- перед позднеславянским *o*- (*ǫ*) и его заменителями обычно причисляют ст.-слав. *вон'ю* (при *жхати*): русск., укр. *вонь*, болг. *воня*, серб.-хорв. *вдњ*, словен. *vónja*, чеш. *vůně*, словацк. *vôňa*, польск. и н.-луж. *woń* при др.-инд. *apas*, лат. *anima*, гот. *us-apan*, греч. *ἄνεμος* и др.; менее последовательно — в слове **(w)osem*: русск. и белорусск. *восемь*, укр. *visim*²², в.-луж. *wosom*, н.-луж. *wosym* при серб.-хорв. *осам*, словен. *ósem*, чеш. *osm*, словацк. *osem*, польск. *ósm*, ср. литов. *aštuoni*, латыш. *astuðni*, гот. *ahtáu*, тохар. *okadh*, лат. *octō*, греч. *ὀκτώ* и др. К примерам на протетическое *w*- перед позднеславянским *a* относят позднеславянское **watra* (ср. авест. *ātar*, др.-инд. *ātharvā*, ср. перс. *ātur*): русск. *ватр-ушка*, укр. и серб.-хорв. *ватра*, словен., чеш., словацк. *vatra*, польск. *watra*; менее последовательно — в слове *ψ-/j- aǫce*: словацк. *vajce*, др.-чеш. *vajce*, чеш. диалектн. *vajka*, *vijce*, совр. чеш. *vejce*, польск. диалектн. *vaiće*, серб.-хорв. диалектн. (чакав.): *vajce*, *vejce* при русск. *яйцо*, серб.-хорв. и словен. *jájce*, польск. *jaje*, н.-луж. *jajo*, в.-луж. *jejo*, полаб. *jojū*, ср. осет. *aik*, лат. *ōvuni* и т. п.

B- протетического происхождения находим и в относительно ранних заимствованиях: ср. русск. гидроним *Волхов* < фин. *Olhava*, швед. *Alhava*; словен. топонимы *Vobre*, *Vovbre*, *Voberska Gora* < **obr-* = др. русск. *обре*, лат. *avari*, *avares*, греч. *Ἀβάρης*; серб. топоним *Vojša*, вулг. лат. *Aous*; нем. топоним *Wöblitz* < **oblъ*; др.-рус. *варганъ*, укр. устар. *варган*, др.-чеш. *varhany* = совр. русск. *орган* < романск. *arganum* и т. п.

Широко представлены рефлексы *ψ*-протеза в отдельных славянских языках и диалектах и в тех случаях, которые традиционно возводятся к случаям на начальное праславянское *o* и *a*- без протеза и трактуются обычно как позднее диалектное развитие *ψ*-протеза. Показательно также и то, что протез лучше сохраняется там, где на месте общеславянского (позднее праславянского) *o* выступает его заменитель. Так, широкое распространение *в* протетического происхождения отмечается в украинском языке: *вівця* — *овець*, *він* — *вона*, *вісім*, *вікно*, *вісві* и *вогнінь* и по диалектам (шире, чем в литературном языке): *вбсінь*, *вбзеро*. В белорусском языке начальное *o*- почти не встречается: *вбад* — *абады*, *вкны* — *акно*, *вбсем* — *васмі*, *вбчи* — *вачыма*, *вбстраны* — *вастрыць*, *вбраны* — *араны*, *вбкал* — и *вакол* и т. д. В русских диалектах *в*- употребляется шире, чем в литературном языке: *воз'еро*, *вагон'*, *вакышка*, *вав'бс* и т. п. По польским диалектам это явление также представлено шире, чем в литературном языке: *чокно*, *цогали*, *цоць*, *цобрус*, *wokno*, *wostry*.

Современный чешский язык не знает *w*-протезов перед общеславянским *o* (*ǫ*), но в старший период, по данным памятников письменности, *w*-протетического происхождения употреблялось: *wobesný*, *wohnyet*, *woszy*,

²² С точки зрения излагаемой здесь гипотезы *w*-протез перед русским закрытым *ǫ* является архаизмом, а не новообразованием (как обычно считают). Собственно в истории русского языка, очевидно, проходил процесс не образования протеза перед *ǫ*, а утрата его перед *o*. Об этом свидетельствуют, например, и данные словаря Срезневского: в древнерусском вообще *в*-протез употреблялся гораздо чаще и шире, чем в современном: *вогненьныи* (Похв. грам. Алекс. Мих.), *воко* (Жит. Сим. Ст. XIII в.), *вонь/-он* (грам. Олег. Ряз. 1356), *Ворда* (= *Орда*, Лавр. лет. 6756 г.), *вотаманъ* и *ватаманъ* (= *атаманъ*) и т. д. и т. п.

woftry, voběd, voves, vokno и т. п.; изредка такое *w*- встречается и в современных диалектах: *vobyčaj, vohibat, vohñu, voko, vostray, vohей* и т. п. Лужицкие языки считаются наиболее «опротезированными». В в.-луж. отмечается чаще *w*-: *wowca, wokoło, wokno, woko*. В н.-луж. при более предпочтительном *h*-протезе встречается и *w*-: *wojca, wón* и *won, wofesch, wokoło* и *hokoło, woko, wog'en, wobet*, в вост.-луж.: *woraki* и *horaki*. В полабском языке перед каждым общеславянским *o* (-*a*) находим *v*-/*у*-: *vârak, vûden, vât'u* (≪ *оракъ, огнь, око*) и *уен, уеś* (≪ *онъ, ось*). У кашубов здесь обычно *у*: *уofca, уodeŕ, у* поморских словинцев — *v*: *vъogord, vêbrúnâ* (= *огород, серб.-хорв. дбрана*).

В южнославянских языках вообще следы протезов встречаются реже, чем на севере, однако и здесь можно найти следы прежнего состояния в виде *w*-протеза, встречающиеся спорадически, главным образом в диалектах. Так, в македонских и болгарских говорах отмечаются: *уочи, уоган', воко*, а также в заимствованиях: *водайа* (литерат. макед. *одая* < турецк. *odâ*), *волтар* (= *олтарь*) и т. п. В сербохорватских чакавских говорах отмечается: *вобриџ, вosат, вoštар, вotаvа, вoko*, там же *vejce*. Несколько шире следы *у*-протеза представлены в говорах словенского языка (чаще — в «какающих»): *wačî, wačawa, warêxi, vaŕpačîta, vaŕkrît* и *wočî, vûôŕce, wogêxi, wobât* и т. п.

Совсем нет следов *у*-протеза в современном словацком языке: в начале слова по диалектам выступает *h*- или «приступ», но в старший период²³ они встречались и здесь, например, в говоре Спиша было зафиксировано *воко* и несколько единичных примеров.

Если развитие славянских языков идет в сторону утраты прежнего *у*-протеза, то в случае совпадения *у*-протеза с исконным *w* до падения *у*-протеза следует ожидать факты утраты не только протетического, но и исконного начального *w*-.

Общепризнанным фактом утраты исконного *w*- является случай с общеславянским **osa/*wosa*: др.-русск., совр. русск., укр., болг. *оса*, белорусск. *аса*, серб.-хорв. *оса*, словен. *оса*, чеш., словацк., польск. *osa* при вост.-чеш., моравск. *vosa*, в.-луж. *wosa*, н.-луж. *wôsa* и *wôb* (при обычном *h*-протезе), полаб. *vâso* при регулярных *v*-соответствиях: литов. *vapsà*, латыш. *varsene*, др.-прус. *wobse*, др.-в.-нем. *wafsa*, лат. *vespa* и т. д.

Чаще, однако, отпадает исконное *w*- в отдельных говорах, не знающих *у*-протеза. Так, в говорах словенского языка отмечаются *odîe = vode, očâr, očarica = volar-, oščienû* < **wosk-*. В литературном словенском языке отсутствует *w* в слове *âpno* < **warpno*, серб.-хорв. *vâpno*, укр. *vapno*, др.-русск. *вань*, латыш. *vâpe*, др.-прус. *woapis*. Но топонимы, образованные от этого корня, *w*- сохраняют: *Vâpenice, Vâplenîna Dolina*, встречаются здесь и следы «мены протезов»: *Japno, Japnišča, Jernica*, есть и *Arpenik*²⁴. У гуцулов отмечено падение не только исконного *w*-, но и *g*-, очевидно, воспринятых как протез: *орбна, орбха* (= *ворона, гороха*).

Как протез, видимо, воспринято начальное *w*- в старославянском *Авилонъ* при *Вавилонъ*²⁵.

Весьма многочисленны случаи «мены» *у*- и *î*-протезов; при этом следует учесть и возможные «переходы» *o* > < *e* после *j* < *î*, а также последующее отпадение протеза. Только одно слово **elъxa/*olъxa* (ср. литов.

²³ Ср., например, утверждение З. Штибера (указ соч.) о том, что около 1000 г. н. э. во всех западнославянских диалектах перед начальным *o* выступало протетическое *w*, но уже к XVI в. у чехов и словаков эта черта являлась архаизмом (см.: А. К а м и ŝ, K rozsahu protetického v v XVI století, «Slavica pragensia», I, 1959).

²⁴ См.: F. B e z l a j, Slovenska vodna imena, I, Ljubljana, 1956, стр. 37—38.

²⁵ «Slovník jazyka staroslověnského», 1, Praha, 1958, стр. 5.

alksnis и *ēlksnis*, латыш. *ēlksnis* и *ālksnis*, др.-в.-нем. *elira* и лат. *alnus*) с производными может дать некоторое представление о возможном диапазоне колебаний: др.-русск. *ольха*, ст.-слав. *ѡльха*, русск. *ольха*, *вольха*, *ѡолха*, *ѡелоха*; укр. *вільха*, *їільха*, *ільха*, *алех*, *ольха*; белорусск. *вольха*, болг. *елоха*, а также по южнославянским говорам: *волиа*, *олиа*, *јелша*, *јалша*, *елфа* и т. п., серб.-хорв. *јѡха*, *јѡва*, словен. *jelša*, диалектн. *ōlša*, *јōlša*, топоним *Olsa*, что зафиксировано в немецкой передаче XV в. как *Wels*, топоним *Jalšovnica*, чешск. *olše*, и словацк. *jelša*, по говорам также *vālše*, *volšina* (при отсутствии *w*-протезов!), *jelcha*, *jelša*, *jalcha*, *jalša*, *olšovka*, *jelšovka*; польск. *olcha*, в.-луж. *wōlsa*, н.-луж. *wolsa* (при обычном *h*-протезе).

Далее. Если предложенная гипотеза верна, то в случаях, когда общеславянский *ǣ* (< **ǣ* и **ǝ*) входил в дифтонгические сочетания (*ou*, *on*), перед их рефлексами (соответственно позднеславянские *u* и *a*) следует ожидать такое же неупорядоченное употребление *u*-, *i*-протезов, как и перед позднеславянским *ǣ* (< **ǣ* и **ǝ*). А именно, регулярно перед исконными **ōu* и **ōn*, **ōm* должен был развиваться *u*-протез, а перед исконными **ǣu* и **ǣn*, **ǣm* вначале не должно было быть протеза, позже мог развиваться *h*- (спорадически или по диалектам); после совпадения **ǣ* и **ǝ* и монофтонгизации дифтонгов, следовательно, здесь следует ожидать перед позднеславянским *u* и *a*: *w*-, *h*-, *ǝ*, а перед монофтонгизировавшимся **ēu* еще и *i*-протез (*ēu* → *iēu* → *iu*). И здесь, как и в случае с позднеславянским *ǣ*, спорадическое употребление различных протезов должно было так или иначе генерализоваться, упорядочиться, что могло повести к появлению различных изоглос, пересекających праславянскую территорию.

В диалектах, различающих прежние *a* и *u*, перед рефлексами *a* обычно генерализуется *w*: польск. *wątroba*, *wąz*, *węgiel* и т. п.; болг. *въглар*, *въдица*, *въже*, *въс* и т. п., но *ъгъл*, *ъгълен*; в макед. также генерализовался *v*-, но в некоторых случаях в литературном языке узаконен *j* — *јаглен*, *јаглерод*, *јадица* (= серб.-хорв. *удица*), *јаже* (= серб.-хорв. *уже*), *јазол*; в словенском: *vogāl*, *vohati*, *vžetl* и т. п., но и *otrōbna*, *ōzka*, *ōžiti*.

Там, где рефлексы *a* и *u* совпадают, теоретически можно ожидать перед *u* и любой протез или его отсутствие. Так, для русского литературного языка вообще характерно отсутствие протеза перед новым *u*. Слова на *ju* — восходят к старославянскому языку или заимствованы из других языков, но в говорах нередко встречаются случаи употребления рефлексов *w*- или *i*-протеза: *вулица*, *вухи*, *вутка* и *юлица*, *юмиреть*, *па-ютру* и т. п.

В укр. литературном языке часто допускается *w*-протез перед *u*, но по говорам встречаются случаи употребления и других протезов: при *вухо*, *вулиця* встречается *јухо*, *јулиця*, *гулиця*, *гулий*. Сербохорватский вообще не знает протезов: *учен*, *уд*, *уже*, но встречаются случаи с *j*- перед *u*: *јуха* (русск. *юшка* и *уха*), *јунац*, *јутренй*, *јутро*, *јучера* (= русск. *вчера*). У словаков обычно перед *u* представлено *h*-, особенно широко распространенное по говорам: *hуcho*, *hуlica* и т. п.

К случаям утраты исконного *w*- можно отнести ст.-слав. *жсъ*, др.-русск. *ѡсъ* (ср. др.-прусск. *wanso*), в других славянских языках *w*- сохраняется; болг. *въс*, словен. *vds*, чеш. *vous*, словацк. *fuz*, но др.-чеш. *holo-ysi*, польск. *was*, в.-луж. *wisu*, полаб. *vps*. В древнерусском отмечается опущение и исконного *j* : *ѡноша*, *ѡнъ*, *ѡность* при литов. *jāunas*, латыш. *jainis*.

Далее, если наша гипотеза верна, то перед исконными гласными переднего ряда **i* и **ē* регулярно должен был возникнуть *i*-протез, а перед их заместителями в современных славянских языках и диалектах употребление протезов должно быть более регулярным, чем перед позднеславянскими *a* и *o* (= *ǣ* < **ǣ* и **ǝ*).

Прейотация перед *i* л ю б о г о п р о и с х о ж д е н и я сохраняется в чешском языке и обозначается на письме: *jistý, jiva, jizba, jich*.

Прейотация перед *i* считается литературной нормой польского языка, хотя на письме она не обозначается; такое произношение характерно и для многих польских диалектов: *jich, jynny, jynteres, jinši, jigła* и т. п. У южных и восточных славян обычно прејотации перед *i* нет, но в чакавских говорах сербохорватского языка она отмечается: *jih, jimená, jime*, а также в словенских говорах: *jigo, jiha*. Встречается прејотация и в говорах украинского языка: *jivolea, jikavka, jiskra, Jivtux* (имя собств.).

Рефлекс *i*-протеза сохраняется и тогда, когда вместо *i* выступает не *i*, а дифтонг *ai*, как, например, в полабском (ср.: *laipo = lipa*; суф. *aist- = ist-: sedláistá, gordaistá; jaĩma*, как и *jaĩd'ü = имá, уго*, но в случае *aĩt = umi* протез, видимо, уже утрачен или здесь имеет место результат стяжения *ĩi → iь → i* без протеза).

И здесь возможна «мена» протезов (*j-/w-/h-/ø*): ср., например, кашубск. *wizba/jizba*, польск. и н.-луж. *wiwa*, кашуб. *vjivá- = ива*; др.-русск. *вындрикъ* и *имдрикъ*; польск. *wyraj*, белорусск. *вырый*, др.-русск. *ирии*, русск. диалектн. *ирей* ($\leq *ir-$).

Наряду с протетическим может подвергаться «мене протезов» и исконное *j*; ср. кашуб. *vjigo* $\leq *jigo$ $\leq *jũg-$.

Нередко вместо *i*-протеза выступает *h*-протез, обычно там, где перед прежними рефлексами *ǎ* более или менее регулярно употребляется *h*-протез, т. е. чаще у словаков (*hynak, hynakšy/winakšy*) и в Нижней Лужице (*hynak, hynakšy/winakšy, hɣkawa, hɣkaš/wikotaš*, менее последовательно — и на всей лужицкой территории; *hikawa, hikać*, ср. русск. *икать*, в.-луж. *hinaksi*, но в вост. луж. *hynak/jinak*); *h*-протез отмечен также в чешских (*hiva, himeli*) и украинских (*gikča, gim'e = *ik-ati, *ime*) говорах.

Следует учесть также, что последующая судьба пачального $*i\check{i}$ - могла быть весьма различной: $i\check{i}$ могло «слиться»²⁶ в *i*, положив начало случаям употребления пачального *i* без прејотации, *i*, изменившись в *ь*, мог пасть или вокализоваться в эпоху падения редуцированных. Позже могло произойти выравнивание внутри парадигмы отдельного слова по «сильной» или «слабой» форме слова; тогда *i*-протез может оказаться перед согласным, может пасть или сохраниться. Здесь наиболее четко проявится специфика судьбы протезов: чуть ли не каждое слово будет иметь свою судьбу, рефлексация одного и того же старого протеза будет различной в разных словах одного и того же диалекта или языка. И в этом случае на праславянской территории будут возникать различные изоглоссы в узком смысле слова (наличие и отсутствие того или иного протеза в данном слове). В случаях с древним протезом перед $*i\check{i}$ - отсутствие регулярных соответствий наиболее поразительно. Так, праславянским $*iz-$, $*id-$, $*im-$, $*imen-$, $*igra$, $*ikra$, $*(j)iskra$ будут соответствовать в русском: *из-, имѣю, имя, игрá, и́скрá, икрá*; но *идý и пойдý*; укр. *им'я, і́скра, і́кра* и диалектн. *jikra, і́скра* и *яскритися, ігрá и грá, іглá и гблка*, диалектн. *jehlá* и *hbyka*, *іму* и *маю, іду, из* и *з, зо-, зі*; в сербохорватском при обычном *i*- (*из, и́дем* и т. п.) диалектн. чакавское *jagla*; в словенском при обычном *i*- (*iz, idem*) *imám* и *jámem*, при *igra* диалектн. *jeprat* и *grcà*; в чешском при обычном *j + C* (*jdi, jmeno, jho*) встречаются и параллельные образования *jmi* и *mat, hra* и устар. *jhra*, тономим *Jz-hofelík*, а также образования с вокализацией *ь*: *jesep* $\leftarrow iz-sъpъ$, др. чеш. *jespiti, jehla* при диалектн. *ihla* и *jahla, jiskra, jikra* и т. д. Такое же состояние отражают и другие славянские языки. Количество примеров легко умножить.

²⁶ Такое «слияние» могло идти и путем, аналогичным «слипанию» *цъ* в сербском, т. е. по формуле: $i\check{o} \rightarrow i\check{ь} \rightarrow i$. Протетический *i* или *ц* получает слоговость от последующего *ь, ъ*.

Наконец, если наша гипотеза верна, то перед прежними * \ddot{e} должен был развиться \dot{i} -протез, который может совпасть с начальным j - или утратиться; в первом случае следует ожидать совпадение начальных * \ddot{e} не только с исконными $j\ddot{e}$, но и $j\dot{a}$ (< $j\ddot{o}$ и $j\dot{a}$) по диалектам и в отдельных случаях. В связи с последним, например, изоглоссы праславянских * $\ddot{e}dm\dot{i}$, * $\ddot{e}dus$ и * $\ddot{e}dsl\dot{i}$ (ст.-слав. *ѡмь*, *ѡдъ* и *ѡдъ*, *ѡсли*), восходящих к одному корню (ср. литов. *ėda*, лат. *edō* и т. д.), не совпадают, судьба отдельных слов различна в одном и том же языке: русск. *ем* и *яд*, *ясли*; укр. *ім*, *ід* и *яд*, *ясла*; серб.-хорв. *jēm*, *jed* и *jād*, *jāсли*, чеш. *jím*, *jed*, *jesli*, польск. *jem*, *jedzić*, но *jad*, *jasła*, н.-луж. *jēm*, *jéd*, но *jasła* и т. д. Такую же картину представляют и случаи с * \ddot{e} , ср. споры о начальных *je/o* типа *жень*, *рлень*²⁷.

Если начальные * \ddot{e} входили в дифтонгические сочетания, то после монофтонгизации дифтонгов их рефлексы должны были получить \dot{i} -протез: * $\ddot{e}u \rightarrow \dot{i}\ddot{e}u \rightarrow \dot{i}u$ (см. выше), * $\ddot{e}i \rightarrow \dot{i}\ddot{e}i \rightarrow \dot{i}i$ ($\dot{i}i$ разделяет судьбу начального i вплоть до возможной мены протезов: ср. др.-чеш. *jískati* и современ. *vískati*, польск. *iskać* при диалектн. и уст. *hiskać*, словин. *vjīškāć* и т. д.); * $\ddot{e}n \rightarrow \dot{i}\ddot{e}n \rightarrow \dot{i}\ddot{e}$ (ср. ст.-слав. *ѡтро* и др., русск. *ѡтро* и русск. диалектн. *ячат'*, польск. *jęk*, *jękliwy*, *jętrznica*, н.-луж. *jakaś* и *jekaś*, *jetšo* и т. п.).

Что касается \dot{i} -протеза в середине слова, то об этом могли бы свидетельствовать случаи с суффиксами *ik-* и **in-*, ср. **žъньсь* и **ubijьса* при русск. *убийца*, при диалектн. *убивец*, серб.-хорв. *izdajica*, также **zmijinь*.

Возможно, к случаям «мены протезов» можно отнести и такие общеславянские дублеты, как **rokouětь*/**rokojětь*, ср. др.-русск. и ст.-слав. *рѡкоуѣтъ* и *рѡкоуѣтъ* (Супр. лл. 249, 29 и 368,6), чеш. *rukovítka* и *rukojítka*, а также *vъzlivати* и *vъzlikати*, *datати* и *давати*; возможно, сюда же относятся и **rawokь*/**rajekь*, ср. чеш. *ravouk*, русск. *пauк* и польск. *rajak*.

Коротко резюмируем:

1. Появление праславянских протезов следует считать одним из древнейших процессов эпохи совпадения праиндоевропейских * \dot{a} и * \ddot{o} .

2. Этот процесс явился частным проявлением более общего процесса передачи признаков дизонтоности и бемольности гласным своему прецеденту, в частности и предшествующему согласному. Последнее проявилось в известном «смягчении» согласных перед гласными переднего ряда и в так называемой первой палатализации задненёбных.

3. Тенденция избежать «зияния», хиат имеет лишь второстепенное значение при образовании протезов.

4. Последующие процессы значительно нарушили старые отношения, сложившиеся в результате весьма древнего процесса.

5. И в начальный период, и тем более в связи с поздними процессами «история» протезов могла послужить источником древних праславянских изоглосс в узком смысле (география отдельного слова, отражающего то или иное явление). Различия в произношении того или иного слова (без протеза или с тем или иным протезом) могли появиться раньше, чем известные поздние различия в судьбе **tj*, в результатах II и III палатализации и т. п.

Пожалуй, можно сделать и еще один, более общий вывод. Согласно принципам сравнительно-исторического метода считается, что регулярные соответствия неоспоримо свидетельствуют о древности процесса. На примере судьбы протезов в славянских языках можно убедиться и в обратном: весьма древние процессы, видимо, могут (а нередко и должны) отражаться и как нерегулярные соответствия.

²⁷ Этот спор идет еще со времен Буслаева, Колосова и Ягича. См. дискуссию Г. А. Ильинского и Н. Н. Дурново на страницах журнала «Slavia» (II, 1—2, 1923, III, 1—2, 1924, IV, 2, 1925, VI, 2, 1927).

В. И. ЛЫТКИН

ЕЩЕ К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКОГО АКАНЬЯ

Аканьем в широком смысле этого слова, как известно, называется совпадение безударных гласных *a — o* (после твердых согласных) и *a — o — э* (после мягких согласных)¹ в одном звуке. В акающих диалектах эти звуки различаются только под ударением, а в безударном положении они звучат одинаково. В литературном языке, например, *a — o* после твердого согласного в первом слоге перед ударением совпали в звуке *a*, а в других безударных слогах — в редуцированном гласном *ъ*; гласные *a — o — э* после мягкого согласного в первом предударном слоге совпали в звуке, среднем между *и — э*, а в остальных безударных слогах — в редуцированном *ь*. (Мы здесь говорим лишь о самых типичных особенностях московского аканья, не вдаваясь в детали произношения; например, не говорим о произношении *a* в абсолютном начале слова, о произношении после шипящих и т. д.)

В многочисленных акающих говорах встречаются самые разнообразные типы аканья-яканья, но при всем их многообразии в них представлены следующие общие черты: 1) наличие всех гласных под ударением, 2) употребление в безударном положении (обычно во второй позиции) редуцированных гласных, 3) отсутствие безударного *o*, 4) отсутствие во второй позиции безударного *э* (в абсолютном большинстве акающих говоров этот звук отсутствует также в первой позиции и лишь в некоторых говорах, екающих, он наличествует).

«Как полагают, все это разнообразие типов аканья-яканья сложилось с течением времени в результате дробления одного первоначального типа... аканье началось с ослабления кратких гласных *o*, *e* и *a* из *ā* во всяком неударенном положении (*вѣдā, вѣдь; н'ѣслā, н'ѣсѹ; гѣльвā* и пр.)»². Аналогичной точки зрения придерживаются почти все исследователи вопроса аканья: «пока что ясным является только одно то, что аканье возникло как результат ослабления гласных в безударных слогах, как результат редукции безударных гласных»³; «...аканье началось после смены музыкального политонического ударения монотоническим и более сильным динамическим. Именно оно могло вызвать редукцию безударных гласных»⁴. Впрочем не все согласны с тем, что причиной появления аканья служит замена музыкального ударения динамическим: «трудно предполагать сохранение музыкального ударения до эпохи возникновения аканья. Остается также неясным и то, в силу чего смена ударения дала определенный результат лишь в одной части русского языка»⁵.

¹ Совпадают безударных гласных *a — o — э* после мягких согласных в одном звуке *a* обычно называют «яканьем».

² П. Я. Черных, Историческая грамматика русского языка, 2-е изд., М., 1954, стр. 135—136.

³ В. В. Иванов, Историческая грамматика русского языка, М., 1964, стр. 321.

⁴ В. И. Бороковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 145.

⁵ В. В. Иванов, указ. соч., стр. 222.

Таким образом, исследователи согласны в том, что аканье начало с редукции безударных гласных. В данном случае для нас это является наиболее важным. В отношении дальнейшего развития аканья-яканья (например, замены редуцированных гласных предударного слога звуками *a*, *u* и т. п.) выдвигались различные гипотезы — противоречивые и спорные, разбор которых мы не будем здесь заниматься. Наша наука также не может дать до сих пор удовлетворительного ответа и на вопрос, почему такое ослабление в произношении безударных гласных наблюдается только в определенных говорах восточного славянства, почему украинский язык и севернорусские говоры не знают аканья-яканья.

В 1963—1964 гг., после выхода в свет цитированных нами работ, появилось несколько статей, посвященных проблеме аканья: В. Г. Руделева, В. И. Георгиева, П. С. Кузнецова, В. В. Колесова и Я. Риглера⁶ и др. Однако «появившиеся статьи не приближают к решению проблемы, вызывая... ряд серьезных возражений»⁷.

Теории происхождения русского аканья исходят из идеи либо спонтанного, либо субстратного возникновения аканья. Большинство исследователей этой проблемы придерживается теории спонтанного происхождения, при этом некоторые из них возводят это явление к очень древнему периоду, даже к праславянскому языку (например, В. И. Георгиев), с чем современная русская диалектология и историческая фонетика не может согласиться (см., например, упомянутые статьи П. С. Кузнецова, Я. Риглера). Отдельные сторонники спонтанного развития, предполагая, что в самой системе русского языка произошли изменения, подготавливающие почву для появления аканья, не отрицают того, что для окончательного оформления рассматриваемого явления мог быть дан толчок извне (такая мысль была высказана, например, В. Г. Руделевым в устной беседе). П. С. Кузнецов тоже говорит (хотя и очень осторожно) о возможности влияния мокшанского субстрата⁸.

Констатация того, что аналогичные русскому аканью явления наблюдаются и в некоторых других славянских языках (в словенском, в отдельных диалектах болгарского языка⁹) и даже в неславянских языках, конечно, не является ответом на поставленные вопросы. Если некоторое ослабление в произношении безударных гласных, наблюдаемое в самых разнообразных языках, можно объяснить в основном физиологически, то для объяснения явления южнорусского аканья, зародившегося на относительно узкой территории и изменившего коренным образом вокализм древнерусского языка, аргументы физиолого-акустического порядка нельзя считать достаточными. Здесь нужно искать какие-то другие факторы, вызвавшие ослабленное произношение безударных гласных в определенных восточнославянских диалектах, в то время как в соседних (севернорусских и украинских) диалектах, где эти факторы не действовали, развитие вокализма пошло в ином направлении.

Историко-географическая обстановка, в которой возникло русское аканье, до сих пор еще не была серьезно изучена.

Где и когда возникло аканье? Современная историческая грамматика и историческая диалектология русского языка дают на эти вопросы вполне определенный ответ: аканье зародилось примерно в XIII—XIV вв. на юго-востоке восточного славянства, оно «возникло после падения редуцированных, но ранее XIV в., т. е. в XIII в. или, самое раннее, в конце

⁶ См.: ВЯ, 1963, 2, 1964, 1, 4, 5.

⁷ П. С. Кузнецов, К вопросу о происхождении аканья, ВЯ, 1964, 1, стр. 30.

⁸ Там же, стр. 39.

⁹ Хотя Я. Риглер словенское и болгарское диалектное аканье считает вторичным явлением (см. его статью «К проблеме аканья», ВЯ, 1964, 5).

ХІІ в.»¹⁰. Оттуда оно распространилось на север и северо-запад вплоть до территории белорусского языка. Р. И. Аванесов пишет: «... в ХІІІ в. в говорах Рязанской земли, а также, вероятно, части Черниговской земли, населенной потомками вятичей и, частично, потомками северян (в так называемых «верховских княжествах» по верхней Оке), аканье уже существовало. В связи с монгольским нашествием отмечается движение населения с этой земли на север, запад и северо-запад»¹¹. В процессе этого движения аканье было принесено на территорию предков белорусского населения, «в белорусском языке аканье не могло появиться в эпоху ранее второй половины ХІІІ в., а во многих частях белорусской территории значительно позднее»¹².

Таким образом, аканье зародилось в основном среди потомков вятичей; при этом «данные лингвистической географии свидетельствуют о том, что образование аканья относится не к эпохе родоплеменного строя, а к эпохе феодальной раздробленности»¹³. В связи с этим необходимо сказать несколько слов об истории племени вятичей, занимавшего в свое время самую восточную часть территории восточного славянства. Составитель Повести временных лет, работавший в начале ХІІ в., помещает вятичей на Оке и Волге, «между тем как более ранний летописец помещал их поселения гораздо южнее, где-нибудь у Дона»¹⁴. «Предполагаю, что некогда их поселения были гораздо южнее, чем в ХІІ в., и что вятичи попали в Рязанскую, Тульскую и Калужскую губернии с Дона; разгром хазар, которым вятичи платили дань, появление в ХІ в. на юго-востоке могущественных половцев были причиной удаления вятичей к северу и северо-западу»¹⁵. О том, что на берегах Танаиса (Дона) живут славяне, писал и арабский писатель Х в. Масуди. Интенсивная колонизация средней Оки вятичами началась в Х в., хотя частичное проникновение их на эту территорию происходило и раньше¹⁶.

Кто жил на Оке до прихода вятичей? Северными и северо-восточными соседями вятичей должны были быть (как это мы видим и в историческое время) разные мордовские племена, жившие в бассейне Оки с давних пор. «Основным населением района средней Оки до появления здесь славян были местные чудские племена, которые могут быть признаны предками современной мордвы, а также предками известных из письменных источников, но исчезнувших в процессе славянской колонизации муромы и мецеры»¹⁷. «Разделение мордвы на эрзя и мокшу, по мнению археологов, произошло до VII века н. э.»¹⁸, хотя диалектные различия между этими мордовскими племенами, вероятно, возникли значительно позже. Границы территории расселения мордовских племен в конце I — начале II тысячелетия н. э. представляются примерно в следующем виде: на западе (в бассейне р. Оки) были славянские племена, на севере (за Волгой) — марийцы, на востоке (за Сурой) — волжские болгары. Эрзяне занимали северную часть мордовской территории, а мок-

¹⁰ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 142.

¹¹ Р. И. Аванесов, Вопросы образования русского языка в его говорах, «Вестник МГУ», 1947, 9, стр. 132.

¹² Там же, стр. 123.

¹³ Там же.

¹⁴ А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, стр. 232.

¹⁵ Там же.

¹⁶ См.: А. Л. Монгайт, Из истории населения бассейна среднего течения Оки в I тысячелетии н. э., «Советская археология», XVIII, М., 1953, стр. 151, 168.

¹⁷ Там же, стр. 151.

¹⁸ В. И. Розлов, Расселение мордвы — эрзи и мокши, «Советская этнография», 1958, 2, стр. 45.

пане — южную. Основным районом расселения мокши была, по-видимому, долина р. Мокши. Значительные группы этого племени проживали также в лесистых районах правобережья Цны. Северная граница мокши с эрзей проходила примерно по 55 параллели¹⁹.

Археологические данные показывают, что мордовские племена здесь жили с незапамятных времен. В дальнейшем эти земли (по крайней мере, земли по среднему течению Оки) были колонизованы вятичами. А. Л. Монгайт утверждает, что интенсивная колонизация Рязанского края вятичами началась в X в., при этом она в основном происходила с юга, с бассейна Дона, и лишь некоторая часть вятичей (и то в более раннюю эпоху) двигалась с запада — с верхней Оки; северные районы этого края были также колонизованы кривичами. Встречи мордовских племен с восточнорусами (вятичами), имевшие место до X—XI вв., не были столь интенсивными, как в более позднее время²⁰.

Монгайт на основании археологических данных устанавливает, что мордва и вятичи весьма длительное время соприкасались друг с другом, вступали в тесные связи, влияли друг на друга. Монгайт приводит весьма убедительные данные о том, что славянские поселенцы не отесняли и не уничтожали мордовское население, а вели длительное время совместную жизнь с мордвой, следовательно, смешивались с ней: так называемая городецкая культура, являющаяся самой древней «чудской» культурой на этой территории, «преимущественно сменяется позднейшей чудской (с керамикой, подобной рязанским могильникам), а затем славянской. Из 72 городецких городищ, зарегистрированных в среднем течении Оки, на 19 имеется позднейший славянский слой»²¹. Антропологическая близость, а также близость народного костюма русских в Рязанской губернии и соседней мордвы являются результатом длительного взаимодействия этих народов, начавшегося еще в глубокой древности²². Впоследствии мордовские племена на территории средней Оки (а равно и на территориях более западных) смешались с русским населением, обрусели. Процесс смешения этих двух народов протекал в основном в XIII—XIV вв.; при этом восточная часть мордовского населения, фигурирующая под именем мещеры (рязанской мещеры), сохраняла свой язык вплоть до конца XVI в.²³.

Итак, можно констатировать, что, во-первых, в бассейне реки Оки с давних пор происходило смешение южнорусов с мордвой, причем процесс смешения их особенно интенсивно протекал в XI—XIII вв., во-вторых, где-то примерно на этой же территории выработалось аканье. Это совпадение — смешение южнорусов с мордовскими племенами в бассейне р. Оки в XI — XIII вв. и зарождение аканья на этой же территории примерно в конце XII в. или начале XIII в. — знаменательно, вряд ли его можно считать случайностью. Возникает вопрос: не было ли внутренней связи между этими двумя событиями? Для решения этого вопроса необходимо принять во внимание особенности вокализма мордовского языка.

Обратимся к системе гласных современного мокшанского языка, предки носителей которых, безусловно, в первую очередь соприкасались с вятичами. Приведем характеристику вокализма самого западного диалекта мокшанского

¹⁹ См.: В. И. Козлов, указ. соч., стр. 45—47.

²⁰ См.: А. Л. Монгайт, указ. соч., стр. 151, 168, 172, 173.

²¹ Там же, стр. 72.

²² См.: там же, стр. 188, 189; см. также статью Н. И. Лебедевой и Г. И. Машовой «Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. как материал к этнической истории народа» («Советская этнография», 1956, 4, стр. 29, 30).

²³ «Сказания князя Курбского», ч. 1, СПб., 1833, стр. 17.

языка ²⁴. В этом диалекте имеются следующие гласные фонемы: *a*, *ä*, *э*, *о*, *у*, *и* (*и* после твердых согласных может звучать как русское *ы*; *и* — *ы* являются единой фонемой) и редуцированный среднего подъема *ъ*; хотя артикуляция этого звука по горизонтальной линии (по ряду) может меняться в зависимости от фонетического положения (*ъ* — *ь*), он является единой фонемой.

Все эти гласные звуки выступают как различители слов или их форм, например: *мон'* «мой», — *мун'* «нашел», *ош'* «город» — *аш'* «нет» ²⁵, *пэн'гэ* «дрова» — *пин'гэ* «время», *кэд'* «рука» — *кэд'* «кожа», *кэл'* «язык» — *кал'* «кустарник», *кэжф* «храп» — *кожф* «ветерок», *кэрга* «шея» — *карга* «цапля», *мэрдэ* «вернулся (он)» — *мáрдэ* «куча» — *мóрдэ* «мóрдэ» и т. д.

Ударение обычно стоит на первом слоге, например: *пáкс'ä* «поле», *тýла* «пробка», *вэл'э* «село», *пíл'э* «ухо», *кýр'к* «скоро», *кíз'ъфт'эмс* «спросить», *кíз'нда* «летом», *ц'бра* «парень». Второй и последующие слоги бывают ударными в том случае, если в этих слогах находятся гласные *a*, *ä*, а в первом слоге выступают гласные верхнего подъема *у*, *и* или редуцированный *ъ*, например: *умбрáв* «щавель», *күвáлма* «длина», *кэр'д'án* «держу», *видáн'* «сею», *ур'áдамс* «убрать». Таким образом, в предупредном слоге могут стоять только гласные верхнего подъема и редуцированный гласный. Если же *a*, *ä* стоят в абсолютном конце слова, то на них не переносится ударение, например: *ýла* «подбородок», *ýл'эма* «может быть», *вйр'са* «в лесу», *ýрма* «болезнь», *кэрга* «горло», *вйд'эма* «посев». В других диалектах мокшанского языка и в этом случае происходит перенос ударения на *a*, *ä*: *кэргá* «шея», *кíз'нда* «летом», *тундá* «весна», *с'ийá* «серебро», *күлунá* «зола» (уменьшит.) ²⁶. Если во втором и последующих слогах имеется несколько *a* или *ä*, то ударение приходится на первое *a* (*ä*) (при этом в первом слоге стоит *и*, *у*, *ъ*): *турáмаса* «в дудке», *н'ур'кáл'гáд'эмс* ²⁷ «сократиться», *кíр'д'áма* «мы держим».

Таким образом, в мокшанском наблюдается подвижное ударение: при словообразовании и словоизменении место ударения меняется, ср., *күйэ* «жир», *күйáв* «жирный»; *т'ýжэ* «желтый», *т'ужáл'гáд'эмс* «пожелтеть», *күчка* «середина», *күчкán'э* «серединка», *күзн'э* «ель», *күзн'áт* «ели», *л'ис'эмс* «выйти», *л'ис'án* «выйду». Перемена места ударения целиком обусловлена вышеизложенным законом акцентуации.

Конечное *a* при словоизменении и словообразовании может переходить в редуцированный гласный; тогда оно не перетягивает на себя ударение (даже если налицо прочие условия для такого перетягивания): *тýла* «пробка» — *тул'шкáнт* (сравнит. падеж притяжательного склонения), *күва* «корка» — *күвэн'* (род. падеж неопределенного склонения), *пíза* «гнездо» — *пíз'к* (превратительный падеж). Однако во многих случаях (в каких — установить не удалось) перехода *a* в *ъ* не наблюдается: *тýнда* «весна» — *тундán'* (род. падеж), *ýрма* «болезнь» — *урмáв* «болезненный». Конечное *ä*, попадая при словообразовании и словоизменении в середину слова, не редуцируется: *тýц'ä* «туча» — *туц'án'э* «тучка». Это конечное *ä*

²⁴ Этот диалект изучен нами в 1956 г. в речи студенток Рязанского пединститута Р. Тюжиной, и Л. Тюжиной, происходящих из с. Журавкино Zubovo-Полянского р-на Мордовской АССР; село расположено в трех километрах к югу от станции Вад Московско-Рязанской ж. д., имеет около 500 дворов мокшанского населения; находится в окружении русских деревень.

²⁵ Шипящие *ж*, *ш*, *ч* в данном диалекте являются «полумягкими» фонемами и имеют оттенок свистящего звука.

²⁶ См.: Н. Р а а s o n e n, *Mordvinische Lautlehre*, Helsingfors, 1903, стр. 114—115. Паасонен приводит материал из диалекта с. Старое Ишенево Нисаровского уезда Пензенской губ.

²⁷ Заглавное *P* обозначает глухой согласный мокшанского языка *p*.

перед суффиксом мн. числа переходит в *a*: *нур'кă* «короток» — *нур'кăт* «коротки», *ул'ч'ă* «улица» — *ул'ч'ăт* «улицы».

В некоторых диалектах мокшанского языка ударение частично морфологизовано, что нарушает прежнюю систему акцентуации. О такой морфологизации сообщает, например, О. И. Чудаева: в инфинитиве на *-ма* ударение в любых условиях остается на первом слоге, тогда как в отглагольных именах действия на *-ма* ударение стоит на последнем слоге, например, *тума* «идти» — *тумă* «уход»²⁸. Однако в некоторых словах наблюдается совпадение форм инфинитива и отглагольного существительного на *-ма*: *нуьма* «дремать» и «дремота», *суьма* «заходить» и «заход».

В мокшанском языке в первом слоге гласные *y*, *u*, *ъ* встречаются довольно часто; с другой стороны, в непервых слогах *a*, *ă* являются тоже весьма употребительными (как в словообразовательных, так и в словоизменительных суффиксах) — это создает условия для переноса ударения на второй и последующие слоги. Действительно, слов с ударением не на первом слоге в мокшанском языке довольно много. Кроме того, в современном мокшанском языке в заударных слогах часто встречаются редуцированные гласные.

В монографии С. З. Деваева дана обстоятельная характеристика вокализма юго-западного диалекта мокшанского языка²⁹. В этой работе отмечаются следующие особенности: фонема *ъ* в непервом слоге употребляется только в безударном положении; фонема *o* в непервом слоге встречается очень редко, лишь в сложных и заимствованных словах и только под ударением; фонема *э* в непервом слоге слова встречается только в абсолютном исходе слова.

Таким образом, в мокшанском языке ударение фиксированное, оно покоится на определенном слоге, говорящий не может произвольно переносить его с одного слога на другой; при этом ударный слог значительно отличается от безударного своей силой и длительностью (в безударных слогах часто стоит редуцированный гласный). Современное эрзянское ударение нефиксированное, свободное, говорящий может произвольно ставить его на любой слог любого слова; эрзянин может сказать: *кунсолмо*, *кунсолмо*, *кунсолмо* «слышать», никто ему не скажет, что он произносит неправильно, никто не обратит внимания на место ударения в его произношении. Так обстоит дело в современном эрзянском языке. Однако, как совершенно правильно утверждает Д. В. Бубрих, «в эрзянской речи некогда существовало то же ударение, что и в мокшанском»³⁰; об этом свидетельствуют многочисленные случаи выпадения гласного первого слога тех слов, которым в мокшанском языке или в отдельных диалектах эрзянского языка соответствуют слова с согласными *y*, *u*, *ъ* в первом слоге и (обычно) с гласным *a* во втором или последующих слогах, например: эрз. *шкăмс* «трясти», мокш. *шукăмс*; эрз. *пра* «голова», фолк. *пира* и т. д.

Вокализм общемордовского языка. Х. Паасонен и Д. В. Бубрих полагают, что система гласных в мокшанском языке

²⁸ См.: О. И. Чудаева, *М-овые имена действия в мокша-мордовском языке*. Автореф. канд. диссерт., М., 1952, стр. 9. О. И. Чудаева здесь, по-видимому, оперирует материалом диалекта с. Старое Шайгово Шайговского р-на Мордовской АССР (см. стр. 2).

²⁹ С. З. Деваев, *Средне-вадский диалект мокша-мордовского языка*, «Очерки мордовских диалектов», II, Саранск, 1963, стр. 278—281. Этот диалект объединяет мокшанские селения южной части бывш. Zubovo-Полянского р-на МААССР, расположенные в бассейне среднего течения р. Вад, по рекам Лундан, Чиуш и по верхнему течению р. Парца (см. стр. 262).

³⁰ Д. В. Бубрих, *О былом эрзянском ударении*, «Зап. [Морд. НИИ языка, лит-ры и истории]», 12. Язык и литература, Саранск, 1951, стр. 87.

сохранилась в первичном виде и близка к общемордовскому вокализму. Э. Итконен представляет себе общемордовский вокализм в следующем виде: «Ударение мокшанского языка связано с развитием прамордовского вокализма второго слога. Гласные второго слога в прамордовском большей частью редуцировались. Этот процесс редукции обусловлен, естественно, тем, что гласные второго слога были безударными. Иначе говоря, первыми были слоги, которые несли на себе ударение, например: **ko'ta* > праморд. **ku'də* «дом», **le'smä* > праморд. **li'smä* «лошадь», **ve'neš* > праморд. **ve'nəš* «лодка». Но если в первом слоге стоял закрытый (узкий) гласный, например, слабовзвучный *i* или *u*..., а во втором *a* (самый звучный из гласных), то последний не претерпевал редукции. Отсутствие редукции у *a* следует понимать... только так, что ударение в этих словах передвигается с первого слога на второй, например: **iša* > праморд. **uža'* (позднее *oža*) «рукав», **mu'ta* > праморд. **muda'* (позднее *moda*) «земля». Таким образом в прамордовском появилось подвижное ударение, которое, как видно из близкородственных языков, возникло из более раннего фиксированного ударения (покоившегося на первом слоге) как следствие вторичного развития, способствовавшего при определенных условиях передвижению ударения. На основе прамордовского развилось мокшанское ударение, а в эрзянском ударение прамордовского типа совершенно исчезло»³¹.

Из сказанного видно, что в общемордовском языке-основе 1) в безударном положении было большое количество редуцированных гласных (в заударных слогах почти все гласные были редуцированными), 2) под ударением могли стоять все гласные, 3) в безударном положении не мог находиться гласный *o* (а также, по-видимому, *э*). Такая система гласных в прамордовском языке закономерно развилась на основе следующих акцентологических особенностей слова: а) ударный гласный, который первоначально стоял в первом слоге, значительно отличался от безударных; б) вследствие этого заударные гласные редуцировались, кроме сильнозвучного *a*; в) гласный непервого слога *a* перетягивал на себя ударение с первого слога, если в первом слоге стоял слабовзвучный гласный (*i*, *y*); если же в первом слоге стоял другой гласный (*o*, *э*, *a*, *ä*), то ударение сохранялось на нем; таким образом *o*, *э* не могли попасть в предударное положение; г) в заударном положении эти звуки (*o*, *э*) тоже не могли стоять, поскольку они здесь претерпевали редукцию.

Эта система гласных весьма близка к той предполагаемой системе гласных языка вятичей, на базе которой развилось русское аканье. Эта близость наблюдается не только в начальной стадии аканья, выражающейся в редукции безударных гласных, но и в последующих ступенях развития этого явления (ср. отсутствие *o*, *э* в безударном положении). Отделить друг от друга системы гласных этих двух языков (общемордовского и языка вятичей) очень трудно. Весьма трудно также говорить о параллельном, независимом друг от друга, развитии одного и того же звукового явления у двух народов, живущих одновременно на одной и той же территории³². Здесь уместен вопрос: может быть, вятичи пришли на среднюю Оку уже с акающей речью или, вернее, с элементами аканья-яканья (с редуцированными гласными в безударном положении и т. п.) и оказали влияние на язык мордовских племен, в результате чего в языке последних появились те черты вокализма, о которых речь была выше? На этот вопрос следует ответить отрицательно: во-первых, вятичи пришли на среднюю Оку до появления аканья в их языке (аканье развилось там после исчезновения

³¹ E. I t k o n e n, Über die Betonungsverhältnisse in den finnisch-ugrischen Sprachen, «Acta linguistica Hung.», V, 1—2, 1955, стр. 26.

³² См., например: П. Я. Черных, указ. соч., стр. 136.

редуцированных, а *ъ* и *ь* исчезли не раньше XII в.); во-вторых, в мордовском языке редукция безударных гласных и другие явления вокализма, связанные с редукцией, восходят к глубокой древности — к общемордовскому времени, а, может быть, и к более раннему периоду.

Кроме того, в части русских заимствований мокшанского языка мы видим сохранение русского предупредного *о*, которое в современных южно-русских и среднерусских говорах перешло в *а*, что свидетельствует о том, что мокша соприкасалась с представителями окружающих говоров, например, *сѡка* «соха», *дѡлата* «долото», *бѡръзна* «борозда», *бѡбран* «баран» (др.-русск. *боран*), *пѡталак* «потолок», *мѡлатка* «молоток», *пѡмала* «помело» и др. (эти слова широко распространены в мокшанских говорах)³³. Следует принять во внимание то, что современные мокшанские диалекты находятся в окружении акающих русских говоров, поэтому не случайно в подавляющем большинстве русских заимствований мокшанского языка предупредное *а* передается через *а*, например: *кѡза* «коза», *ѡвѣн* «овин», *тѡвар* «товар», *рѡса* «роса» и т. д.³⁴.

Правда, часть заимствований типа *сѡка*, *бѡбран* и т. п. могла попасть в мокшанский язык и позже (после формирования говоров с южнорусским вокализмом) из севернорусских и среднерусских акающих говоров, которые в прошлом заходили далеко на юг³⁵. Однако трудно допустить, чтобы мокша, занимавшая запад и юго-запад мордовской территории и имевшая с давних пор тесные связи с русскими (вятичами), не восприняла в свой язык в более раннюю эпоху — до появления аканья в русском языке слов, означающих жизненно важные понятия. Д. В. Бубрих полагает, что случаи вроде мокш. *сѡка*, *бѡрта* «ворота» могут отражать южновеликорусское воздействие эпохи до возникновения южновеликорусского аканья, т. е. приблизительно XIII в.³⁶.

В вопросе о том, восходит ли описанная здесь система гласных к общемордовскому периоду, среди финно-угроведов нет разногласий. В нашем распоряжении имеются некоторые данные, позволяющие представить и более раннее состояние этой системы, для которого было характерно наличие редуцированных и перенос ударения с первого слога на второй и последующие слоги.

Редуцированные гласные, кроме мокшанского языка, имеются также в следующих финно-угорских языках: марийском (во всех диалектах), в некоторых диалектах удмуртского языка³⁷ и хантыйском. В этих языках мы встречаем редуцированные гласные как в первом, так и последующих слогах. Изменение места ударения находится в зависимости от качества гласных (с первого слога переносится ударение на второй и последующие слоги, если в них стоит широкий гласный, а в первом слоге узкий) в следующих языках: мокшанском (а также общемордовском языке-основе), коми-язьвинском диалекте и некоторых коми-пермяцких диалектах (оньковском, нижнеиньвенском). Нечто подобное имеется в лугово-марийском языке. Э. Итконен по поводу марийского ударения пишет следующее: «В прамарийском языке — как и в прамордовском — было ударение,

³³ Перенос ударения на первый слог и появление *а* (*ъ*) в заударных слогах объясняются особенностями вокализма мокшанского языка.

³⁴ См.: Д. В. Б у б р и х, Лингвистические данные к вопросу о древности связей между мордвой и восточным славянством, «Зап. [Морд. НИИ]», 7. Язык и литература, Саранск, 1947.

³⁵ См.: В. Н. С и д о р о в, О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах, ИАН ОЛЯ, 1951, 2, стр. 172.

³⁶ Д. В. Б у б р и х, Лингвистические данные..., стр. 9.

³⁷ См.: Т. И. Т е п л я ш и н а, Из наблюдений над фонетическими особенностями помшинского диалекта удмуртского языка, «Труды [Мар. НИИ языка, лит-ры и истории]», XV, Йошкар-Ола, 1961, стр. 131.

зависящее от вокализма. Гласные прамарийского языка подразделялись — как это мы видим в современных диалектах — на гласные полного и неполного образования. Эта особенность напоминает в некоторой степени соотношения гласных, которые имели место в прамордовском языке. Редуцированные гласные встречались не только в непервых слогах, но и также в первом слоге, где они большей частью замещали финно-угорские закрытые *u, i, ÿ...* В марийском языке произошел также сдвиг ударения с первого на последующие слоги, но этот сдвиг здесь — в отличие от прамордовского языка — произошел независимо от качества гласного первого слога..., ударение могли иметь как *a*, так и другие гласные непервого слога, а именно *ä* и *э*»³⁸.

Аналогичный перенос ударения с первого слога на последующие мы наблюдаем и в хантыйском языке: «у трех- и многосложных слов главное ударение часто падает на второй слог (и побочное — на 4, 6 слоги), если он имеет долгие гласные *a, э*, например: *порáль* «кусочки», *йэ́рнáсьм* «моя рубашка», *ойкáна* «от мужчины»³⁹. В коми-язьвинском диалекте ударение с первого слога переносится на последующие, если в первом слоге стоит исконный узкий гласный (*u, y, o < *ы*)⁴⁰.

Таким образом, особенности гласных, напоминающие вокализм общемордовского языка-основы, наблюдаются в целом ряде восточнофинно-угорских языков. Совпадение между разными финно-угорскими языками в вокализме (редукция безударных гласных, зависимость места ударения от качества гласных и т. д.) нельзя объяснить случайностью. Мы имеем все основания предположить существование системы гласных, аналогичной общемордовской, в эпоху более раннюю, чем общемордовский язык-основа. Во всяком случае, приведенные факты говорят о том, что в восточнофинских языках еще до образования мордовского языка-основы имелась тенденция к переоформлению системы гласных в определенном направлении, приведшая к результатам, представленным в ряде современных финно-угорских языков.

Рассматриваемый нами материал дает основание поставить вопрос: не возникло ли аканье в русском языке под влиянием вокализма прамордовского или древнемокшанского языков⁴¹.

³⁸ E. Itkonen, указ. соч., стр. 26—28.

³⁹ W. Steinitz, *Ostjakische Grammatik und Chrestomatie*, Leipzig, 1950, стр. 47.

⁴⁰ В. И. Лыткин, Коми-язьвинский диалект, М., 1961, стр. 33—34.

⁴¹ В последнее время этот вопрос со всей серьезностью был поставлен Г. Стипа в его статье «Phonetische Wechselwirkungen zwischen Mokscha-mordwinisc und Russisch» (UAFb, XXIV, 3—4, 1952; XXV, 1—2, 1953).

Н. З. КОТЕЛОВА

О ПРИМЕНЕНИИ ОБЪЕКТИВНЫХ И ТОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ
ОПИСАНИЯ СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ

Поиски новых, более совершенных принципов и методов исследования языка достигли в настоящее время нового этапа в своей эволюции: появляется все больше образцов реального применения выдвигаемых принципов, что дает возможность их обсудить и оценить их эффективность.

Авторы подобных работ стремятся продвинуть описание известных в языкознании явлений, добиваясь объективности и точности анализа. Постановка такой задачи представляется чрезвычайно важной и актуальной.

Общей цели разные исследователи пытаются достичь разными способами: или элиминированием элементов плана содержания, или стремлением найти формальные признаки семантических категорий, или применением строгой процедуры анализа, строгих доказательств эксперимента, или заимствованием научного аппарата дедуктивных наук — логики и математики, или статистическими обследованиями, или основываясь на критерии пригодности полученных описаний для автоматического анализа текста, машинного перевода и т. п. Вместе с тем достаточно очевидно и то, что в основе новых работ лежат также методические приемы и аппарат понятий, выработанных традиционной лингвистикой (например, «сильное управление», «устойчивость», «идиоматичность» и т. д.).

Ниже рассматриваются попытки применения некоторых критериев для описания языковых явлений из сферы сочетаемости слов, предпринятые в работах И. А. Мельчука, Ю. Д. Апресяна, Л. Н. Иорданской¹. Работы эти заслуживают внимания как с точки зрения методики описания изучаемых явлений и выдвигаемых гипотез, так и своим экономным изложением. Их целесообразно рассматривать в совокупности потому, что при всем своем несхождении они отличаются стремлением подчинить методику требованиям объективности и точности и объединяются тематически. Отдельные наблюдения и выводы этих работ продвигают изучение грамматической и фразеологической сочетаемости слов². Однако в целом содержащиеся в них описания и построения оказываются недостаточно продуктивными. Не ставя своей целью всесторонне характеризовать эти

¹ И. А. М е л ь ч у к, О терминах «устойчивость» и «идиоматичность», ВЯ, 1960, 4; Л. Н. И о р д а н с к а я, Два оператора обработки словосочетаний с «сильным управлением» (для автоматического синтаксического анализа), М., 1961; Ю. Д. А п р е с я н, Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, «Лексикографический сборник», V, М., 1962; е г о ж е, О сильном и слабом управлении (Опыт количественного анализа), ВЯ, 1964, 3.

² См., например, в этих работах разграничение устойчивости, сочетаемости и идиоматичности и более строгую формулировку их отдельных характеристик, описание управления в понятиях моделей, учитывающее соподчинимость и другие свойства управляемых форм, положение о соотносительности семантики слова и его окружения, постановку вопроса о языковой основе для выделения семантических полей, о компонентном анализе значений, разграничение понятий силы управления данной формой и общим составом форм, противопоставление сильного управления пустому составу.

работы, постараемся лишь выяснить, каким образом пытаются авторы достичь объективности и точности описания и почему им это не вполне удается.

1.1. Одним из основных средств получения объективного описания является в этих работах освобождение его от понятия значения как категории, не поддающейся объективной оценке. И. А. Мельчук строит определение идиоматичности, не упоминая о значении³, и определяет идиоматичные сочетания относительно их переводных эквивалентов, взятых из реальных текстов переводов. Если при распределении перевода по элементам сочетания в последнем окажется хотя бы одно слово с единичным переводом, сочетание признается идиоматичным⁴. Однако использованию такого определения невозможно по ряду причин. Применение его исключается для разрядов идиом, имеющих идентичную внутреннюю форму в разных языках, ср., например, англ. *point of view*, русск. *точка зрения*, франц. *point de vue*, итал. *punto de vista*, польск. *punkt widzenia*, рум. *punct de vedere*, узб. (из перс.) *nuqtai nazar* и т. д.⁵, где ни одно из слов не будет иметь единичного перевода, между тем это идиома. Ср. также: *золотой век* (англ. *golden age*), *рука закона* (англ. *the arm of the law*), *альфа и омега*, *лукуллов nip* и мн. др. Кроме того, идиомы требуют специфического перевода в связи с их структурными особенностями, их функцией выразительного средства, преимущественным употреблением в языке художественной литературы, что затрудняет как выделение части текста, соотносящейся с идиомой, так и распределение перевода по элементам сочетания.

Представляется, что опора не на тексты переводов, а на словари, даже с учетом справедливо отмеченной автором зависимости от их полноты или качества, была бы более объективной. Смысловая неделимость сочетания проявляется лишь в соотношении его компонентов с словарными значениями слов. В словарях учтены возможные и реальные межъязыковые и внутриязыковые переводы (для последних словари—единственный источник!), использованы обширные материалы для объективного установления свободных и фразеологически связанных значений слов⁶, коллективный опыт общения и лингвистического анализа и мн. др. В реальных же текстах представлен перевод, данный одним говорящим лицом и зависящий от степени, св. какой переводчик владеет тем и другим языком, от понимания им значения сочетания, от знания идиоматики конкретного языка (переводчик может, например, принять идиому за индивидуальный образ) и т. д. Вряд ли эти субъективные моменты могут быть нейтрализованы благодаря лишь большому количеству привлекаемых текстов (кстати, о величине выборки для своего эксперимента И. А. Мельчук не упоминает).

Опора на тексты дает лишь мнимый уход от значения: имеем ли мы дело с переводами (реальными или словарными) или с устными опровержениями, мы имеем дело со смыслом. Значение действительно устраняется при определении устойчивости и сильного управления, если их характеризовать через вероятность появления в тексте рядом со словом того или иного словарного элемента или падежной формы⁷. Но при таком подходе не могут быть отграничены экстралингвистические факты, например факты частого

³ «...слова „смысл“ и „значение“ не должны участвовать в формальном определении термина „идиоматичность“» (И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 75).

⁴ И. А. Мельчук не делает ни одного эксперимента подобного рода из-за отсутствия средств автоматического отбора переводов и сам пользуется внутрядыковым, причем собственным переводом. Тем самым в работе допускается крайний субъективизм, собственная оценка значений.

⁵ Возможность перевода сложными словами (нем. *Gesichtspunkt*, дат. *synspunkt*) или грамматически устойчивыми комплексами (ср. узб. *nuqta-i nazar*) не меняет дела.

⁶ См.: В. В. Виноградов, Об основных типах значений слов, ВЯ, 1953, 6.

⁷ См.: И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 73; Л. Н. Иорданская, указ. соч., стр. 5; Ю. Д. Апресян, О сильном и слабом управлении..., стр. 35—36.

совместного появления элементов в тексте, обусловленные реальной действительностью (ср. *колхозы и совхозы, борьба за мир* и под.). Устойчивость сочетаний слов, обусловленная внеязыковыми отношениями, может быть использована при стенографическом письме, но ни для теоретического языкознания, ни для машинного перевода она не представляет интереса, так как регламентируется не языком, а ситуациями речи. Вероятностный подход не предусматривает возможности смещения количественных характеристик из-за неразличения фактов языка и фактов речи (ср., например, случаи индивидуально-авторского разложения устойчивых сочетаний⁸, случаи ненормативного употребления и т. п.).

Самый же существенный дефект определений такого рода обусловлен игнорированием распространенной в языке омонимии, синонимии, полисемии слов⁹ и форм. Сочетаемость и управление интересны для машинного перевода именно наличием коррелятивных отношений между лексической семантикой и формами сочетаемости, позволяющих найти формальные признаки элементов плана выражения. Правда, в одной из указанных работ, специально рассматривающей эти коррелятивные отношения, читаем: «ц е л е с о о б р а з н е е (разрядка наша.— Н. К.) рассматривать не дистрибуцию слов, а дистрибуцию слов в определенных значениях»¹⁰. Но дело не только в целесообразности. Наличие в языке полисемии делает н е в о з м о ж н ы м обнаружение устойчивости сочетания или сильного управления путем лишь регистрации совместного появления элементов в тексте, не предполагавшей учета полисемии. Многозначные слова дадут разнообразные показания о вероятности того или иного сочетания, и низкая ее степень может, например, объясняться лишь многочисленностью значений с отличающейся сочетаемостью. Так, например, вероятность появления при слове *мертвый* слов *покой, тишина, молчание* будет низкой, между тем это устойчивые сочетания. Невозможность выявления сильного и слабого управления при игнорировании полисемии ярко обнаружилась в другой работе Ю. Д. Апресяна, где автор практически не учитывает полисемию¹¹. Утверждается, например, что сила управления формой *с + вин. падеж* при глаголе *верить* = 0,31 (эта форма зафиксирована 23 раза на 74 появления глагола), а сила управления формой дат. падежа при том же глаголе = 0,36 (27 появлений формы на 74 появления глагола)¹². Получается, что глагол *верить* не имеет при себе сильноуправляемых форм (установленный автором порог сильного управления — 0,7). В действительности же сила управления указанными формами приближается к единице, так как употребление этих форм при реализации конкретных значений (ср. 1. *верить письму* и 2. *верить в торжество справедливости*) необходимо, т. е. противопоставляется только эллипсу. Неправомерно отнесены к самым слабым классам по силе управления также формы *вызвать на что* (ср. *вызвать на соревнование*), *останавливаться на чем* (ср. *останавливаться на разборе глав*), *вести что* (ср. *вести слепого*),

⁸ Ср., например, разложение устойчивого сочетания *дремучий лес (бор)*: *дремучая борода* (А. Н. Толстой), *дремучее сердце* (Дм. Кедрин), *дремучие глаза* (Луговской) — примеры из кн.: А. В. К а л и н и н, Русская лексика, [М.], 1960, стр. 57, 58.

⁹ Полисемия характеризует и термины, так что не поможет и ограничение описания рамками подъязыка науки.

¹⁰ Ю. Д. А п р е с я н, Дистрибутивный анализ..., стр. 55.

¹¹ При этом он забывает даже о том, что «целесообразнее» ее учитывать, хотя обследуемые глаголы, по свидетельству самого автора, «являются наиболее частотными и, следовательно, наиболее многозначными» (Ю. Д. А п р е с я н, О сильном и слабом управлении..., стр. 48). Такую методичку не оправдывает выдвинутая им задача установления семантических различий на основе синтаксических. Дело в том, что сильное, слабое, двойное и т. д. управление можно выявить, лишь различая омонимы и разные значения слов.

¹² Там же, стр. 36.

освободить от чего (ср. *освободить от наказания*), вывести из чего (ср. *вывести из оцепенения*), отходить от чего (ср. *отходить от канонов*) и мн. др. Многозначные непереходные глаголы при экспериментах вообще не дали сильноуправляемых форм (ср. *пойти, идти*¹³ и мн. др.).

Сила управления с безразличным составом форм (*Gv*), вычисление которой основано на противопоставлении пустых и непустых составов, представлена в искаженном виде из-за неразличения случаев появления пустого состава, сопровождающегося смысловыми изменениями управляющего слова и не сопровождающегося ими.

Частотность появления в тексте управляемой формы при сопопадении глагола не отразит действительного характера управления также и потому, что включает в действительности разные характеристики: собственно частотность формы и частотность значения. Так, для глагола *идти* не выявлены употребляющиеся при нем сильноуправляемые формы при мало частотных значениях, поскольку в использованном Ю. Д. Апресяном материале¹⁴ при 633 появлениях глагола *идти* формы дат. падежа, тв. падежа, за + вин. падеж вообще не зарегистрированы. В действительности же в лексико-семантических вариантах *шляпа идет кому, идти конем, идти за нелюбимого* сила управления указанными формами равна единице.

Построение моделей управления, учитывающее, например, соподчинимость и несоподчинимость форм, возможно лишь при учете полисемии, так как указанные свойства проявляются в отношении лексико-семантических вариантов, а не слова в целом. В связи с этим у Ю. Д. Апресяна построение двойных и тройных моделей не соответствует действительности. По этой же причине список моделей сильного управления, данный Л. Н. Иорданской, избыточен моделями, представляющими собой набор управляемых форм слова в его различных значениях, а потому реально неупотребительных. Так, например, нет в русском языке моделей *принадлежать чему/к чему* или *подбить что к чему/на что*, а есть *принадлежать чему* (*книга принадлежит ему*) и *принадлежать к чему* (*принадлежать к числу выдающихся людей*), *подбить что к чему* (*подбить доску к ящичку*) и *подбить что на что* (*подбить его на побег*), точнее: *подбить что на что/инфин.*; ср. также *забыть что/о чем/инфин.*, *напомнить что/о чем/инфин. чему*, *донести на что/о чем* и мн. др. Правда, в примечании к стр. 10 неожиданно читаем: «Одинаковые (графически) основы с разным значением следует рассматривать как разные и для каждой основы составлять модель отдельно». Однако ни при определении сильного управления, ни при практическом составлении списка моделей и построении операторов это существенное замечание не учитывается, и вся связанная с ним проблематика не затрагивается. Неучет полисемии приводит Л. Н. Иорданскую к ошибочному утверждению о нерегулярности проявлений в русском языке чрезвычайно важной закономерности, состоящей в том, что неравнозначные связи соподчинимы; это утверждение она иллюстрирует моделями управления при глаголах *обеспечить, просить, говорить, мешать*, при которых, если учитывать их полисемию, неравнозначные связи в действительности оказываются соподчинимыми¹⁵.

¹³ Ср. сильноуправляемые формы при этом глаголе: *за чем (идти на пролетариатом), на что (идти на уговоры), во (на) что* или с неопределенной формой (*идти на прогулку, идти гулять*), *во (на, подо) что (идти в пищу)*.

¹⁴ Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

¹⁵ Ссылки Л. Н. Иорданской в последующих работах (например, в статье «О некоторых свойствах правильной синтаксической структуры», ВЯ, 1963, 4) на тот «Список несоподчинимых сильноуправляемых форм», который приводится в разбираемой работе, только вводит в заблуждение. Новый пример с несовместимостью форм род, падежа (*исполнение автора произведения*) также некорректен, так как: 1) невозможно

Определять сильное управление через вероятность предсказания формы не представляется возможным также в связи с необходимостью учитывать грамматическую семантику (принимаемую Л. Н. Иорданской во внимание лишь при делении форм на равнозначные и неравнозначные). Грамматическую семантику следует иметь в виду и при определении понятия сильного управления, и при конструировании моделей. Так, при построении модели (*делить, затратить*) что на что¹⁶ не учтены семантические различия грамматической формы на что в сочетании с разными глаголами. Фактически здесь две омонимичных модели: *делить что на что* и *затратить что на что*. При более точном анализе омонимия формы на что оказывается выраженной благодаря наличию равнозначной формы (*для чего*) при глаголе *затратить*. Необходимо иметь в виду омонимию форм и при исчислении силы управления. Так, по Ю. Д. Апресяну, сила управления *махнуть чем* = 0,95. Между тем здесь и *махнуть платком*, и *махнуть всем классом за город* (слабое управление), ср. также: *развести чем* = 0,6, но это и *развести водой*, и *развести руками*; *побывать в чем* = 0,45, но это и *побывать в новом костюме у всех знакомых*, и *побывать во всех домах*, и *побывать в горничных, дворниках*.

2. Характер самой постановки исследуемых вопросов, равно как и определение исходных положений, в разбираемых работах не соответствует стремлению их авторов к объективности описания. И. А. Мельчук пишет: «Попробуем определить термины (здесь и ниже разрядка наша. — Н. К.) „устойчивость“ и „идиоматичность“. ...Если рассматривать различные сочетания каких-либо элементов, естественно называют устойчивым такое сочетание определенных элементов, в котором эти элементы встречаются гораздо чаще, чем в других сочетаниях»¹⁷. Прежде всего автор исходит здесь из термина, который в связи с его конвенциональностью может связываться с разными понятиями. По-видимому, было бы целесообразнее определять само явление исходя, например, из потребностей или машинного перевода, или теоретического языкознания. Кроме того, объективной постановке вопроса способствовало бы выяснение определенного места термина в системе понятий данной науки, учет классификации изучаемых сочетаний или хотя бы понятий, соотносительных с данным понятием, и т. п. Далее. Утверждение «естественно называть...» — субъективно; такой субъективности не допускает традиционное языкознание, вооруженное, как представляется авторам рассматриваемых работ, только интуицией¹⁸. К тому же, произвольно избирается и конкретный признак устойчивых сочетаний — частота употреблений одного элемента рядом с другим элементом. Можно было бы, например, назвать

уже *исполнение автора* (только *автором*) при сохранении именем значения действия (реализованного в сочетании *исполнение произведения*), в соответствии с нормой: род. падеж агентивный только при именах действия от непереходных глаголов (*убегание детей*); 2) имеется омонимия форм.

¹⁶ См. «Список моделей управления в русском языке» (Л. Н. Иорданская, Два оператора...).

¹⁷ И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 73.

¹⁸ По-видимому, в подобных контекстах (ср.: «Типы несвободных сочетаний, ..., справедливо выделяемые на основе интуитивных представлений...», там же, стр. 80) слово *интуиция* начинает употребляться в новом значении — «недостаточно обоснованный, недостаточно точный и т. д. научный анализ». Ср. общепотребительные значения этого слова: «наитие, откровение свыше», связанное с понятием, лежащим в основе учения идеалистов-интуитивистов, и «непосредственное постижение; чутье, догадка». Интуиция (во втором значении) имеет весьма важное значение в научном познании, механизм ее сложен и не изучен. Однако несерьезно утверждать, что, пользуясь лишь интуицией, можно было выработать те понятия и категории, которыми располагает языкознание. Ю. Д. Апресян неоправданно противопоставляет понятие «интуитивный» понятиям «структурный», «формальный», «объективный» («Дистрибутивный анализ...», стр. 53, 54 и сл.).

устойчивым какой-нибудь другой тип несвободных сочетаний¹⁹. Неубедительны многие послышки авторов (об отражении всех элементов значения в дистрибуции, об объективности методики субституции, о природе управления и его диагностической силе и мн. др.).

В тех случаях, когда оговаривается прагматический подход к определению понятий, позиции у разных авторов не одинаковы. Если Л. Н. Иорданская полагает, что «в данной работе, имеющей практический характер, можно обойтись... приближенным представлением» о сильном управлении²⁰, то И. А. Мельчук, напротив, считает, что хотя приближенные понятия устойчивости и идиоматичности существуют, однако для практики необходимо выработать точные определения.

Не убеждает и постановка вопроса в случаях, подобных следующему. Ю. Д. Апресян обнаружил, что одинаковая дистрибутивная модель объединяет слова с однородной семантикой. Однако «оказалось, что некоторые модели объединяют довольно разнородные группы значений. Пока не вполне ясно, является ли это отражением фактического положения вещей в языке или недостатками метода». Но «... семантический разнотип удаётся преодолеть с помощью двух структурных операций»²¹. Спрашивается: следует ли «преодолевать» разнотип и спасительные операции, пока «не вполне ясно», в чем по существу дело?

3. Не способствует объективности описания в рассматриваемых работах и отбор и использование материала. Так, в работе об устойчивости и идиоматичности И. А. Мельчук использует материал, выбранный из источников, которые им не указаны, и произвольно его интерпретирует. Например, под рубрикой «устойчивые неидиоматичные сочетания» (которые «имеют устойчивость 100%, поскольку выделенные слова не встречаются вне них»²²) приведены восемь примеров, среди которых в действительности нет ни одного сочетания со 100%-й устойчивостью: *вопиющая несправедливость* (ср. *вопиющие противоречия*²³, *вопиющая ложь*, *вопиющая клевета*, *вопиющая бедность*), *закадычный друг* (ср. *закадычная дружба*, *закадычный приятель*, *закадычные приятельские отношения*), *заклятый враг* (ср. *заклятый недруг*, *заклятый противник*), *мертвецки пьян* (ср. *мертвецки пить*, *мертвецки напиться*), *неизгладимое впечатление* (ср. *неизгладимые воспоминания*, *неизгладимые следы*, *неизгладимый знак*), *беспросыпное пьянство* (ср. *беспросыпный сон*), *совесть зазрела* (ср. глагол *зазирать*, *зазреть*), *не видать ни зги* (ср. *не видно ни зги*, *не вижу ни зги*; *ни зги*). Основное в данной работе положение — о независимости устойчивости и идиоматичности — оказалось не подтвержденным ни одним примером. Так же субъективно привлекается и интерпретируется материал, иллюстрирующий другие положения этой работы²⁴.

Ю. Д. Апресян в статье о дистрибутивном анализе значений привлекает для анализа факты только английского языка и только сочетаемости некоторых глаголов. Выводы же распространяются на все языки и на все

¹⁹ Ср., например: В. Л. Архангельский, О понятиях устойчивой фразы и типах фраз, сб. «Проблемы фразеологии», М.—Л., 1964, стр. 115, 116.

²⁰ Л. Н. Иорданская, Два оператора..., стр. 5.

²¹ Ю. Д. Апресян, Дистрибутивный анализ..., стр. 68.

²² И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 79.

²³ Извлечения из текстов, приведенных в «Словаре современного русского литературного языка».

²⁴ Ср. приведенные сочетания *наострить лыжи*, *щекотливый вопрос*, *скрепя сердце*, *сам с усами* (выделен элемент *усам*), *филькина грамота*, *выносить сор из избы* (единственный пример, иллюстрирующий положение об устойчивости по двум элементам). Неверно, что они содержат элементы, «вообще не встречающиеся вне них» (И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 79).

слова языка (ср., например: «В рамках некоторого многозначного слова существует одно-однозначное соответствие между определенным значением и определенной дистрибуцией»²⁵), хотя дистрибутивные свойства различны для слов разных категорий. Причем и глаголы берутся в основном только из словаря Хорнби, где даны 25 моделей; а всего для основного эксперимента работы (объективное выделение семантических полей) в статье использовано 15 транзитивных моделей.

Материалом для работы Ю. Д. Апресяна об управлении, как уже говорилось, послужило приложение к частотному словарю Штейнфельдт, содержащему данные по управлению глаголов. Некоторые дефекты материала видны и Ю. Д. Апресяну, но всей их серьезности он не учитывает, а иногда и совершенно неверно оценивает материал. Так, например, на стр. 49 читаем: «подчеркнем, что... те комплексы и глаголы, которые в наших экспериментах попали в класс сильноуправляющих, останутся в этом классе при любом расширении материала». Это такие глаголы, как *беседовать с кем, обратиться к кому, махнуть чем, добиваться чего, покачать чем, готовиться к чему, прислушиваться к чему, гордиться чем, интересоваться чем* и др. Однако при расширении материала появятся и такие употребления, как *они беседовали о делах, они беседовали два часа, обратиться в сельсовет, махнуть в город, добиваться, чтобы..., покачать на качелях, готовиться поехать, кто-либо прислушался, он гордится (= кичится), интересуется, как идут дела*, и т. д., которые изменят характеристики, полученные автором лишь по имеющимся материалам. Материал, представляющий собой неполный перечень употреблений глаголов по тексту в 400 000 слов (17 «появлений» глагола *помешать*, 20 — *развести*, 21 — *принадлежать*, 22 — *вынести* и т. д.) и собранный на основании несостоятельных исходных положений (неразличение качественно различных структур²⁶, элиминирование лексических и грамматических значений и др.), произвольно «дополняемый» (ср. конструирование двойных и тройных моделей), не может дать объективных результатов при любой методике исследования²⁷.

В работе Л. И. Иорданской использован немецкий словарь русских глаголов Е. Даума и В. Шенка²⁸, для которого показ сочетаемости является побочной задачей; именно поэтому в словаре не учитывается семантика управляющего слова и управляемой формы и даются, причем нерегулярно, только валентности, но не модели. Этот материал (+ 200 стр. научного текста) пополняется также данными, полученными из неизвестных источников, и произвольно изменяется, исправляется и т. д. В результате предложенный список моделей сильного управления содержит лишь незначительную часть всех имеющихся в русском языке моделей; ср., например, такие отсутствующие в нем модели: *что через что* (*перевести, перенести, перетащить* и т. п.), *что/вокруг чего* (*обойти, объехать* и т. п.), *чему инфин.* (*весело, хорошо* и т. п.), *что/мимо чего* (*пройти, пробежать* и т. п.), *чему/чего* (*памятник*), *чем/в + вин. падеж* (*поступить*,

²⁵ Ю. Д. Апресян, Дистрибутивный анализ..., стр. 61.

²⁶ Ср. хотя бы объединение таких разнородных явлений, как эллипс, абсолютное употребление, свободное употребление, сопровождение особым лексическим значением в одной структуре — пустой состав, от частотности которого непосредственно зависит величина силы управления глагола вообще.

²⁷ Недостаток материала заставил автора считать глагол *купить* не управляющим вин. падежом без предлога и превратить сочетание *купить две книги* в сочетание глагол + сущ. в род. падеже, а также выделить несуществующую в русском языке группу подобных глаголов (см.: Ю. Д. Апресян, О сильном и слабом управлении..., стр. 41).

²⁸ Ср.: E. D a u m, W. S c h e n k, Die russischen Verben, 2. unveränderte Auflage, Leipzig, 1963.

устроиться и т. п.), что/чем/в + вин. падеж (принять, устроить и т. п.), чего чему (жаль) и мн. др. В то же время в списке представлены несуществующие в русском языке модели, например: агитировать что за что против чего (связи в действительности не соподчинимы), выразить чем/ через что (ср. в чем — в символах, в амперах), соединить что между чем/с чем, забыть что/о чем/ инфин., напоянить что/о чем/инфин. чему, приравнять что к чему/чему, рассказать что о чем чему, узнать что о чем от (у) чего, существовать для чего/у чего (здесь материал произвольно «дополнен»), скучать по чему/по чем (некритически использован материал, даны стилистически ограниченные варианты, ср. о чем) и мн. др.

Таким образом, описание языковых явлений в рассматриваемых работах нельзя признать вполне объективным ни с точки зрения использования методики элиминирования или объективирования значения, ни с точки зрения установления исходных посылок, ни с точки зрения подбора материала и принципов его использования.

II. Формализация описания лингвистических явлений остается в основном общим требованием, определяющим содержание разбираемых работ.

Однако формализация, без которой, конечно, нельзя ввести аналитический аппарат, не может производиться так, чтобы основное содержание понятий лингвистики при этом осталось в стороне. Именно из-за слишком поспешной формализации понятие устойчивости И. А. Мельчуку пришлось рассматривать как понятие формальное по своей природе, не связанное с планом содержания. Полное же выключение этого понятия из плана содержания, как было показано выше, выводит его за рамки языка и делает его выделение в языкознании теоретически и практически бесполезным. Чтобы формализовать существующее понятие устойчивости, необходимо найти в плане выражения признаки собственно языковой устойчивости и к тому же различить сочетаемость полисемантических слов. Задача формализации семантических моментов встанет и при формализации определения сильного управления.

Необходимо учитывать и собственно языковую форму, которой в разбираемых работах подчас совсем не уделяется внимания. Так, при определении идиоматичности целесообразно было бы сосредоточить внимание именно на языковой форме идиомы (состав, грамматические формы, вариантность и т. д.). Определенному разряду идиом свойственно наличие в составе сочетания такого слова, которое вне такого сочетания не употребляется²⁹. Для тех же разрядов, которые не обладают указанным свойством,

²⁹ Ср.: *притча во языцех, бить баклуши, есєрх торгашками, исчадие ада, и еся недолга, задать стрекача, попасть впросак, во свояси, испокон века, лежмя лежать, леево руля, распускать нюни, задавать храровицкое, разводит антимонии, за тридевять земель, семя и овамо, млечный путь* и под. По И. А. Мельчуку (указ соч., стр. 77), напротив, словом, обнаруживающим идиоматичность, будет *попасть в попасть впросак, бить в бить баклуши, ада в исчадие ада, время в во время оно, задать в задать стрекача, во в во свояси* и т. д. Не говоря о том, что в указанных сочетаниях имеются слова *впросак, баклуши, исчадие, оно, стрекача, свояси*, действительно обнаруживающие идиоматичность сочетания, следует отметить еще одно важное обстоятельство. Для тех слов в составе идиомы, которые встречаются в других сочетаниях, единичный перевод не всегда очевиден. В сочетаниях, например, *попасть впросак, во время оно* (признаваемых идиоматичными) слова *попасть, время* отвечают одному условию определения — употребляются и в других сочетаниях, но не отвечают другому — не имеют в действительности, вопреки утверждению И. А. Мельчука, единичного перевода. *Попасть впросак* — это «попасть в затруднительное положение», *во время оно* — «в незапамятное, давнее время». Слова же *впросак, оно* отвечают одному условию определения — имеют единичный перевод, но не отвечают другому — не употребляются вне этих сочетаний. Не могут при сформулированных условиях быть отнесены к идиоматичным и сочетания типа *ничтоже сумняшея*, не содержащие ни одного слова, встречающегося вне их, или идиомы, характеризующиеся варьированием (ср. *точить лясы, точить балы, точить баласы*) и не содержащие слова с единичным переводом.

можно иметь в виду другие формальные признаки, связанные с особенностями идиомы как неразложимого по смыслу сочетания и как эквивалента слова. И. А. Мельчуку для отграничения устойчивых сочетаний (типа *зажмурить глаза*) от идиом пришлось ввести в определение последних условие употребления компонента идиомы в другом сочетании, с другим переводом, что заставило игнорировать полисемию при рассмотрении устойчивости (*зажмурить глаза* при наличии других значений глагола становится идиомой) и привело к другим дефектам определения. Формальный же признак, например способность одного из компонентов неидиоматического сочетания замещаться местоимением (ср.: «Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цветы, которые он видел». Гоголь), сразу же исключает его из разряда идиом. Изучение идиом с этой чрезвычайно мало исследованной стороны (вопрос о языковой форме идиомы даже не поставлен) смогло бы проложить путь для достаточно объективного и формального их определения.

Недостаточно учитывается языковая форма и в работах Ю. Д. Апресяна, в особенности в статье о сильном и слабом управлении. Говоря об управляемых формах, автор не учитывает их синтагматических и парадигматических свойств, т. е. форму моделей, в то время как дифференцируют лексико-семантические варианты именно модели, а не управляемые формы. Попытка более детально учесть формы сочетаемости содержится в работе Ю. Д. Апресяна о дистрибутивном анализе семантики, но делается это лишь для проведения дополнительных операций (построения архимodelей).

Формализация и применение на ее основе аналитического аппарата — мощное средство научного исследования. Однако формализация не может проводиться ради самой формализации. Формализация должна строиться на достаточно широкой теоретической основе. Именно этого нехватает разбираемым работам.

III. Рассматриваемое описание языковых явлений противопоставляется традиционному как точное³⁰. Однако прямо нигде не говорится, какие именно качества описания обеспечивают его точность. Если иметь в виду такие общеупотребительные значения слова *точный*: «1. Строго, не приблизительно измеренный (*точный вес*) или произведенный (об измерении — *точный подсчет*)» и «2. Строго, не приблизительно выясненный, сформулированный (*точное определение, точные сведения*) или произведенный (*точный анализ*)», то, как это видно из рассматриваемых работ, точность понимается здесь в этих двух значениях слова, хотя имеется тенденция понимать точность и как правильность, объективность. Последнее ведет к нечеткости в постановке задачи, так как *точный* не означает *правильный* (утверждения относительно одного и того же объекта: *длина доски = около 2 м* и *длина доски = 1 м 96 см* — одинаково могут быть правильными и неправильными, хотя второе точнее).

Вероятностный подход создает впечатление соблюдения точности, например, при определении устойчивости по И. А. Мельчуку: «Устойчивость сочетания относительно данного элемента измеряется вероятностью, с которой данный элемент предсказывает совместное появление остальных элементов сочетания»³¹. Однако точность определения какого-либо явления в языке не обязательно предполагает измерения; в то же время наличие измерений (когда они необходимы) — еще не точность, так как точность — это строгость, не приблизительность измерений. В этом смысле весьма

³⁰ Ср.: «Имеющиеся классификации и определения не являются формальными и достаточно точными. Поэтому понадобилось уточнить некоторые понятия» (И. А. М е л ь ч у к, указ. соч., стр. 73)

³¹ Там же, стр. 73.

показательно также, что «величина „порога устойчивости“» выбирается И. А. Мельчуком «произвольно (исходя из практических целей)»³², хотя в работе подчеркивается, что именно количественный признак определяет качество. Примечательно также, что в приведенном определении говорится о том, как измеряется устойчивость, но не определяются устойчивые сочетания. Тем самым снимается вопрос о рассмотрении сочетания с определенным порогом устойчивости как языковой единицы, характеризующей своим местом в системе, своей природой и свойствами.

Л. Н. Иорданская определяет сильное управление как «свойство некоторых основ с достаточно большой вероятностью предсказывать одну или несколько форм зависящего от них слова»³³. Порог вероятности как будто определен, но чрезвычайно неточно. Не случайно в списке моделей сильного управления содержатся такие, как *обсуждать с кем, сравнивать по чему, отличать кем, гладить по чему, ожесточать против чего* и мн. др., в которых указанные формы нельзя считать предсказываемыми с достаточно большой вероятностью.

Ю. Д. Апресян устанавливает порог (0,7), разграничивающий сильное и слабое управление, при каждом глаголе измеряет силу управления с точностью до сотых, описывает классы глаголов в графиках, таблицах и схемах, выясняет коэффициенты отклонений и т. д. Его описания и построения следует считать точными, они не приблизительны, они строятся на основе строгих измерений. Однако именно в этой работе ясно видно, что точность и правильность — не одно и то же. Количественный анализ не сочетается должным образом с качественным анализом, поэтому его результаты не отражают действительности. Как уже было показано, данные о частотности появления в тексте формы при появлении слова, полученные на основе недостаточного и необработанного материала, без учета качества форм и слов, при гипотетичности определения исходных понятий, не отражают действительных явлений сильного и слабого управления, и математический аппарат работает впустую³⁴.

Не достигается авторами точность и в смысле строгости, неприменимости формулировок. Неконкретно, например, указание на определенный порядок следования элементов в идиоматичном сочетании, неточна общая классификация несвободных сочетаний (так, сочетание *части речи*, исключаются И. А. Мельчуком из идиом, в действительности обладает всеми приписываемыми идиоматичности свойствами); неточно отнесение понятия дистрибуции к грамматическому уровню, так как она включает и лексическую сочетаемость; неточно сформулировано отношение устойчивости и идиоматичности (их независимость не абсолютна: сочетания, устойчивые по всем элементам, идиоматичны, ср. *ничтоже сумняшеся*).

Данные И. А. Мельчуком определения устойчивости и идиоматичности не позволяют осуществлять «автоматический поиск» устойчивых и идиома-

³² И. А. Мельчук, указ. соч., стр. 74.

³³ Л. Н. Иорданская, Два оператора..., стр. 5.

³⁴ К уже приводившимся примерам искажения оценок силы управления можно добавить много других. Почему, например, *вытащить из чего* — слабое управление (0,3), а *вынуть из чего* — сильное (0,7), *вывести из чего, внести во что* — слабое управление, а *дойти до чего* — сильное? Глаголы *ждать, желать, отличаться, мешать, отдавать, забыть, жалеть, обращаться* оцениваются как слабоуправляющие, хотя они не употребляются без управляемых форм или имеют возможность лишь абсолютного употребления. Даже переходные глаголы попадают в группу слабоуправляющих (ср. «силу управления» винительным без предлога при глаголах *вести* — 0,1, *видеть* — 0,1, *развести* — 0,45, *давать* — 0,5, *есть* — 0,1, *ожидать* — 0,3, *послушать* — 0,3, *записать* — 0,45, *застать, избрать, использовать* — 0,65). Даже формы *кому и что* при глаголах передачи, являющиеся, согласно посылке автора, сильноуправляемыми, оказались при экспериментах слабоуправляемыми (см. *передавать что* — 0,65, *отдавать кому* — 0,5, *давать что* — 0,5).

точных сочетаний в текстах без указания на хронологические рамки при подборе текстов. Одно и то же сочетание может на одном этапе развития языка быть свободным, на другом — несвободным, на третьем — идиоматичным и т. д., так как изменяются отношения между элементами внутри системы языка.

Абсолютизация методики «формального» описания языка, статистики, фиксации фактов текста, вероятностных характеристик при недостаточном внимании к обследованию исходных данных, при отсутствии целесообразно подобранных, широко и полно представляющих изучаемое явление материалов, — неизбежно ведет к упрощению, а значит и к искажениям и неточностям.

IV. На степени результативности рассматриваемых описаний и построений не могло не сказаться также полное игнорирование традиционной лингвистики, которая, несмотря на безусловно имеющиеся недостатки, располагает огромными накопленными материалами, аппаратом понятий, выработанных на основе исследования материала, разнообразными методами. В противоположность работам «нового направления», где, как правило, большое внимание продолжает уделяться методике описания языковых явлений, так называемое «традиционное» языкознание не описывает исследовательских процедур; поэтому часто, если не иметь достаточного опыта лингвистических исследований, бывает трудно судить о качестве проделанного анализа, равно как и объективно оценить его результаты. Впечатление отсутствия в «традиционных» работах исследовательского аппарата может создаться потому, что в них дается готовое описание. Имплицитно же такие работы всегда содержат и представление о методах. В хороших работах языковые явления изучаются при тщательном учете явлений соотносительных, связанных и взаимодействующих; практически язык понимается как система, и факты анализируются строго синхронно (хотя нередко декларации здесь расходятся с практикой), при этом учитывается развитие языка и самая возможность элементов развития в системе языка; разграничиваются факты языковые и внеязыковые (реальная действительность, мышление); язык исследуется во всей его сложности и многообразии, огромное значение придается материалам, их подбору, проверке, причем тщательно изучается и учитывается все, что сделано было ранее, т. е. реализуется принцип преемственности в науке.

Видимо, неясность лингвистического метода в традиционных работах приводит к тому, что нередко работам традиционной лингвистики даются поверхностные оценки, вроде нижеследующей: «Традиционная лексикография подходит к лексике языка как к некоторому набору слов, не организованных в систему. Выражением такого подхода к фактам лексики является классическое правило лексикографа: каждое слово — это отдельная проблема»³⁵. Действительно, имеющиеся словари несовершенны во многих отношениях. Однако вопрос о качестве словарей нельзя смешивать с вопросом о лексикографическом типе обработки лексики. Дело в том, что словарь (например, толковый) принципиально невозможно составить, не учитывая свойств слова как элемента системы. Ни одну задачу в словаре (подбор слов, выделение и определение значений, стилистическая характеристика, выделение фразеологизмов и мн. др.) нельзя выполнить, если рассматривать слово вне системы.

Забвение принципа преемственности в науке лишило авторов рассматриваемых работ возможности учесть вскрытую традиционным языкознанием сложность и многокачественность анализируемых ими явлений, а уточнять результаты имеющегося описания тех или иных понятий (именно

³⁵ Ю. Д. Апресян, Дистрибутивный анализ..., стр. 52.

эту задачу ставят в основном авторы), как известно, можно лишь после изучения этого описания.

Применение в языкознании принципов анализа, направленных к достижению объективности и точности научных выводов, хотя и стимулирует совершенствование лингвистической методики, однако не является пока достаточно продуктивным.

Для получения действительно объективных и точных описаний, например, грамматической и лексической сочетаемости необходимо выяснить, каким образом, не отказываясь от выдвинутых требований, можно осуществить переход от данных текста к явлениям языковой системы, каким путем исключать экстралингвистические факты из языкового описания, какими могут быть способы объективного описания языкового явления без элиминирования неотъемлемой стороны языковых единиц — значения, на каком этапе следует применять количественный анализ. Необходимо избегать схематизма, имея в виду сложность и многоаспектность языковых явлений.

Решение этих задач возможно лишь при условии критического использования всех достижений лингвистической науки, полученных как старыми, так и новыми методами.

О. М. БАРСОВА

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО СИНТАКСИСА
(На материале современного английского языка)

1. Цель настоящей статьи — наметить основные проблемы трансформационного синтаксиса современного английского языка в терминах традиционной отечественной лингвистики, уточненных в соответствии с современным состоянием науки. За исходное определение, подлежащее дальнейшему уточнению, принимается известное описательное определение предложения, данное авторами «Грамматики русского языка»¹. Основанием для выбора данного определения является то, что оно 1) дает возможность разрабатывать проблемы синтаксиса предложения в свете диалектического материализма², 2) содержит информацию, накопленную отечественным языкознанием в данной области в течение долгой истории своего развития³ и 3) заключает в себе, имплицитно, большинство положений современной лингвистики⁴.

Первым необходимым уточнением определения предложения, принятого за исходное, является введение термина «модель предложения». Моделью предложения называется здесь упорядоченная (цельнооформленная) последовательность обязательных словоформ, обладающая интонацией законченности и имеющая законченное грамматическое значение. Модель предложения признается единицей языка (а не речи)⁵. Такое понимание модели предложения делает возможной постановку проблемы тождества и различия моделей предложения (инвариантов и вариантов).

В согласии с отечественной традицией, за основное (базисное) предложение принимается модель стандартного двусоставного предложения с личной формой глагола-сказуемого, повествовательного, независимого, неизмоционального. Для стандартного предложения последние три ограничения обеспечивают отсутствие расхождений между грамматическим членением и членением актуальным и стилистическим. Таким образом, порядок элементов в базисном предложении может считаться упорядочен-

¹ «Грамматика русского языка», II, 1, М., 1954, стр. 65 и 76. Строгое определение исходного понятия вряд ли обязательно; в некоторых современных курсах исходные понятия предполагаются понимаемыми интуитивно, на основании примеров. См., например: Е. А. Ж о г о л е в, Н. П. Т р и ф о н о в, Курс программирования, М., 1964, стр. 80.

² См., например: В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, I, М., 1938; II, М., 1947 и другие работы; е г о ж е, О преодолении последствий культа личности в советском языкознании, сб. «Теоретические проблемы советского языкознания», М., 1964, особенно стр. 24—25.

³ В. В. В и н о г р а д о в, Из истории изучения русского синтаксиса, М., 1958.

⁴ См., например: А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956 (о формулах словосочетания — стр. 36 и 38; о четырех основных частях речи — стр. 102; о двузначности некоторых форм словосочетаний и ее разрешении путем перефразировки — стр. 45; о «разветвлении» предложения — стр. 57 и т. д.). Любопытно отметить, что о синтаксических формах элементов предложения, о которых А. М. Пешковский писал еще в 1927 г., Ч. Фриз писал в 1952 г., а Л. Вейсгербер в 1963 г. См.: С h. C. F r i e s, The structure of English, London, 1963, стр. 64; L. W e i s g e r b e r, Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen, Düsseldorf, 1963, стр. 265.

⁵ См.: А. И. С м и р н и ц к и й, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 35.

ным и каждому его элементу может быть поставлено в соответствие определенное место в модели — это и есть его позиция.

Члены предложения понимаются как переменные с ограниченной областью значений⁶, т. е. как способные быть представленными в речи ограниченным набором (множеством) словоформ (и их сочетаний). Последние являются постоянными области членов предложения. Каждая из постоянных в свою очередь может быть представлена в речи множеством конкретных (индивидуальных) форм. Таким образом, члены предложения понимаются как множества множеств. Они являются единицами языка (а не речи), отвлеченными от единиц плана синтагматического. Части речи понимаются как множества множеств, как единицы языка, отвлеченные от единиц плана парадигматического. Совокупность частей речи является ограниченным множеством моделей парадигм, т. е. ограниченных наборов частично тождественных словоформ, вычлениаемых из предложений⁷. Каждый член множества частей речи в свою очередь является множеством конкретных (индивидуальных) форм. Области значений каждого члена множества членов предложения и множества частей речи не являются конечными. Действительно, при любом заданном числе каждого из них, по крайней мере еще один член всегда может быть образован посредством какого-либо продуктивного способа словообразования.

Таким образом, языки, членившие речь на словоформы, к которым относится и современный английский язык, противопоставляют всему множеству конкретных словоформ два ограниченных множества двух различных планов — члены предложения и части речи. Области значений этих двух множеств и способы их сопоставления и составляют грамматический строй (pattern) того или иного языка⁸.

Члены предложения могут быть представлены по способу бинарных противопоставлений (см. табл.).

Члены предложения \ Признаки	Признаки		
	A	B	C
Подлежащее	--	--	--
Сказуемое	--	+	--
Дополнение	+	+	+
Обстоятельство	+	+	--
Определение	+	--	--

Здесь $A—A^0$: подчиненность — неподчиненность, $B—B^0$: предикативность — не-предикативность, $C—C^0$: объектность — не-объектность⁹.

⁶ В алгебраическом смысле терминов, т. е. подобно тому, как в выражении $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ термины a и b могут принимать значения, например, всех членов натурального ряда чисел — 1, 2, 3... Такое понимание устраняет неточность школьной формулировки, подвергшейся справедливой критике Т. И. Ломтева в его статье «О спорных вопросах теории синтаксиса» (ФН, 1958, 4), «О некоторых вопросах структуры предложения» (ФН, 1959, 4) и др.

⁷ Парадигма может состоять и из одного члена. О выделении частей речи см. стенограмму лекций М. Н. Петерсона по сравнительной грамматике индоевропейских языков, читанных в МГУ в 1949 г.

⁸ Дескриптивная лингвистика, являющаяся, как известно, второй, после четырехэлементной теории акад. Н. Я. Марра, попыткой перенести в общее языкознание информацию, полученную при изучении языков неиндоевропейского типа (кавказских, «яфетических», у Н. Я. Марра, алгонкинских, инкорпорирующих, у дескриптивистов), долгое время отказывалась от различения членов предложения и частей речи. В последние годы раздаются голоса в пользу признания такого различия, см., например: Z. S. H a r r i s, String analysis, The Hague, 1962; P. R o b e r t s, Understanding grammar, New York, 1953; A. J u i l l a n d, Outline of a general theory of structural relations, 's-Gravenhage, 1961 Об основаниях для причисления современного английского языка к числу индоевропейских, см.: Н. С. Т р у б е ц к о й, Мысли об индоевропейской проблеме, ВЯ, 1958, 1, стр. 72. Ср.: И. И. М е щ а н и н о в, Структура предложения, М.—Л., 1963.

⁹ Признак C , очевидно, возможен только при наличии признаков A и B , т. е. признак C имплицитно конъюнктивен ($A + B$); в символической записи: $C \subset (A + B)$ или $C \equiv (A + B)$.

(Определением считается второстепенный член, подчиненный типичной постоянной из области значений подлежащего — существительному; определение, вообще говоря, может встречаться при существительном в любой позиции; дополнением считается второстепенный член, подчиненный типичной (и единственной) постоянной из области значений сказуемого — глаголу; вообще говоря, дополнение может встречаться при глаголе в любой позиции, а также при прилагательном в любой позиции, кроме позиции препозитивного определения¹⁰; обстоятельством считается второстепенный член, подчиненный глаголу. Приведенная схема определяет члены предложения по их внутренним синтаксическим связям. Формально члены предложения определяются в базисном предложении позиционно. Пограничным сигналом является глагол-сказуемое. Подлежащее занимает позицию слева от глагола, дополнение — справа от глагола, обстоятельство — справа от дополнения, если оно имеется. Определение позиционно связано с существительным. Предикатив в данной схеме не рассматривается как особый член предложения. Его можно считать одним из типов глагольного восполнения, о чем будет сказано ниже.

Проблема равноправности главных членов или доминанции одного из них над другим решается различно, в зависимости от целей и материала исследования. Возможны, по-видимому, четыре решения: 1) подлежащее доминирует над сказуемым (традиционное понимание); 2) сказуемое доминирует над подлежащим (Л. Тенбер)¹¹; 3) главные члены предложения равноправны (А. Мейе, И. И. Мещанинов, А. И. Смирницкий, В. А. Ильиш)¹²; аналогично представляется возможным понимать отношение интерденденции Л. Ельмслева¹³ и двустороннюю направленность А. М. Мухина¹⁴; 4) класс *N* доминирует над классом *V* с точки зрения аппликативной, класс *V* доминирует над классом *N* с точки зрения конститутивной (концепция С. К. Шаумяна)¹⁵. Приведенная схема учитывает только два типа связи: подчинительную и неподчинительную (или соотносительную), которая может быть интерпретирована содержательно как предикативная. Сочинительная связь не учитывается, как не создающая новых позиций и тем самым не характерная для базисного предложения.

Области значений членов предложения могут быть упорядочены по тем или иным признакам. Например, для подлежащего можно составить таблицу (см. стр. 68).

Область значений сказуемого ограничена глаголом в личной форме, т. е. сказуемое базисного предложения находится в одно-однозначном соответствии с личным глаголом. Область значений дополнения отличается от области значений подлежащего в первую очередь надежной формой личных местоимений, а также некоторыми другими значениями. Основное различие подлежащего и дополнения заключается в независимой пози-

¹⁰ Возможна фраза *The child is asleep; the child asleep*; невозможна неотмеченная фраза: **The asleep child*.

¹¹ L. T e n b e r g e, *Eléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959.

¹² А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 367; И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М., 1957, стр. 48; А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, стр. 76—77; В. А. Ильиш, *The structure of English*, М., 1965.

¹³ Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960.

¹⁴ А. М. Мухин, Синтаксические связи и позиционная структура предложения в германских языках, «Тезисы докладов на IV научной сессии по германскому языкознанию», М., 1964, стр. 15.

¹⁵ С. К. Шаумян, П. А. Соболева, Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформации в русском языке, М., 1963, стр. 15; С. К. Шаумян, Трансформационная грамматика и аппликативная порождающая модель, сб. «Трансформационный метод в структурной лингвистике», М., 1964, стр. 19.

Таблица 1

Область значения подлежащего базисного предложения современного английского языка

Словоформы	Основные различительные признаки									
	Морфологические							Синтаксические		
	формы словоизменения		формы словообразования					счета- емость с ар- таклем	гла- голь- ное уп- равле- ние	пози- ция
	паден (им.)	число	-er, -men, и т. д.	-ive, -ic, и т. д.	-en	-ing	-th			
1. Местоимения личные	A ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	A
2. Существительные, неопр. местоимен. числит. количеств.	—	E ²	E	—	—	—	—	—	—	A
3. Субстантивов. прилагательные	—	E	—	E	—	—	—	A	—	A
4. Субстантивов. причастия	—	—	—	—	A ³		—	A	—	A
5. Числительные порядковые	—	—	—	—	—	—	A ⁴	A	—	A
6. Инфинитив	—	—	—	—	—	—	—	—	A	A
7. Герундий	—	—	—	—	—	A	—	—	A	A
8. Прочие	—	—	—	—	—	—	—	E	—	A

¹ Признак обязательности (всеобщий).

² Признак возможный (экзистенциальный).

³ Обязателен один из двух указанных суффиксов (исключающие «или»); суффикс *-en* условно обозначает суффикс причастия второго.

⁴ Исключая первые три порядковые числительные и соответствующие составные.

ции подлежащего и подчиненной позиции дополнения, входящего в предложение по лексико-синтаксическому признаку валентности глагола-сказуемого. Для всех членов предложения могут быть составлены таблицы, подобные приведенной выше; при этом область значений сказуемого, как будет показано ниже, подлежит описанию на уровне, отличном от уровня, принимаемого для всех других членов предложения.

2. Одной из фундаментальных проблем базисного предложения является проблема простого нераспространенного предложения. Для решения этой проблемы предлагается различать два синтаксических уровня: 1) уровень грамматики — уровень частей речи, формы которых образуют область значений членов предложения и 2) уровень лексико-грамматический — уровень подклассов частей речи с учетом их валентности¹⁶.

На грамматическом уровне для базисного предложения необходимы и достаточны два главных члена — подлежащее и сказуемое. По этому признаку стандартное базисное предложение противопоставляется другим моделям предложения — односоставным или двусоставным, не содержащим личного глагола. При отсечении одного из главных членов второй образует односоставное предложение — глагольное или именное. Второстепенные члены предложения входят в его состав через главное и не являются членами, конституирующими двусоставное предложение; они могут быть опущены без нарушения грамматического значения этого

¹⁶ Ср. предложенное Т. П. Ломтевым различение двух основных единиц синтаксиса: предложения и позиционного звена предложения. См.: Т. П. Ломтев, Основы синтаксиса русского языка, М., 1958.

предложения. На уровне подклассов частей речи учитывается валентность словоформ, являющихся типичными значениями главных членов предложения — существительного и глагола.

Валентность существительного представляет собой область еще неапротонутую систематическим исследованием; поэтому принимается, что определения являются элементами факультативными и группа существительного может быть заменена одним существительным как ее позиционным субститутом. Факультативными элементами следует признать и определительные обстоятельства¹⁷. Обязательными элементами простого нераспространенного предложения на уровне подклассов частей речи являются, следовательно, элементы, входящие в правую валентность глагола, т. е. именной член при связочном глаголе и именные или предложно-именные члены при глаголах полнозначных. На основании законченных к настоящему времени исследований (далеко неполных) подклассы глагола могут быть представлены на таблице по признаку возможных трансформаций соответствующих моделей предложения.

Таблица 2

Разбиение класса английского глагола на подклассы по признаку возможных трансформаций

Подкласс глагола	Валентность (дистрибутивная формула)	the Ving N	Пассив	to	Перестановка	+ Наречие	N ₂ V	Подстановка besote seet
1. V be	VN/VA	—	—	—	—	—	—	+
2. V be	VD	—	—	—	—	+	—	—
3. Vi run	V	+	—	—	—	—	—	—
4. Vt run	VN ₂	—	+	—	—	—	+	—
5. V take	VN ₂	—	+	—	—	—	—	—
6. V have	VN ₂	—	—	—	—	—	—	—
7. V look at	VpN ₂	—	+	—	—	—	—	—
8. V bring in	VpN ₂	—	++	—	+	—	—	—
9. V give	VN ₂ N ₃	—	+++	+	—	—	—	—
10. V put	VN ₂ pN ₃	—	+	—	—	—	—	—

1. *The dog was strong; the dog became strong; the dog seemed strong* «Собака была сильной; собака стала сильной; собака казалась сильной».

2. *We are; we are here* «Мы существуем; мы здесь».

3. *The child ran; the running child* «Ребенок бежал; бегущий ребенок».

4. *This turner runs 8 lathes; 8 lathes are run by him; 8 lathes run* «Этот токарь работает на 8 станках; 8 станков управляются им; 8 станков работают».

5. *Everybody reads the book; the book is read by everybody* «Все читают эту книгу; эта книга читается всеми».

6. *He has many friends* «У него (он имеет) много друзей».

7. *They looked at the picture; the picture was looked at* «(Они) смотрели на картину; на картину смотрели».

8. *They brought in the prisoner; they brought the prisoner in; the prisoner was brought in* «(Они) ввели узника; (они) узника ввели; узник был введен».

9. *I gave the boy two apples; I gave two apples to the boy; the boy was given two apples; two apples were given to the boy* «Я дал мальчику два яблока; я дал два яблока мальчику; мальчику дали два яблока; два яблока были даны мальчику».

¹⁷ См.: А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, стр. 227.

10. *They put the box on the table; the box was put on the table* «(Они) поставили ящик на стол; ящик был поставлен на стол».

Примечание: подклассы 5 и 7 различаются только дистрибутивными формулами.

Релевантность глагольной группы для модели предложения подтверждается тем, что в глагольной группе подчиненные члены предсказываются подчиняющим членом, тогда как в именной группе подчиняющие члены (а также и служебные слова) предсказывают член подчиняющий¹⁸. Указанное свойство глагола подтверждает правильность включения в понятие простого нераспространенного предложения, на уровне подклассов глагола, второстепенных членов, входящих в его валентность.

3. Другой фундаментальной проблемой базисного предложения является проблема его лексического наполнения. Здесь возможны по меньшей мере три пути исследования, каждый из которых учитывает те или иные факторы лексико-синтаксической сочетаемости элементов предложения, а именно: 1) исследование совпадения или расхождения показателей лексических, морфологических и синтаксических элементов предложения, 2) анализ основных и производных элементов предложения, 3) рассмотрение подклассов существительных. Совпадение лексических, морфологических и синтаксических показателей элементов предложения было выдвинуто А. И. Смирницким в качестве свойства простейших предложений¹⁹, например, в *I saw a black dog there* «Я видел черную собаку там» эти показания совпадают. Данное предложение может быть представлено в виде матрицы, в которой члены предложения и типичные для них части речи однозначно определяют обязательные позиции:

Таблица 3

	S	P	Ob	D	
N_1	1	0	0	0	замещение именительным падежом личных местоимений
V	0	1	0	0	
N_2	0	0	1	0	замещение объектным падежом личных местоимений
Adv	0	0	0	1	

Здесь *S* — подлежащее, *P* — сказуемое, *Ob* — дополнение, *D* — обстоятельство, *N* — существительное, *V* — глагол, *Adv* — наречие. Тот факт, что существительное встречается в матрице дважды, не означает отсутствия одно-однозначного соответствия между элементами строк и столбцов, поскольку формы существительного замещаются различными падежными формами личных местоимений. Прилагательное *black* является членом факультативным. Таким образом определяется одна из возможных моделей ядра английского языка.

¹⁸ Данное свойство именной группы отмечено А. Решкевичем, см.: A. Reszkiewicz, *Internal structure of clauses in English, An introduction to sentence pattern analysis*, Warszawa, 1963, стр. 7—20.

¹⁹ А. И. Смирницкий, *Синтаксис английского языка*, стр. 168 и 171. Ср. понятие первичной синтаксической функции у Е. Куриловича: Е. Курилович, *Деривация лексическая и деривация синтаксическая*, сб. «Очерки по лингвистике», М., 1962.

Различение основных и производных элементов предложения, получаемых в результате «трансляции» (транспозиции), предложено Л. Теньером. Наивысшей степенью производности по Л. Теньеру является производность последней словоформы в предложении: *Les beautés du monde d'ici-bas me donnent par avance une idée de jouir de celui de l'au-delà*. Аналогично можно представить соответствующую кальку в английском языке: *The beauties of this world give me in advance an idea of enjoying (the pleasures) of that of the here-after*. Недостатком концепции Л. Теньера является неразличение словообразования средствами аффиксации и средствами синтаксической транспозиции. Этот недостаток устранен в структуральной модели С. К. Шаумяна, в которой словообразование средствами аффиксации (первый такт) отделено от порождения классов слов путем отображения класса на класс через отношение.

Подклассы существительных русского языка отмечены еще А. М. Пешковским²⁰. Т. П. Ломтев эпизодически различает подклассы существительных одушевленных и неодушевленных в связи с идентификацией моделей предложения²¹. На материале английского языка проблема разбиения существительных на подклассы разрабатывается в ряде статей и диссертаций наших молодых англистов²². Существительные современного английского языка, по-видимому, целесообразно разбивать на одушевленные, с дальнейшим разбиением на «лицо» (заместители *he, she*) и «не-лицо» (заместитель *it*) и неодушевленные, с дальнейшим разбиением на конкретные и отвлеченные.

4. Порядок следования элементов в базисном предложении представляется целесообразным рассматривать в следующей последовательности: 1) элементарные трансформации базисного предложения, которые включают подстановки вопросительных слов, изменение порядка следования элементов, введение вспомогательных и служебных слов и создают различные коммуникативные типы предложения²³; 2) расхождения грамматического и актуального членения; основной проблемой здесь, по-видимому, является исследование начальной позиции, в которой может оказаться а) «тема» высказывания — исходная позиция без эмфатического выделения, контекстуально обусловленная и б) «рема» — ядро высказывания, эмфатически выделенное. Учет стилистических факторов членения предложения требует предварительного рассмотрения простого распространенного предложения.

5. В понятие простого распространенного предложения представляется целесообразным не включать так называемые полусложные предложения (предложения с «вторичной предикацией» по традиционной терминологии, предложения «с повторяющимся N» Харриса²⁴ или — с большей широтой охвата — предложения, включающие двойную син-

²⁰ А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 47.

²¹ Т. П. Ломтев, О некоторых вопросах структуры предложения, ФН, 1959, 4, стр. 8.

²² См. работы Ю. А. Крутикова, Л. С. Алексеевой, Л. М. Беляевой, Г. С. Качкиной, В. И. Перебейнос. Ср. замечания Хомского о ядерных предложениях типа *The man ate the food*, число которых, по предположению, должно быть конечным (Н. Хомский, Три модели описания языка, «Кибернетический сборник», М., 1961, 2, стр. 263).

²³ В этой связи следует отметить непоследовательность, допущенную Ч. Фризом, который сопоставляет предложения *The man has paid, Has the man paid, Have the man paid*, несмотря на то, что в последнем случае возникает иная ситуация, чем в первых двух. См.: С. Н. С. Фриес, *The structure of English*, London, 1963, стр. 146.

²⁴ З. Харрис, Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 603.

таксическую связь по А. М. Мухину²⁵). Основными проблемами простого распространенного предложения являются: 1) проблема включения всех факультативных членов в группы главных членов (возможность самостоятельных факультативных членов) и 2) проблема обособления (проблема индексации интонационными средствами, своего рода «расширение алфавита естественного языка»²⁶). Указанные проблемы являются пограничными проблемами грамматики и стилистики. Дальнейшие разделы трансформационного синтаксиса можно давать в виде возможных трансформаций двух и большего числа простых предложений, рассматривая сложные и полусложные предложения как трансформы простых.

6. Обращаясь к содержанию базисного предложения и признавая вслед за А. М. Мухиным²⁷ целесообразность различения 1) содержания синтаксических единиц как совокупности дифференциальных синтаксических признаков — синтаксем, или синтаксических сем и 2) значения синтаксических единиц, понимаемого глобально, необходимо отметить, что путь, избранный А. М. Мухиным — от содержания к форме, — не является единственно возможным. Вполне допустимым является и путь от формы к содержанию. Список синтаксических сем (синтаксем, по терминологии А. М. Мухина) уже подводит к возможности определить содержание позиции подлежащего базисного предложения современного английского языка.

Для словоформ в позиции подлежащего, по А. М. Мухину, возможны две семы: субстанциальная (носителя качества), представленная личными местоимениями в именительном падеже и замещаемыми ими существительными, и субстанциальная (агентивная), представленная теми же формами. Первая из названных сем, очевидно, возможна при сказуемом, представленном связочным глаголом и именным членом — прилагательным. Представляется возможным назвать здесь семы именного члена субстанциальной или адъективной семой постоянного признака. Вторая из названных сем, очевидно, возможна при сказуемом, представленном полнозначным глаголом. Представляется возможным назвать здесь сему глагольного сказуемого семой действия (признака переменного). По-видимому, в набор сем, входящих в содержание позиции подлежащего, следует включить также субстанциальную сему идентифицируемого предмета, возможную при субстанциальной семе идентифицирующего признака, входящей в содержание именного члена при глаголе-связке. Отсюда представляется допустимым понимать содержание базисного предложения как двух соотносительных пучков синтаксических сем указанного выше содержания. Это содержание уточняет традиционное глобальное понимание значения базисного предложения как «предмета, характеризуемого признаком» (постоянным или временным).

Припоминая известное положение А. И. Смирницкого о возможности выражения одних и тех же двусторонних синтаксических отношений различными типами синтаксических связей²⁸, подходим и к пониманию семантического инварианта как тождественного соотношения пучков синтаксических сем, являющегося содержанием различных синтаксических построений с двумя или большим числом элементов. Тем самым

²⁵ А. М. Мухин, Функциональный анализ синтаксических элементов, М., 1964, стр. 42, 44.

²⁶ Представляется допустимым модифицировать таким образом термин абстрактной теории алгоритмов. См.: В. М. Глушков, Введение в кибернетику, Киев, 1964, стр. 10.

²⁷ Там же, стр. 257—258.

²⁸ А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, стр. 191.

открывается возможность уточнить наиболее спорное положение трансформационного синтаксиса.

7. Признание трансформационного синтаксиса одним из возможных направлений современного языкознания не противоречит тому неоспоримому факту, что полное описание всевозможных случаев лексико-синтаксической сочетаемости словоформ естественного языка во всех возможных предложениях немыслимо без учета единиц, не только синтаксических, но и морфологических и лексических. Представляется вполне правильным, что «предложение создается в результате взаимодействия всех видов языковых единиц»²⁹ и что «в речи создается сложный клубок взаимодействия различных языковых единиц: лексических, морфологических и синтаксических; лексическое значение слова как части речи может вступать в противоречие с содержанием слова как члена предложения»³⁰. Однако, поскольку полное описание какого-либо естественного языка на уровне индивидуальных словоформ вряд ли выполнимо в обозримых пределах, можно полагать, что путем к распутыванию указанного клубка является намеченный выше путь трансформационного синтаксиса. Представляется, далее, совершенно несомненным, что трансформационный синтаксис не только не снимает, но предполагает важность дальнейшего углубленного рассмотрения проблем сущности основных синтаксических единиц и их отношений.

²⁹ О. С. А х м а н о в а, Г. Б. М и к а э л я н, *Современные синтаксические теории*, М., 1963, стр. 130.

³⁰ Там же, стр. 148.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. В. БРОМЛЕЙ, Л. Н. БУЛАТОВА

ОБ ЭТАЛОНЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ МОРФОЛОГИИ
РУССКИХ ГОВОРОВ

1.1. Для всякого сопоставительного описания языковых систем требуется эталон (метаязык). Для удобства сопоставления целесообразно использовать такой эталон, из которого описываемые системы в пределах одного уровня можно выводить путем определенных однородных операций.

Этому требованию отвечает эталон, который занимает одно из полярных положений по отношению к описываемым системам: он может представлять собой или наиболее простую систему, из которой каждая описываемая система может быть получена в результате определенного развертывания, или, напротив, наиболее сложную систему, из которой любая описываемая система может быть получена в результате определенного свертывания. Будем называть вслед за А. А. Холодовичем систему первого типа *минимальной системой*, а систему второго типа *максимальной системой*¹.

Минимальная система в качестве эталона хороша своей простотой. При помощи такого эталона легко выделяется общий фонд описываемых систем и осуществляется сопоставление этих систем по их относительной сложности. Однако применение в качестве эталона минимальной системы не дает возможности выразить отношение между теми элементами описываемых систем, которые не принадлежат к общему фонду и тем самым не получают отражения в самом эталоне.

Сопоставимость описываемых систем между собой в полной мере обеспечивается эталоном, представляющим собой максимальную систему. Максимальная система является как бы пространством, в котором расположены описываемые системы, причем каждый элемент одной системы получает точное (в пределах детализации системы эталона) соответствие с элементами любой другой системы.

Для говоров одного языка или близкородственных языков, обладающих в значительной степени как типологической близостью, так и материальной общностью, на фоне которых выступают многочисленные различия в конкретных элементах, сопоставимость отдельных элементов разных систем приобретает весьма существенное значение. Поэтому для сопоставительного описания русских говоров, обладающих значительной близостью, максимальная система, несмотря на свою громоздкость и некоторые другие неудобства, о которых будет сказано ниже, является наиболее приемлемым эталоном.

1.2. Впервые максимальную систему для сопоставительного описания диалектных систем применил Р. И. Аванесов, описавший таким методом

¹ А. А. Х о л о д о в и ч, Вопросы типологического описания языков, «Совещание по типологии восточных языков. Тезисы докладов». М., 1963, стр. 7.

состав гласных и состав согласных фонем русских говоров². Мы ставим перед собой задачу применить максимальную систему в качестве эталона для сопоставительного описания морфологии русских говоров.

1.3. Максимальная для русских говоров морфологическая система не представлена ни одним из реальных говоров; она должна быть построена искусственно³. Максимальная система, построенная в соответствии с выдвинутыми требованиями, будет являться определенной абстракцией, поскольку она, не совпадая ни с одной из систем реальных говоров, представляет собой по отношению ко всему ряду описываемых диалектных систем некую суперсистему. Но при этом ее строение целиком определяется системами конкретных говоров, из которых она строится таким образом, что полученная система представляет собой теоретико-множественную сумму их элементов⁴.

Из этого вытекает, что максимальная система в окончательном виде может быть построена только после изучения всех говоров, описываемых при ее помощи. Это является определенным неудобством, поскольку включение в сопоставительное описание какого-то нового говора, не учтенного при построении максимальной системы, может привести к ее изменению. К сожалению, это неудобство непреодолимо, поскольку все возможные диалектные разновидности русского языка не могут быть предсказаны. Но практически оно не так велико, чтобы отказаться от построения максимальной системы, имеющей существенные преимущества перед другими возможными эталонами сопоставительного описания говоров⁵.

Чем больше говоров мы привлечем при построении максимальной системы, тем меньше вероятности, что при включении в сопоставительное описание новых говоров потребуются существенные изменения эталона. Так, для описания морфологии русских говоров уже при данном состоянии их изученности можно построить систему-эталон, которая, вероятно, не потребует значительных изменений в дальнейшем и сможет служить не только эталоном описания говоров, но и программой для изучения остальных русских говоров.

2.1. Метаязык, который мы строим для описания морфологии русских говоров, обладает морфологическими единицами, аналогичными единицам отдельных говоров. Определим те из единиц реальных говоров, которыми мы будем оперировать в данной статье: грамматическая категория, морфема, морф, алломорф, вариант.

Под грамматической категорией понимается «общее значение, выражаемое путем противопоставления взаимоисключающих друг друга по частным значениям рядов форм»⁶. В плане выражения минимальной единицей, соответствующей частному грамматическому значению или комплексу частных грамматических значений разных грамматических

² Р. И. Аванесов, Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1947, 3; Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949.

³ Р. И. Аванесов, описывая отдельно состав гласных и состав согласных фонем, находил для каждого из них максимальную систему среди реальных говоров. Для сопоставительного фонологического описания одновременно гласных и согласных фонем в сильном и слабом положениях максимальная для всех русских говоров система, по-видимому, также должна была бы быть построена искусственно.

⁴ Б. А. Успенский, Некоторые вопросы структурной типологии. Автореф. канд. диссерт., М., 1963, стр. 11—12.

⁵ Кстати, заметим, что минимальная система, понимаемая как теоретико-множественное произведение, обладает в качестве эталона тем же недостатком.

⁶ Л. С. Бархударов, Д. А. Штеллинг, Грамматика английского языка, 2-е изд., М., 1963, стр. 21

категорий (например, падеж и число существительных; род, падеж и число существительных), является в речи морф, а в языке морфема.

Под морфом понимается минимальный значимый отрезок речи⁷. Синонимичным морфам в речи соответствует в языке одна единица — морфема. Морфы, представляющие одну и ту же морфему, являются по отношению друг к другу алломорфами или вариантами (например, морфы *-ом*, *-ой*, *-ойу*, *-йу* образуют морфему твор. падежа ед. числа существительных, ср. *столом*, *селом*, *водой*, *водою*, *лошадью*). Алломорфами мы будем называть морфы, находящиеся в отношениях дополнительного распределения. В нашем примере *-ом*, *-ой* (*-ойу*), *-йу* являются алломорфами. Вариантами мы будем называть морфы, не находящиеся в отношениях дополнительного распределения (в нашем примере *-ой* и *-ойу*)⁸.

Словоформы, содержащие данную морфему, распадаются на классы в зависимости от того алломорфа, которым в них представлена данная морфема. Назовем такие классы дистрибутивными. Алломорфы взаимноисключают друг друга в одном дистрибутивном классе и взаимозамещают друг друга в разных дистрибутивных классах. Варианты взаимозамещают друг друга в одном дистрибутивном классе. Из этого следует, что если среди морфов, представляющих данную морфему, одни пары являются алломорфами, а другие — вариантами, то варианты можно рассматривать как разновидности определенных алломорфов. Так, в нашем примере *-ой* и *-ойу* являются вариантами одного алломорфа, находящегося в отношениях дополнительного распределения к остальным морфам (*-ом*, *-йу*), представляющим данную морфему. Если все морфы, представляющие данную морфему, являются по отношению друг к другу вариантами, то можно считать, что данная морфема представлена одним алломорфом, разновидностями которого являются эти варианты.

2.2. Метаязыку в плане содержания приписываются все грамматические категории, известные говорам, а в пределах каждой категории — все частные значения, получаемые взаимным наложением частных значений, обнаруживаемых в пределах данной категории в отдельных говорах. При этом, если ограничивать задачу сопоставительного описания морфологических систем планом выражения, вполне достаточно приписать метаязыку только определенную структуру плана содержания, не определяя самих грамматических значений. Это можно осуществить взаимным наложением всех свойственных говорам систем противопоставляемых друг другу форм, так как каждая из противопоставляемых форм соответствует одному частному значению данной категории. Так, например, противопоставление во многих южно- и среднерусских говорах форм *у сестре* и *нет сестры* свидетельствует о том, что в этих говорах в пределах категории падежа выделяются такие частные грамматические значения, которые в других говорах покрываются одним значением. Приписывая оба этих значения метаязыку как некие самостоятельные единицы плана содержания, мы можем не определять, что представляют собой эти значения, т. е. какими дифференциальными признаками они отличаются.

В плане выражения метаязыка находят свое отражение только те единицы описываемых говоров, которые определяют в них структуру плана выражения, а не ее реальное наполнение, а именно морфемы и алломорфы. План выражения метаязыка строится таким образом, что

⁷ В данной работе мы будем иметь дело только с морфами, имеющими грамматическое значение.

⁸ См. аналогичное определение этих единиц в статье З. М. Волоцкой и Т. Н. Молошиной «О некоторых понятиях морфологии», сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963.

каждая морфема ставится в соответствие или с одним частным грамматическим значением метаязыка (если в отдельных говорах соответствующее частное грамматическое значение имеет самостоятельное выражение), или с комплексом грамматических значений разных категорий (если в отдельных говорах они выражаются комплексно).

Следует отметить, что одни и те же частные грамматические значения или одни и те же ряды частных грамматических значений выражаются во всех русских говорах одинаково: или везде изолированно или везде комплексно.

Количество алломорфов, которое приписывается той или иной морфеме метаязыка, определяется количеством дистрибутивных классов метаязыка; последние в свою очередь находятся в зависимости от систем дистрибутивных классов отдельных говоров. Поскольку во многих случаях и количество дистрибутивных классов и их объем в разных говорах не

Дистрибутивные классы отдельных говоров					Дистрибутивные классы метаязыка		
A	B	C	D	E			
-ам 1	-ами 1 -ми 2 -ами 1	-ами 1 -ами 2	-ами 1 -ми 2 -ами 3	-ами 1 -ми 2 -ами 3 -ами 1	1		сущ с удар оконч
					2	список N	
					3	сущ на заднеб.	сущ с безудар оконч
					4		

совпадают, то система дистрибутивных классов метаязыка должна включать не только максимальное число классов, выделяющихся в отдельных говорах, но и их пересечения. Иначе говоря, дистрибутивные классы метаязыка получаются наложением дистрибутивных классов отдельных говоров друг на друга.

Проиллюстрируем это на примере формы твор. падежа существительных мн. числа. Опираясь дистрибутивными классами, мы будем, где это возможно, указывать их признаки, а в остальных случаях вводить список. В русских говорах представлено пять разбиений словоформ существительных, содержащих морфему твор. падежа мн. числа, на дистрибутивные классы в зависимости от алломорфов, которыми в них представлена эта морфема. На схеме эти разбиения проиллюстрированы на примере некоторых говоров (см. рис.).

При разбиении A все существительные мн. числа образуют один дистрибутивный класс, которому в нашем примере соответствует алломорф -ам. Примеры: *домам, дням, лошадям, бабам, старухам, неделям*.

При разбиении B выделяются два дистрибутивных класса. Один из них, представленный алломорфом -ами, включает все существительные мн. числа, кроме ряда слов с ударными окончаниями⁹ (*лошади, лоды, дети...*), который мы назовем списком N; второй класс, представленный алломорфом -ми, составляют существительные списка N. Примеры: *доми, днями, бабами, старухами, неделями, но лошадыми, детьми...*

⁹ Здесь и далее имеется в виду ударение в форме твор. падежа.

При разбиении *C* выделяются два других дистрибутивных класса. К первому классу, представленному алломорфом *-ами*, относятся все существительные с ударенными окончаниями, а ко второму классу, представленному алломорфом *-ими*, — все существительные с безударными окончаниями. Примеры: *домами*, *днями*, *лошадьми*, но *бабыми*, *старухими*, *неделими*.

При разбиении *D* выделяются три класса. К первому классу, представленному алломорфом *-ами*, относятся все существительные с ударенными окончаниями минус список *N*, ко второму классу, представленному алломорфом *-ми*, — список *N*, а к третьему классу, представленному алломорфом *-ими*, — все существительные с безударными окончаниями. Примеры: *домами*, *днями*; *лошадьми*; *бабыми*, *старухими*, *неделими*.

При разбиении *E* выделяются также три, но уже других класса: один из них, представленный алломорфом *-ми*, составляют, как и при разбиении *D*, существительные списка *N*; второй класс, представленный алломорфом *-ими*, составляют уже не все существительные с безударными окончаниями, а только те из них, которые имеют основу на задненебный согласный¹⁰; третий класс, представленный алломорфом *-ами*, составляют все остальные существительные. Примеры: *домами*, *днями*, *бабами*; *лошадьми*; *старухими*.

Во всех остальных русских говорах мы встретимся с одним из пяти уже рассмотренных разбиений, хотя морфы, которыми в них представлены дистрибутивные классы, могут быть иными (например, при распределении *A* вместо морфа *-ам* может выступать морф *-ами*). Следует также отметить, что алломорф *-ми* в разных говорах представлен разным числом слов, но мы пока пренебрегаем этим различием, условно рассматривая соответствующий класс как тождественный во всех говорах.

При наложении систем дистрибутивных классов отдельных говоров друг на друга получаем четыре класса, которые представляют собой дистрибутивные классы метаязыка: 1) существительные с ударенными окончаниями минус список *N*; 2) список *N*, представляющий собой совокупность всех слов, входящих в соответствующий класс в отдельных говорах; 3) существительные с безударными окончаниями и основой на задненебный согласный; 4) существительные с безударными окончаниями и основой на незадненебный согласный. Соответственно морфеме твор. падежа мн. числа существительных приписывается четыре абстрактных алломорфа.

Рассмотренные нами вопросы не исчерпывают всех проблем, связанных с построением системы-эталона для сопоставительного описания морфологии русских говоров, но дают представление о характере избранного нами эталона, его отношении к системам описываемых говоров и о методе его построения.

3.1. Описание одного говора через единицы метаязыка осуществляется путем последовательного сопоставления отдельных компонентов системы говора с соответствующими компонентами метаязыка. При этом для каждого из сопоставляемых компонентов говора и метаязыка возможно одно из двух соотношений: 1) одному компоненту метаязыка соответствует один компонент в говоре; 2) двум или нескольким компонентам метаязыка в говоре соответствует один компонент. Применительно к единицам метаязыка, рассмотренным в статье, сопоставление говоров с метаязыком заключается в следующем.

¹⁰ Пренебрежем здесь существительными с основой на мягкий согласный (например, *недели*), место которых при данном разбиении нам пока неизвестно.

Проверяется, всем ли морфемам метаязыка соответствуют в говоре отдельные морфемы. Если в пределах одной и той же грамматической категории каждое частное значение, выделяющееся в метаязыке, имеет соответствие в говоре, то морфемы метаязыка и говора совпадают. Если в пределах одной и той же грамматической категории двум или несколькими частным значениям, выделяющимся в метаязыке, в говоре соответствует одно значение, то морфемам метаязыка, выражающим данные значения (отдельно или в пределах связанных комплексов), в говоре соответствует одна морфема.

Устанавливается соответствие между дистрибутивными классами метаязыка и дистрибутивными классами описываемого говора. При этом двум или несколькими дистрибутивным классам метаязыка может соответствовать один дистрибутивный класс говора. Указывается, каким морфом или какими морфемами (при наличии вариантов) представлен каждый дистрибутивный класс говора.

Таким образом очерчивается та часть пространства метаязыка, которой соответствует система данного говора.

3.2. При сопоставительном описании русских говоров осуществляется сравнение систем разных говоров через единицы метаязыка. Это дает возможность выделить элементы, общие для всех говоров или отдельных групп говоров, и элементы, отличающие разные говоры или отдельные группы говоров, и установить роль одних и тех же материальных элементов в системах разных говоров.

Таким образом можно выделить грамматические категории, свойственные всем русским говорам (например, категории числа, рода, падежа), и категории, известные только части говоров (например, категория перфективности); установить, какие формы различаются в пределах той или иной категории во всех говорах и какие известны только части говоров; установить типы склонения и спряжения, обязательные для русских говоров (т. е. известные всем говорам) и необязательные (т. е. известные лишь части говоров); установить соотношение морфов, представляющих одну и ту же морфему (через отношение к дистрибутивным классам метаязыка); установить минимальный и максимальный объем классов¹¹, представленных одним и тем же алломорфом в разных говорах. В задачи сопоставительного описания говоров входит также оценка относительной сложности описываемых систем. Ее критерием может служить количество шагов на разных этапах свертывания, необходимое для выведения систем описываемых говоров из метаязыка.

Таким образом, сопоставительное описание морфологии русских говоров, осуществленное с помощью метаязыка максимального типа, должно представлять собой типологическое описание, содержащее одновременно и описание материальных элементов морфологических систем.

¹¹ Проиллюстрируем максимальный и минимальный класс алломорфа на прежнем примере с твор. падежом существительных мн. числа Алломорф *-ами* встречается во всех диалектных системах, отражающих наши пять разбиений, кроме той, где единственный дистрибутивный класс выражен алломорфом *-ам*, но минимально он представлен существительными с ударенными окончаниями минус список *N* (см. разбиение *D*), а максимально — всеми существительными, выступая в этом случае в качестве диалектного варианта алломорфа *-ам* (см. разбиение *A*).

В. А. МОСКОВИЧ

ОПЫТ КВАНТИТАТИВНОЙ ТИПОЛОГИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

В данной статье кратко излагаются результаты сравнительного описания семантических полей цветообозначений в ряде европейских языков. Основные цели исследования можно сформулировать следующим образом: 1) описать семантическое поле отдельного языка при помощи статистической методики; 2) наметить пути сопоставительного изучения семантических полей языков в письменной форме («прагматически-квантитативная» типология семантического поля); 3) наметить пути сопоставительного изучения семантических полей языков в устной форме («системно-квантитативная» типология).

Анализируя доступные нам описания, мы пришли к выводу, что в различных языках мира обнаруживается по крайней мере три типа систем цветообозначений: 1) объединяющая цвета по тону: индоевропейские, семитские, тюркские, кавказские, китайский, японский и другие языки; 2) объединяющая цвета по светлоте: суахили, аравак, баганда, хануно, чукотский, эвенкийский и другие языки; 3) объединяющая цвета по признаку «холодности» — «теплоты»: язык басса.

Цветовые впечатления передаются в языках по-разному в силу следующих причин: 1) непрерывного характера референта; 2) условий освещения; 3) практической заинтересованности людей в обозначении групп тонов; 4) различной частоты, с которой те или иные тона встречаются в окружающей природе; 5) различия словесных ассоциаций; 6) различий в типах грамматических структур разных языков.

При построении «прагматически-квантитативной» типологии семантического поля мы исходим из конкретной данности языка, т. е. из текста. Существуют условные вероятности сочетаемости слов друг с другом в предложении. Эти вероятности называются в нашей работе грамматикой сочетаний смыслов. Грамматика сочетаний смыслов различна как для разных стилей одного языка, так и для разных языков. Правила этой грамматики определяются в каждом языке следующими факторами: 1) спецификой распределения слов по частям речи; 2) способом отображения действительности; 3) языковой традицией (т. е. результатом множества процессов некоторого отбора, имевших место в диахронии), запрещающей одни сочетания смыслов, консервирующей другие и разрешающей сочетание третьих. Структура семантического поля выявляется через его роль в грамматике сочетаний смыслов, в свете сочетаемости цветообозначений с другими словами в тексте.

Исходя из текста и списка исследуемых слов, попытаемся осуществить статистическое описание этой группы слов.

Выдвигается гипотеза о том, что по соотношению частотностей слов, принадлежащих к одному и тому же семантическому полю, можно судить о внутреннем строении поля. Гипотеза проверялась на выборке, состоящей из текстов английской художественной прозы объемом 1,5 млн. слов. Подсчет сравнительной частотности цветообозначений показал, что семантическое поле цветообозначений английского языка трехслойно:

опо состоит из группы наиболее частотных слов (*green, blue, black, grey, yellow, white, red, brown*), группы слов средней частотности (*orange, rose, purple, pink* и др.) и группы редких слов (*azure, maroon, creamy* и др.), причем каждая группа характеризуется своей величиной коэффициента вариативности¹. Дифференцированное рассмотрение выборок с различными стилевыми показателями позволяет очень четко отграничить группу наиболее частотных цветообозначений.

Деление семантического поля цветообозначений на три группы слов по частотности характерно не только для английского языка. Анализ текста украинской художественной прозы длиной в 0,5 млн. слов позволил выделить эти три группы и на материале украинского языка. Состав каждой из групп оказался иным, чем в английском языке, что указывает на различия структур семантических полей этих языков.

Вторая гипотеза, подвергшаяся проверке, состоит в следующем: между частотностью слова в речи и его активностью в языке существует тесная зависимость; группы цветообозначений, различающиеся по уровню частотности, неравноценны и по уровню активности; стратификация семантического поля по признаку частотности совпадает с его стратификацией по признаку активности².

Степень наличия каждого из 4 аспектов активности слова — его полисемии, словопроизводства, словосложения и фразеологии — оценивалась по толковому словарю Вэбстера и «взвешивалась» на шкале оценок, унифицированной для всех аспектов. Среднее арифметическое всех четырех оценок данного слова служило его коэффициентом активности. Величина коэффициента активности может изменяться в пределах от 0 до 1. Например, коэффициент активности слова *black* оказался равным 0,85, *purple* — 0,42, *crimson* — 0,15. Слова с близкими величинами коэффициентов активности объединялись в группы. Оказалось, что можно четко выделить три уровня слов: высокой, средней и низкой активности. Все три уровня совпадают с уже полученными в предыдущем эксперименте уровнями цветообозначений по частотности.

Был вычислен коэффициент ранговой корреляции между частотностью слов и их активностью. Он равен +0,99, т. е. приближается к функциональной зависимости³.

Эксперименты по сопоставлению индексов частотности и активности слов были повторены еще несколько раз на материале разных выборок и разных толковых словарей английского языка. Однако ранги слов в списках по убывающей частотности и убывающей активности настолько близки, что коэффициент ранговой корреляции ни разу не опустился ниже минимума +0,93. Обнаруженная зависимость характерна не только для английского языка. Эксперимент, проведенный на материале украинского языка, показал, что и в этом случае коэффициент ранговой корреляции равен +0,98.

¹ Коэффициент вариативности определяют по формуле $V\% = \pm \frac{100\sigma}{M}$ (1),

где $V\%$ — коэффициент вариативности, σ — среднее квадратическое отклонение, M — среднее арифметическое.

² Под частотностью слова понимается то количество раз, которое данное слово встречается в обследованных текстах, под активностью — способность слова к словопроизводству, словосложению, образованию фразеологизмов и полисемии.

³ Коэффициент ранговой корреляции вычисляется по формуле $\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^3 - n}$ (2),

где n — число сравниваемых пар слов, d_i — разница между рангами данного слова в соответствующих последовательностях. См.: Р. М. Фрумкина, Статистические методы изучения словарного состава. Канц. диссерт., М., 1962, стр. 102.

Из этих результатов вытекает ряд следствий. По частотности слова (категории речи) можно судить об его активности (категории языка) и наоборот. Система слов, выявленная статистическим путем, является достаточным приближением к языковой системе.

Семантическое поле цветообозначений английского языка неоднородно, а состоит из трех ярусов слов: слов с широкими значениями, слов с более узкими значениями и слов еще более узкой семантики. Слова первого яруса — самые частотные и самые активные слова семантического поля цвета. Несколько уступают им по этим показателям слова второго яруса. На последнем месте по показателям частотности и активности стоят цветообозначения третьего яруса.

Важно при этом отметить, что чисто семантическая классификация цветообозначений по объему их значений оказывается хотя и правильным, но весьма грубым приближением к действительной системе семантического поля. Стратификация семантического поля по частотности и активности слов позволяет проверить и уточнить представления о строении семантического поля, опирающиеся на интуицию.

На основании гипотезы о том, что семантическую связь двух прилагательных можно установить путем анализа их сочетаемости с существительными, т. е. если два прилагательных встречаются очень часто с одним и тем же списком существительных, то между ними существует семантическая связь, попытаемся определить связи между словами семантического поля цветообозначений. Установление связей между словами проводится путем выполнения ряда вычислений. Подсчитывается вероятность встречаемости каждого прилагательного цвета, затем математическое ожидание встречаемости каждого прилагательного цвета с каждым существительным. Находятся абсолютные отклонения реальной встречаемости этих прилагательных с существительными от их теоретической встречаемости. Затем определяется коэффициент корреляции каждой пары прилагательных цвета. Он рассчитывается по формуле:

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{\sum x_i^2 \cdot \sum y_i^2}} \cdot 100\%, \quad (3)$$

где r — коэффициент корреляции двух прилагательных цвета, x_i — абсолютное отклонение первого прилагательного в сочетании с каждым существительным, y_i — абсолютное отклонение второго прилагательного с каждым существительным.

Высокий коэффициент корреляции двух прилагательных указывает на то, что они семантически связаны, низкий — на то, что их связь слаба⁴.

Наша выборка состояла из 725 карточек с 16 разными прилагательными цвета английского языка, сочетающимися с 21 разными существительными. Рассмотрение схемы связей между цветообозначениями, полученной в результате выполнения всех необходимых операций, приводит к следующему выводу. Обозначения темных оттенков и холодных тонов (*black, gray, brown, blue, chestnut, hazel*) образуют одну группу, светлых оттенков и теплых тонов — вторую (*white, fair, fallow, yellow, pink, scarlet, red, ruddy*). Соединяет обе группы слово *purple*, стоящее между

⁴ Методика разработана А. Я. Шапкинцем в его статье «Распределение слов в тексте и выделение семантических полей языка» (сб. «Иностранные языки в высшей школе», 2, М., 1963, стр. 14—26) и применена в исследованиях, выполненных под его руководством (см.: А. И. Прудкер, Дистрибутивно-статистический анализ семантического поля, «Проблемы формализации семантики языка. Тезисы докладов», М., 1964).

red и *blue*. Эти факты отлично согласуются с нашим интуитивным представлением о связях слов семантического поля цвета.

Системный характер организации семантического поля обнаруживается даже при анализе материала исключительно статистическими методами. Наши данные указывают на наличие определенного иерархического строения поля цветообозначений. Микросистема цветообозначений в значительной степени структурирована. Она представляет собой частично упорядоченное множество слов. Отношения между этими словами обладают свойствами связности, нетранзитивности и асимметричности⁵.

Наиболее легкий путь сравнения слов двух языков — анализ словарных статей соответствующих слов этих языков. Для оценки преимуществ и недостатков этого пути исследования было проведено сравнение словарной статьи английского слова *yellow* и ее соответствий в пяти индоевропейских языках. В силу того, что лежащие в основе сопоставления словари составлены на разных принципах и с разной степенью подробности, можно получить лишь самое общее представление о сходствах и различиях семантики сравниваемых слов. Фактор системной организации лексики остается за рамками анализа⁶.

В целях подлинно строгой типологии семантики могут быть использованы только словари, совмещающие в себе достоинства алфавитных, частотных и «идеологических» словарей. Типологии определенного уровня языков предшествует составление серьезных описаний данного уровня этих языков; хороших описаний семантики нет — отсюда следует необходимость составить эти описания и на их основе переходить к вопросам собственно типологии семантики. Эти соображения заставили нас принять следующую процедуру исследования. Рассматриваем совокупность текстов на одном языке в объеме, удовлетворяющем требованиям строгости статистического описания. Строим модель семантического поля этого языка. Затем подвергаем анализу перевод этих текстов на другой язык и выявляем отображение модели семантического поля первого языка во втором языке⁷. Модели семантических полей обоих языков оказываются сопоставимыми. Единственно, что меняется при анализе, — это структура языка. Все остальные факторы — индивидуальный стиль писателя, влияющие тематики произведения на распределение слов в тексте — снимаются. Индивидуальный стиль переводчика нейтрализуется тем, что исследуемая выборка включает разные произведения, переведенные разными людьми (она состоит из русской художественной прозы 9 авторов — текста длиной в 818 тыс. слов, его английского перевода — 1 млн. 31 тыс. слов и французского перевода — 1 млн. 80 тыс. слов). Отмечается встречаемость следующих русских слов и их переводов: *алый, багровый, белый, бронзовый, бурый, голубой, желтый, зеленый, золотой, коричневый, красный, лиловый, малиновый, медный, огненный, оранжевый, пунцовый, ржавый, розовый, рыжий, румяный, седой, серебристый, серый, сизый, синий, сиреневый, смуглый, темный, фиолетовый,*

⁵ Связными называются отношения, существующие между всеми парами слов поля. Отношения такого типа, что из существования их между парами *a, b*, с одной стороны, и *b, c* с другой, следует их существование между *a* и *c*, называются транзитивными. Отношения симметричны, если они существуют как между *a* и *b*, так и между *b* и *a*. См.: С. С. С т и в е н с, Математика, измерение и психофизика, сб. «Экспериментальная психология», I, М., 1960, стр. 38.

⁶ Ср.: Н. G l i n z, Worttheorie auf strukturalischer und inhaltsbezogener Grundlage, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 1059

⁷ Ср.: А. Б. Д о л г о п о л ь с к и й, Изучение лексики с точки зрения трансформационно-переводного анализа в языке, «Лексикографический сборник», 5, М., 1962, стр. 73—83.

черный. Наиболее частотный перевод слова языка *A* на язык *B* будем считать его эквивалентом в языке *B*. Если слово языка *A* имеет много разных переводов на *B*, и притом ни один из них не отличается большой частотностью, то принимается, что это слово не имеет эквивалента в языке *B*. Суммируя частотность слов-эквивалентов в языках *A* и *B* и соотнося их с общей частотностью всех исследуемых слов в *A* и *B*, получаем характеристику меры семантической близости языков *A* и *B*. Она вычисляется по формуле:

$$\delta_{a,b} = \frac{s^2}{kl}, \quad (4)$$

где $\delta_{a,b}$ — мера близости, s — частотность слов-эквивалентов, k — частотность всех слов семантического поля языка *A*, l — частотность всех слов семантического поля языка *B*⁸.

Учитывая как эквивалентность корней, так и эквивалентность грамматических конструкций, в которых выступают соответствующие друг другу слова, можно рассчитать меры лексической близости языков.

Меры семантической и лексической близости микросистем цветообозначений русского, английского и французского языков равны:

Пары языков	Семант. близость	Лексич. близость	Разность семант. и лексич. близости
Русско-англ.	0,85	0,64	0,21
Русско-франц.	0,89	0,59	0,30
Англо-франц.	0,82	0,67	0,15

Величина разницы между семантической и лексической близостью русского и французского языков свидетельствует о том, что лексические системы этих двух языков отличаются наибольшим своеобразием при взаимном сравнении, чем другие пары рассматриваемых нами языков. Наоборот, английский и французский языки очень близки лексически. Все три пары языков обнаруживают большую семантическую близость (более 0,8 при 1 как максимуме).

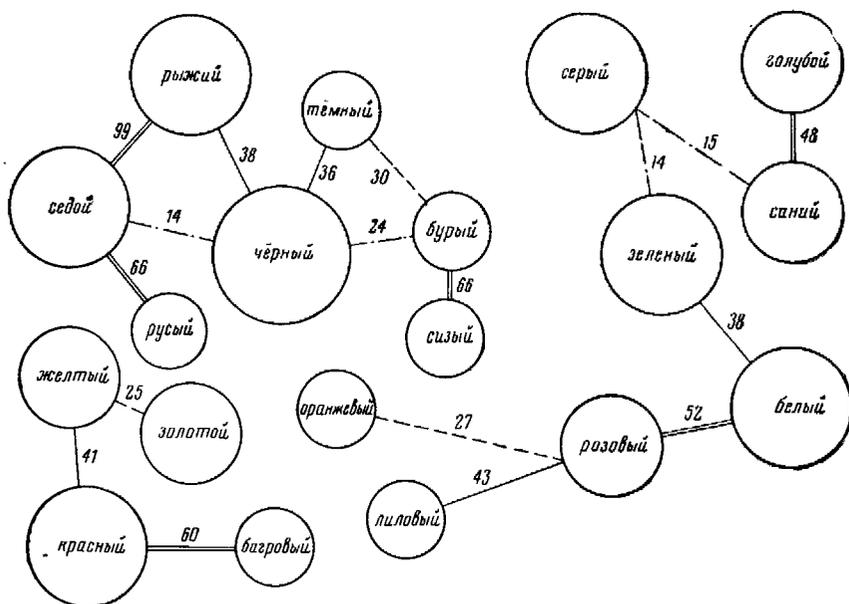
Вычисляя по формуле (4) меры близости каждой пары эквивалентных слов рассматриваемых языков, мы заметили, что слова высокой частотности ближе друг к другу и семантически и лексически, чем менее частотные слова. Чем более частотным является слово, тем больше разница между его семантической и лексической близостью со словом-эквивалентом другого языка. У редких слов семантическая и лексическая близость совпадают, а меры семантической близости ниже, чем у частых слов.

Если возвратиться к введенному ранее понятию активности слова, то данный факт получает следующее объяснение. Наиболее частотные слова отличаются и наибольшей активностью — в частности, и наибольшим количеством дериватов. Поэтому они в лексическом отношении разнообразнее редких слов, и вся сложность организации лексической системы языка падает именно на них. Специфика лексической системы языка заключена в наиболее частотных словах этого языка, специфика его семантики — в наиболее редких словах.

Попытаемся дать детальную характеристику своеобразия каждого из рассматриваемых языков. Для этого вычислим меру лексической конденсации смысловых компонентов и меру их семантической конденсации в каждом из языков. Меру лексической конденсации в языке *A* можно получить, соотнеся общее количество сложных слов языка *A* с количеством их эквивалентов — сложных слов в языке *B*. Меру семантиче-

⁸ Ю. И. Левин, Об описании системы лингвистических объектов, обладающих общими свойствами, ВЯ, 1964, 4.

ской конденсации определим путем соотношения всего количества простых слов языка *A* — глаголов и существительных — с тем количеством их соответствий в языке *B*, которые выражены сочетанием двух простых слов — глагола и прилагательного, прилагательного и существительного. При мерах лексической и семантической конденсации компонентов в русском языке, равных 1, в английском языке они равны соответственно — 0,43 и 0,40, во французском — 0,02 и 0,56. Русский язык отличается высшей степенью лексической и семантической конденсации компонентов, распространенностью модели сложного и сложнопроизводного слова.

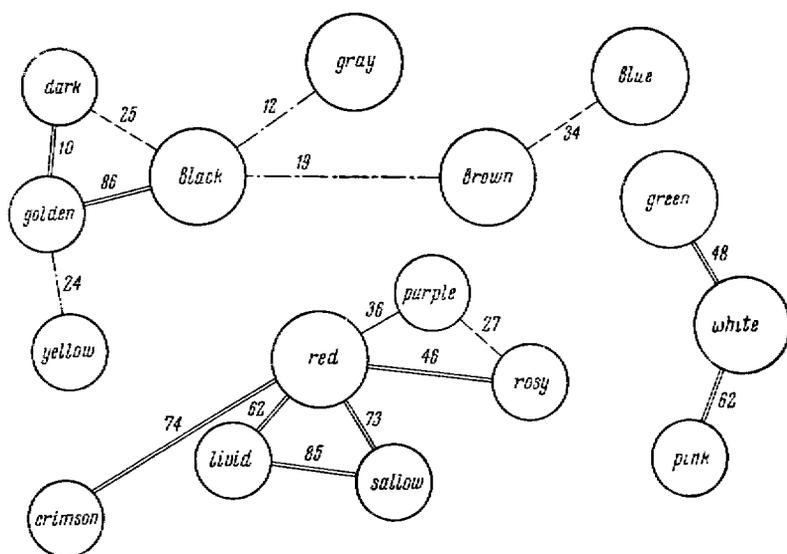


Р и с. 1. Силы связи между цветообозначениями русского языка

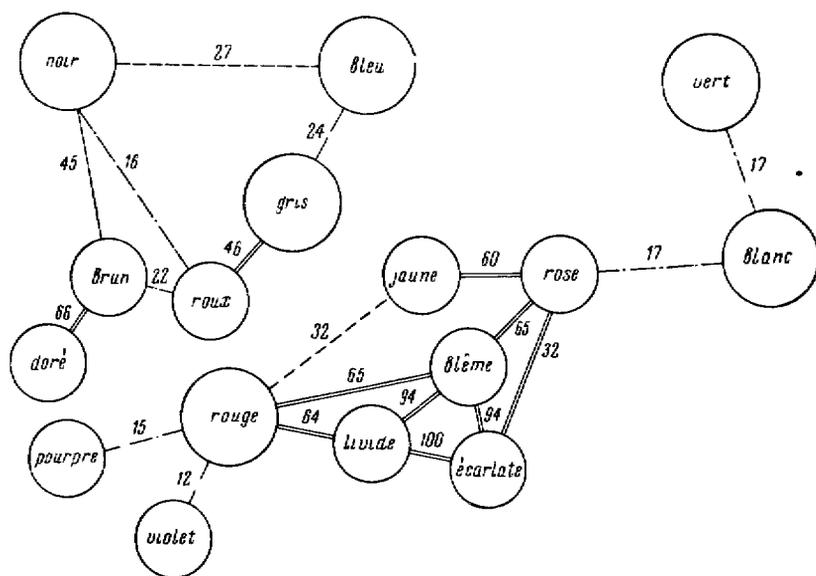
широкими деривационными возможностями, французский — отсутствием модели сложнопроизводного слова и слабым использованием модели сложного слова, большими деривационными возможностями. Английский язык занимает по этим показателям промежуточное положение.

Используя методику установления корреляционных связей между словами (см. выше, стр. 82), мы выявили на материале переводных карточек сопоставимые схемы семантических полей цвета трех рассматриваемых языков (см. рис. 1, 2 и 3)⁹. Сравнивая их, мы пришли к выводу, что специфика каждого из языков заключается в наличии особых слов с узкой лексической дистрибуцией и слов с широкой дистрибуцией, но небольшой частотности. Например, в русском языке выделяются по силе корреляционных связей четыре группы слов: 1) *чёрный*, *рыжий*, *седой*, *русый*, *тёмный*, *бурый*, *сизый*; 2) *красный*, *багровый*, *жёлтый*, *золотой*; 3) *белый*, *зеленый*, *розовый*, *оранжевый*, *лиловый*; 4) *серый*, *голубой*, *синий*. Группировка слов в общем соответствует расположению цветов в спектре. Исключение составляют слова, обозначающие цвет волос — *рыжий*, *седой*, *русый*: они оказываются тесно связанными со словом *чёрный*, что объясняется ограниченностью их дистрибуции.

⁹ При изображении на схемах связей между цветообозначениями принимается следующая градация силы связи: 12—25% — слабая связь (пунктирная линия); 25—35% — средняя связь (прерывистая линия); 35—45% — сильная связь (сплошная линия); 45% и выше — очень сильная связь (две сплошные линии).



Р и с. 2. Силы связи между цветообозначениями английского языка



Р и с. 3. Силы связи между цветообозначениями французского языка

Все наши подсчеты были проведены на материале переводов с русского языка. Для выяснения вопроса о том, не изменяется ли картина семантики сравниваемых языков при изменении направления перевода, мы проанализировали две дополнительные выборки — одну с французским языком как исходным (61 тыс. слов), вторую — с английским как исходным (140 тыс. слов). Оказывается, что анализ выборок с другим языком как исходным не мог бы изменить полученных нами результатов.

Можно предполагать, что задача построения типологии семантики упрощается при тематической рубрикации анализируемого текста. Это

предположение было проверено на материале английского газетного текста длиной в 3 млн. 13 тыс. слов. Подсчет совместной встречаемости цветообозначений-прилагательных с разными существительными проводился отдельно в каждой из следующих тематических рубрик текста: 1) политическая хроника (1 млн. 150 тыс. слов); 2) спорт (943 тыс. слов); 3) искусство (200 тыс. слов); 4) литературная критика (165 тыс. слов); 5) рабочая жизнь (150 тыс. слов); 6) садоводство (135 тыс. слов); 7) кулинария (70 тыс. слов); 8) рассказы для детей (67 тыс. 500 слов); 9) реклама (67 тыс. 500 слов); 10) судебная хроника (52 тыс. слов).

В 4 из 10 выделенных тем — спорт, садоводство, кулинария и реклама — списки существительных, сочетающихся с прилагательными цвета, немногочисленны и четко ограничиваются характером темы.

Статистический анализ сочетаемости прилагательных-цветообозначений с существительными в русской научной прозе (биология — 400 тыс. слов, геология — 70 тыс. слов) позволил выяснить, что характер каждого специального текста налагает значительные ограничения на сочетаемость слов. Эти результаты приводят к выводу, что в ряде случаев усложненность семантической организации текста сводится до минимума, что может быть использовано для скорейшего достижения массового МП.

При сравнении семантических полей цвета разных языков мы опирались на переводные тексты. Можно ли добиться сопоставимости статистических описаний семантического поля в разных стилях одного языка таким же способом? В принципе мы должны отрицательно ответить на этот вопрос. Однако существует один весьма редкий случай, когда приближение к подобной идеальной сопоставимости оказывается реальным. Речь идет о случаях «внутреннего» перевода — с одного стиля на другой. Имеются литературные произведения, написанные одним и тем же автором на одну и ту же тему, но в разных жанрах. При сопоставлении текстов, написанных в этих жанрах, сохраняется тождество авторов и тождество тем. Единственное, что остается нестабильным, — стиль.

Опыт сопоставления семантического поля цвета в художественной прозе и поэзии, проведенный нами на выборках длиной в 102 тыс. слов прозы и 25 тыс. слов соответствующей ей поэзии 4 русских авторов, показал, что семантическое поле по-разному строится в стилевых разновидностях одного языка.

Если типологическое изучение семантики языков в письменной форме возможно путем статистического анализа переводных текстов, то при работе с устной речью исследователь попадает в иную ситуацию. Текста с самого начала нет. Его необходимо собрать и обработать для дальнейшей оценки. Остро стоит проблема такого способа собирания материала, когда данные рассматриваемых языков оказались бы сопоставимыми. Отсюда возникает необходимость составления адекватных вопросников. Данные, полученные с помощью этих вопросников, не являются связными текстами. Поэтому их статистическая обработка становится принципиально невозможной.

Несмотря на всю трудность построения типологии семантики языков в устной форме (говоров), разрешение этой задачи представляется нам весьма важной. Типология говоров широка по охвату разных систем. Системы эти очень близки друг к другу в сфере одного языкового коллектива, так что открывается возможность улавливания самых тонких вариаций плана содержания и постановки вопроса о закономерностях семантического развития. Известно, что контактирование языков происходит прежде всего в сфере устной речи. Здесь возникает проблематика, связанная с взаимодействием различных говоров на определенных территориях.

Материал исследования был собран во время диалектологических экспедиций 1958—1964 гг. и включает описание 150 говоров различных языков — русского, белорусского, украинского, болгарского, польского, румынского, идиш, цыганского, албанского, гагаузского и др.¹⁰

		1 (красный)			2 (желтый)			3 (зеленый)			4 (синий)			5 (белый)			6 (черный)			7 (серый)		
		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1 (красный)	a	[штриховка]																				
	b		[штриховка]																			
	c																					
2 (желтый)	a	[штриховка]																				
	b		[штриховка]																			
	c																					
3 (зеленый)	a	[штриховка]																				
	b		[штриховка]																			
	c																					
4 (синий)	a		[штриховка]																			
	b			[штриховка]																		
	c																					
5 (белый)	a		[штриховка]																			
	b			[штриховка]																		
	c																					
6 (черный)	a		[штриховка]																			
	b			[штриховка]																		
	c																					
7 (серый)	a		[штриховка]																			
	b			[штриховка]																		
	c																					

Т а б л и ц а. Образец заполненной таблицы типологии семантического поля цвета (переходный украинско-белорусский говор дер. Орехово Брестской обл.): 1 — *чырвоны*, 2 — *жыты*, 3 — *зыл’оны*, 4а — *н’ебесны*, 4в, с — *сыны*, 5 — *бiлы*, 6 — *чорны*, 7 — *сiвы*, 1а, с × 4в — *лохачовы*, 1а × 4в — *сыр’ен’евы*, 1в × 7в — *рыжы*, 1в × 6а — *бурачк’овы*, 1в × 5а — *оцон’жывы*, 1в × 1в — *вышн’бвы*, 1а, в × 5в — *ружбовы*, 2в × 1а — *помаранч’овы*, 2в × 6в — *цыц’бвы*.

При непосредственной записи фиксировался номер образца цвета и соответствующее ему название. В целях типологии семантических полей цвета разных говоров удобно представить этот материал в форме таблицы. По вертикали и горизонтали размещаются 7 цветовых компонентов: (1) красный, (2) желтый, (3) зеленый, (4) синий, (5) белый, (6) черный, (7) серый. Каждый из компонентов имеет три модификатора: (а) светлый, (б) средней светлоты, (с) темный. Все цветообозначения говора размещаются внутри таблицы (см. табл.). Например, название фиолетового цвета попадает в квадрат с координатами 1 а, b, с × 4 b, коричневого — 1 а, b, с × 7 b и т. д.

Для того чтобы учесть при типологическом сравнении различную значимость цветообозначений, приписываем каждому из них определенный вес. Основным цветообозначениям — компонентам нашей таблицы приписываем вес 2. Так как все остальные цветообозначения кодируются

¹⁰ По каждому говору опрашивалось не менее 3 информантов. Предъявлялись образцы цвета размером 7 × 7 см. Форма вопроса: «Как называется этот цвет?», «Что означает слово x?», «Какие масти коров знаете? Дайте названия и описание».

в таблице как сочетание двух компонентов, выражаем их вес величиной вдвое меньшей — 1.

Мера близости семантических полей двух говоров вычисляется по формуле:

$$\sigma_{a,b} = \frac{\left(\sum_{(a,b)} m_i \right)^2}{\sum_{(a)} m_i \cdot \sum_{(b)} m_i}, \quad (5)$$

где $\sigma_{a,b}$ — мера близости a и b , $\sum_{(a,b)} m_i$ — сумма весов цветообозначений,

совпадающих в a и b , $\sum_{(a)} m_i$ — сумма весов всех цветообозначений a ,

$\sum_{(b)} m_i$ — сумма весов всех цветообозначений b ¹¹.

В результате вычислений по формуле (5) мы получили 630 цифр, характеризующих меру близости семантических полей цвета каждой пары говоров. Мера типологической близости соответствует генетической классификации говоров: украинские, русские, болгарский, польский и сербохорватский говоры ближе друг к другу, чем к румыно-молдавским, обнаруживающим в свою очередь тесную близость между собой.

Вводятя две типологические характеристики семантического поля цвета: разветвленность (количество лексем с ограниченной лексической дистрибуцией) и ширина дистрибуции (мера использования лексем общей подсистемы цветообозначений в специализированных терминологических подсистемах).

Установлены 3 порога разветвленности: если особых лексем, не совпадающих с лексемами общей подсистемы, в говоре более 7, семантическое поле говора получает индекс *OP* — очень разветвленное, если их более 4 — *P* — разветвленное, менее 4 — *HP* — неразветвленное. Ширина дистрибуции определяется следующим образом. Строятся сетки максимальных амплитуд дистрибуций ряда лексем. Материал каждого говора в отдельности накладывается на эти сетки, и по конфигурации лексем на сетках мы судим о ширине дистрибуции лексем данного говора¹².

Между шириной дистрибуции и разветвленностью существует обратно пропорциональная зависимость: при узкой дистрибуции наблюдается сильная разветвленность (говоры славянских языков), при широкой — неразветвленность (некоторые говоры идиш). Это соотношение, характеризующее каждую группу генетически родственных говоров, нарушается при языковом контакте. Ширина дистрибуции независима от типа культуры, разветвленность тесно связана с ним (ср. сильную разветвленность цыганских говоров в области коневодства при отсутствии специфической лексики в других подсистемах цветообозначений).

Переходим к анализу взаимоотношений фигур плана содержания и фигур плана выражения т. е. к рассмотрению закономерностей семантических переходов в рамках семантического поля.

Выделяются сильные и слабые звенья системы. Сильными называются лексемы, сохраняющиеся на всей территории данной группы говоров, слабыми — обнаруживающиеся в разных говорах замены другими лексемами. Анализ всего набора различных значений, в которых зарегистрирована одна и та же «сильная» лексема в разных говорах приводит к выводу, что расхождения этих говоров носят большей частью неслу-

¹¹ См.: Ю. И. Левин, указ соч

¹² Ср.: Н. И. Толстой, Из опытов типологического исследования славянского словарного состава, ВЯ, 1963, 1.

чайный характер. Так, например, варьирование значений укр. *рудый* от семантемы «коричневый» до семантемы «серый» находит типологическую параллель в говорах других языков — сербохорватского и румынского. Если представить семантему «коричневый» как сочетание двух элементарных смыслов — «красный» и «серый», то нетрудно заметить, что в основе семантического варьирования лексемы *рудый* лежат определенные соотношения элементарных смыслов¹³. Тем самым еще раз подтверждается правомерность построения типологии семантических полей разных говоров путем выделения универсального для этих семантических полей списка элементарных смыслов.

При анализе семантических расхождений необходимо постоянно учитывать фактор системной организации лексики. Например, необычное совмещение значений «голубой» и «красный с белыми пятнами» (о скоте) у одного и того же слова *голубой* в говоре дер. Шестовичи Гомельской обл. можно объяснить лишь тем, что второе значение дистрибутивно ограничено. Каждым из значений слово входит в разные подсистемы цветообозначений: общую и специализированную. Только относительная изолированность подсистем создает возможность подобного сосуществования значений [ср. серб.-хорв. *зелен* «зеленый» и «серый» (об овце)].

Наш диалектный материал изучался также и с точки зрения влияния языковых контактов на перестройку системы цветообозначений.

Теория языкового контактирования — частный случай типологии языков. Поэтому для изучения контактов применяется стандартное типологическое описание. В метрополии языка *A* описывается «чистый» тип *A*, в метрополии языка *B* — «чистый» тип *B*. В пограничной зоне языков *A* и *B* исследуются различные вариации «смешанного» типа *C*. Выясняется мера типологической близости *A* и *B*, *A* и *C*, *B* и *C* и определяется степень сдвига $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$.

Типологические индексы говоров одного языка и одной группы языков ближе друг к другу, чем индексы говоров разных языков и разных групп языков. В результате контакта эта генетическая близость может разрушиться. Системы цветообозначений части говоров идиш и цыганского языка под влиянием славянских языков оторвались от основного типа говоров соответствующих языков и приблизились к типу, характерному для славянских языков.

Разносторонние влияния на группу близкородственных говоров связанных общностью территории, ведет к значительному удалению этих говоров друг от друга. Так случилось с украинскими говорами Буковины, одна часть которых подвергалась воздействию румынского языка, другая — русского и третья — немецкого и польского.

Часты случаи одностороннего влияния одной системы на другую без обратной связи. Изолированный островок русского языка (с. Белая Криница Черновицкой области УССР) подвергся воздействию окружающих украинских и румынских говоров, не оказав на них ответного влияния. Это вызвано тем, что социально-культурная эволюция определяется большим количеством народонаселения.

В результате влияния одной системы цветообозначений на другую происходят внутривидовые преобразования семантического поля, выражающиеся в изменении формы, значения и дистрибуции слов.

¹³ Насколько мне известно, первая попытка интерпретации семантических изменений как утраты одного из компонентов значения была предпринята В. В. Левинцем в работе «Опыт применения компонентного анализа для объяснения причин семантических изменений» (рукопись, 1963). Ср. также: W. Schmidt, Lexikalische und aktuelle Bedeutung, Berlin, 1963, стр. 29—30.

В одном из экспериментов изучался билингвизм при сохранении одинакового престижа обеих конкурирующих систем. Были описаны две «чистые» системы цветообозначений: украинского литературного языка и гуцульского говора этого языка. Была выявлена и «смешанная» система цветообозначений носителей говора — учащихся в возрасте 10—13 лет. В течение учебного года на уроках украинского литературного языка проводились упражнения на усвоение литературной лексики, после чего был проведен вторичный опрос учащихся. Результаты его в общем совпали с результатами первого опроса. Это позволяет сделать вывод, что при билингвизме с сохранением одинакового престижа обеих конкурирующих систем достигается некоторое устойчивое состояние «смешанной» системы. Оно является оптимальным, поэтому разрушить его не удается даже искусственным путем.

Из проведенного исследования можно сделать следующий вывод. Использованные методы сопоставления семантических полей цвета разных языков оказались эффективными. Следует ожидать, что применение этих методов к другим семантическим полям может оказаться полезным. Ограничение исследования рамками семантического поля цветообозначений значительно уменьшает доказательную силу полученных результатов. Тем не менее некоторые из них, как например, связь частотности и активности слова, увеличение меры своеобразия семантики с ростом ранга частотности и лексики — с уменьшением ранга, представляют определенный интерес в общелингвистическом плане. Можно считать, что построение квантитативной типологии отдельного семантического поля в разных языках осуществимо на тех путях, которыми мы следовали в данной работе ¹⁴.

¹⁴ Автор приносит благодарность Р. С. Гинабург, Н. И. Толстому, А. Я. Шайкевичу, О. С. Широкову и коллективу полесской диалектологической экспедиции за ценные критические замечания по работе.

И. А. МЕЛЬЧУК
О ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ «ПОЛУГЛАСНЫХ»
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Э. И. Левинтовой

Проблема фонологического статуса испанских звуков, которые обычно называют «полугласными» — [i], [j], [u], [w] — неоднократно обсуждалась в лингвистической литературе¹, однако до сих пор она не получила окончательного решения. Поэтому представляется целесообразным привести некоторые соображения в пользу одной возможной фонологической трактовки этих звуков.

1. Изложим фонетическую картину, в рамках которой возникает фонологическая проблема «полугласных»².

В испанской речи имеется два ряда звуков:

1. 1.	[i] ³	[píno]	<i>pino</i>	«сосна»
2.	[i]	[báilê]	<i>baile</i>	«танец»
3.	[j]	[bjén]	<i>bien</i>	«хорошо»
4.	[j] ⁴	[jérbê]	<i>hierba</i>	«травя»
		[plájê]	<i>playa</i>	«пляж»
5.	[^d j]	[kôrd ^d juçá]	<i>cónyuge</i>	«супруг»
		[^d jérbê]	<i>hierba</i>	«травя» (разговорно-просторечное и диалектное произношение)

¹ Работы, посвященные этому вопросу, даются в подстрочных примечаниях к статье. Здесь укажем только следующие: Н. П. Карпов, Дифтонги в испанском языке, «Уч. зап. [ЛГПИИ им. Герцена]», 189. Факт-ивнстр. языков, 2, 1959; В. Малберг, Phonèmes labio-velaires en espagnol?, «Phonetica», 7, 2/3, 1961, стр. 85—94; В. Роттиер, [рец на кн.:] E. Alarcos Llorach, Fonología española, «Romance philology», 5, 2—3, 1951—1952, стр. 262—264; G. F. Arnould, A phonological approach to vowel, consonant and syllable in modern French, «Lingua», V, 3, 1956, стр. 253—287; A. Avram, Remarques sur les diphtongues du roumain, «Recherches sur les diphtongues roumaines», Bucarest — Copenhagen, 1959, стр. 135—143; G. Gougenheim, Eléments de phonologie française, Paris, 1935, стр. 25—29; A. Martinet, Remarques sur le système phonologique du français, BSLP, XXXIV, 1933.

² Сведения по фонетике испанского языка взяты в основном из классического труда Т. Наварро Томаса (T. Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, Madrid, 1957), послужившего базой для большинства аналогичных работ; отсюда же заимствована фонетическая транскрипция — с некоторыми чисто техническими изменениями. [e, ø, i, o] обозначают ослабленные *a, e, i, o* (в безударном положении); [ç] обозначает открытость, [˘] — неслоговость гласных; [a] обозначает отодвнутое назад *a*, [ɹ] — ослабленное *r*, [r̄] — многоударное («раскатистое») *r*. [p̄] или [p̄] — палатальное *p*, [λ] или [λ̄] — латерально-палатальное *l*, [b, d, g] — фрикативные *b, d, g*, [θ] и [ð] — глухой и звонкий интердентальные. Прочие знаки фонетической и фонологической транскрипции в пояснениях не нуждаются.

³ Здесь не рассматриваются закрытые, открытые и ослабленные варианты *i* и *u* как несущественные для нашей цели.

⁴ В литературе принята иная транскрипция: [y], [ÿ] и /y/ вместо наших [j], [^dj] и /j/. Мы отказались от такого использования знака *y*, поскольку этот же знак широко применяется для обозначения франц. и нем. *ÿ*.

II. 1.	[u]	[púro]	<i>puro</i>	«чистый»
2.	[u]	[áuto]	<i>auto</i>	«автомобиль»
3.	[w]	[bwéno]	<i>bueno</i>	«хороший»
4.	[ŵ]	[ŵésó]	<i>hueso</i>	«кость»
		[aŵakáɾ]	<i>ahuecar</i>	«выдалбливать»
5.	[^ε ŵ]	[^ε ŵésó]	<i>hueso</i>	«кость» (разговорно-просторечное и диалектное произношение)

Наличие этих звуков — кроме [ŵ] и [^εŵ] (о них см. ниже) — в фонетическом инвентаре испанского языка общепризнано; их фонетические и дистрибутивные характеристики хорошо известны.

Под цифрой 1 помещены гласные звуки, весьма близкие к русским ударным [í] и [ú] (*мир, лить... бысы, русский...*); [i] и [u] встречаются либо под ударением, либо в безударном положении не рядом с гласными, либо (изредка) в безударном положении между согласным и гласным: [bínɔ] *vino* «пришел», [rápido] *rápido* «быстрый», [fiál] *fiar* «доверять», [aβúxɐ] *aguja* «игла», [pulído] *pulido* «изящный», [ruál] *ruar* «бродить по улицам».

Под цифрой 2 стоят собственно «полугласные» звуки: степень раствора и время артикуляции звуков [i], [u] гораздо меньше, чем при [í], [ú]; [i], [u] встречаются только после гласных перед согласными или перед паузой: [áɪrɐ] *aire* «воздух», [r̄ɛi] *rey* «король», [aɪstrál] *austral* «южный», [mɔnláɪ] *Monlau* (фамилия).

Под цифрой 3 — «полусогласные» звуки. Еще более закрытые и краткие, чем [i], [u], они наделены некоторыми элементами фриктивности. Эти звуки — [j] и [w] — встречаются только после согласных перед гласными: [pjédra] *pedra* «камень» и [pwéɾte] *puerta* «дверь».

Положение осложняется в отношении звуков, представленных под цифрами 4 и 5. Для первого, «i-образного» ряда единодушно признается наличие двух согласных звуков: [ĵ] — палатальный звонкий фрикатив и [d̂] — тот же фрикатив с начальным консонантным элементом, приближающийся к аффрикату; многие (в том числе Наварро Томас) считают [d̂] аффрикатой. «Согласный» характер этих звуков проявляется, в частности, в том, что перед ними всегда происходит «озвончение» /s/ и /θ/, т. е. выбираются звонкие аллофоны этих фонем, как перед всеми звонкими согласными: [lazjérβes] *las hierbas* «травы»; [djeðjé^εŵes] *diez yeguas* «десять кобыл», ср. [lozbáŋkɔs] *los bancos* «скамьи», [izle] *isla* «остров», [ràðduraðéɾe] *raz duradera* «прочный мир». Звук [d̂] по нормам испанской орфоэпии обязателен после /n/ и /l/: [ɪn^{d̂}jektál] *inyectar* «впрыскивать», [ɛl^{d̂}ésɔ] *el yeso* «гипс»; в остальных позициях выступает [j]: [jérβe] *hierba* «трава», [aróβɔ] *aroyo* «поддержка». Однако в начале слова перед ударными гласными аффриката [d̂] свободно чередуется с фрикативным [ĵ], в зависимости от темпа речи, стиля произношения и т. д.: произношение [d̂jérβe] и под. считается допустимым⁵.

Что же касается второго, «u-образного» ряда, то поскольку авторы большинства работ по испанской фонетике и фонологии исходят из прямых указаний, содержащихся в книге Наварро Томаса, а Наварро Томас ничего не говорит в явной форме о существовании согласных звуков [ŵ]

⁵ Т. Наварро Томас, указ. соч., стр. 129.

и [s̥w̃], отличных от «полусогласного» [w] ⁶, положение о несимметричности обоих рядов в силу отсутствия в испанском языке согласных звуков [w̃] и [s̥w̃], симметричных звукам [j̃] и [d̃^h], стало почти прописной истиной. Между тем у самого Наварро Томаса можно найти косвенные указания, заставляющие признать существование звуков [w̃] и [s̥w̃]. Так, на стр. 108 сообщается, что перед [w] происходит озвончение /s/ и приводится пример: [Pozwésos] *los huesos* «кости»; однако на стр. 64 имеется пример, когда /s/ перед [w] не озвончается: [laswértel] *la suerte* «судьба». Далее указывается (стр. 142), что перед [w] происходит веляризация /n/ и даже выпадение /n/ с назализацией предшествующего гласного: [üwértol] *un huerto* «огород», [s̃iwésol] *sin hueso* «без кости»; в других местах даны примеры, когда /n/ перед [w] не веляризуется: [kõntinwõ] *continuo* «постоянный» (стр. 72), [afirmõ nwebmẽntel] *afirmõ nuevamente* «снова заявил(а)» (стр. 295). Из этих фактов можно делать вывод о наличии двух разных «w-образных» звуков: «полусогласного» [w] и согласного [w̃], обуславливающего озвончение предшествующих /s/ и /θ/ и веляризацию (или выпадение) предшествующего /n/. Кроме того, на стр. 64 говорится, что в начале слова и в интервокальном положении [w] приобретает более согласный характер: «в разговорной речи перед [w] может развиваться настоящий согласный звук, выступающий... в виде лабиализованного *g* или, реже, веляризованного *b*». Эти *g* и *b* целесообразнее рассматривать не как отдельные звуки, а как элементы сложного звука [s̥w̃] или [b̃w̃], аналогичные элементу [ç] в [ç̃]: ведь фрикативные аллофоны фонем, имеющих и взрывные аллофоны (т. е. /b/, /d/, /g/) в абсолютном начале в испанском языке не встречаются, а согласный призвук перед [w] в словах типа *hueso* является именно фрикативным ⁷.

Опираясь на эти данные, а также на свидетельства других авторов ⁸, мы ввели четвертую и пятую строки второго ряда — согласные звуки [w̃] и [s̥w̃]. Их распределение аналогично распределению звуков [j̃] и [d̃^h]: после /n/, /l/ — [s̥w̃], в начале слова и между гласными — [w̃]; однако в начале слова (а в некоторых стилях произношения — и между гласными) [w̃] и [s̥w̃] свободно чередуются.

Итак, мы рассматриваем два ряда фонетически родственных звуков — [i], [ĩ], [j], [j̃], [d̃^h] и [u], [ũ], [w], [w̃], [s̥w̃] — с нарастанием «согласности» от явно гласных [i], [u] до явно согласных [j̃], [d̃^h], [w̃], [s̥w̃] через две промежуточные ступени. Именно эти промежуточные звуки — «полугласные» [ĩ], [ũ] и «полусогласные» [j], [w] — создают трудность при фонологическом описании.

II. Относительно фонемной принадлежности рассматриваемых звуков существует несколько противоречащих друг другу суждений. Лишь одно единодушно признается всеми исследователями: наличие гласных фонем /i/ и /u/, к которым несомненно принадлежат звуки [i] и [u], а также наличие согласной фонемы /j̃/, к которой принадлежат фрикатив [j̃] и аффриката [d̃^h]. Эти положения принимаются нами за исходные.

В связи с прочими звуками обоих рядов высказывались следующие мнения:

⁶ Он транскрибирует [kwérðe] *cuerda* «веревка» и [wérfeno] *huérfano* «сирота» с одинаковыми [w] и в таблице испанских согласных звуков (указ. соч., стр. 82) дает только [w].

⁷ Т. Наварро Томас, указ. соч., стр. 64.

⁸ Прежде всего см.: Е. Алагос Логасх. *Fonología española*, Madrid, 1961, стр. 144—159.

1. Звуки [i], [j], [ɥ], [w] считаются аллофонами гласных фонем /i/ и /u/ соответственно. Такая точка зрения является наиболее распространенной⁹.

2. Звуки [w̃], [ɥ̃], если их существование признается, считаются либо аллофонами специальной согласной фонемы /w̃/ ¹⁰, либо реализациями последовательности фонем «/g/ + /u/» ¹¹.

3. Звуки [i], [j], [ɥ], [w] считаются аллофонами согласных фонем: [i] и [j] объединяются с [j̃] и [ɥ̃] в фонему /j̃/, а [ɥ] и [w] объединяются с [w̃] и [ɥ̃] в фонему /w̃/ ¹².

Этими мнениями не исчерпываются логически возможные трактовки рассматриваемых звуков. Так, например, можно относить к гласным фонемам только [i] и [ɥ], но не [j] и [w]; подчеркнем, однако, что нельзя поступать наоборот ¹³: так как [j] и [w] более «согласные», чем [i] и [ɥ], то если отрицать принадлежность звуков [i] и [ɥ] к гласным фонемам, тогда [j] и [w] заведомо не могут относиться к гласным. Можно также, отрицая принадлежность [i], [j], [ɥ], [w] к гласным, отрицать и их принадлежность к согласным, а считать их аллофонами особых негласных и несогласных фонем — глайдов ¹⁴. Можно принять для [i] и [j], с одной стороны, и для [ɥ] и [w], с другой, одинаковую трактовку, а можно — разную и т. д. Нет необходимости перебирать все логические возможности; поэтому перейдем к вопросу о том, из чего следует исходить, выбирая то или иное решение.

Не рассматривая здесь аргументов, выдвигавшихся в пользу той или иной точки зрения, подчеркнем только, что все они, являясь фактически и логически правильными, носят косвенный характер и поэтому ни один из них не оказался решающим. В рамках известной нам аргументации все предлагавшиеся трактовки остаются возможными; каждая имеет свои преимущества и свои недостатки. Возникает мысль: не проще ли выбрать решение, исходя из таких практических соображений, как принятая графика и орфография ¹⁵? Тогда «сомнительные» звуки следует

⁹ E. Alarcos Llorach, указ. соч.; O. L. Chavarría-Aguilar, The phonemes of Costa Rican Spanish, «Language», 27, 3, 1951, стр. 248—253; T. Navarro Tomás, указ. соч.; S. Saporita, A note on Spanish semivowels, «Language», 32, 2 (pt. 1), 1956, стр. 287—290 («Readings in linguistics», New York, 1958, стр. 403—404); S. Saporita, H. Contreras, A phonological grammar of Spanish, Seattle, 1962; I. Silva-Fuenzalida, Estudio fonológico del español de Chile, «Boletín de filología», VII, 1952—1953, стр. 153—176; G. L. Traeger, The phonemes of Castilian Spanish, TCLP, 8, 1939, стр. 217—222; е р о ж е, The phonemic treatment of semivowels, «Language», 18, 3, 1942, стр. 220—223.

¹⁰ J. D. Bowen, R. P. Stockwell, The phonemic interpretation of semivowels in Spanish, «Language», 31, 2, 1955, стр. 236—240 («Readings in linguistics», стр. 400—402); и х ж е, A further note on Spanish semivowels, «Language», 32, 2 (pt. 1), 1956, стр. 290—292 («Readings in linguistics», стр. 405); H. V. King, Outline of Mexican Spanish phonology, «Studies in linguistics», 10, 3, 1952, стр. 51—62; A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Berne, 1955, стр. 81—85; R. P. Stockwell, J. D. Bowen, I. Silva-Fuenzalida, Spanish juncture and intonation, «Language», 32, 4 (pt. 1), 1956, стр. 641—665 («Readings in linguistics», стр. 406—418).

¹¹ E. Alarcos Llorach, указ. соч.

¹² J. D. Bowen, R. P. Stockwell, The phonemic interpretation...; и х ж е, A further note...; R. P. Stockwell, J. D. Bowen, I. Silva-Fuenzalida, указ. соч.

¹³ «Нельзя» означает здесь «нельзя, если исходить (как это и делается в настоящей работе) из презумпции фонетической близости, т. е. при решении вопроса о фонемной принадлежности принимать во внимание и фонетические свойства».

¹⁴ О глайдах см.: Р. Якобсон, Г. М. Фант, М. Хадле, Введение в анализ речи, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 178—180.

¹⁵ Ср.: E. Vasiliu, On the category of «semi-vowels» in Rumanian, «Studia linguistica», 16, 1, 1962, стр. 29—33.

отнести к гласным, поскольку они обозначаются буквами *i* и *u*. Чтобы решить вопрос о наиболее целесообразной трактовке этих звуков, необходимо уяснить себе в самых общих чертах, каким требованиям должно удовлетворять распределение звуков по фонемам; для этого надо представить в целом основную задачу, решаемую лингвистикой, а в рамках этой задачи — место фонологии.

Мы исходим из того, что основная задача лингвистики состоит в создании моделей естественных языков и в разработке теории таких моделей. Модель языка есть логическое устройство (его можно представлять себе в виде инженерно реализованного автомата или в виде программы для электронной вычислительной машины), способное в большей или меньшей степени имитировать речевое поведение человека. Это значит, что *п р е ж д е в с е г о* модель языка должна «уметь» построить любое допустимое высказывание на данном языке, т. е. быть порождающей грамматикой этого языка или по крайней мере включать в себя такую грамматику¹⁶.

В частности, модель языка должна строить все словоформы этого языка. Для этого модель снабжается словарем морф, сопровождаемых необходимой информацией; в соответствии с правилами модели эти морфы соединяются друг с другом в словоформы. Естественно требовать, чтобы построенные моделью словоформы выдавались в фонетической записи, отражающей их реальное звучание, т. е. представляющей их в том виде, в каком они выступают в действительной речи. Однако в фонетической записи словоформ имеется значительная избыточность: многие элементы звуков полностью предсказываются из контекста. Представляется естественно следующее требование: в словаре морф *и з б ы т о ч н о с т ь* должна быть *м и н и м а л ь н а*; все, что может быть выведено из контекста с помощью достаточно простых правил, в словарь морф не записывается. Отсюда следует, что морфы в словаре модели должны записываться в терминах фонем — поскольку переход от звуков к фонемам означает устранение избыточности, предсказуемости. Другое важное для нас следствие из данного требования формулируется на стр. 98.

Следовательно, распределение звуков по фонемам должно обеспечивать такую фонологическую транскрипцию морф, из которой можно получить правильную фонетическую транскрипцию любых словоформ, состоящих из этих морф. Это, разумеется, не единственное условие к фонологической трактовке звуков речи, но оно является необходимым, и мы отвергаем любую фонологическую трактовку, при которой решение указанной задачи становится невозможным. Отметим, что слово «невозможный» употреблено здесь не в своем точном смысле. Мы говорим о *н е в о з м о ж н о с т и* порождения словоформ, если там, где интуитивно ощущается наличие простых и четких закономерностей, принятая фонологическая трактовка заставляет прибегнуть к обширным спискам, многочисленным исключениям и т. д. Под «возможностью» (или «осуществимостью») описаний в данной работе понимается возможность получения *д о с т а т о ч н о п р о с т ы х*, интуитивно приемлемых (для специалиста) описаний.

Итак, в определенных ситуациях фонологическое решение может оказаться далеко не безразличным для модели языка в целом: при одной фонологической трактовке некоторых звуков порождение правильных словоформ осуществимо, а при другой — нет. Наличие подобной си-

¹⁶ Изложенная здесь точка зрения сформулирована и развивается в работах Н. Хомского, М. Халле и ряда других, примыкающих к ним ученых. См., например: N. Chomsky, *The logical basis of linguistic theory*, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists», Cambridge (Mass.), 1962, стр. 509—574.

туации мы будем считать решающим аргументом в пользу первой трактовки.

Другими словами, в фонологическом споре предлагается аргумент, исходящий только из возможности осуществлять порождение фонетически правильных словоформ интуитивно приемлемым, т. е. достаточно простым способом.

Такой подход оказывается по существу (при всех очевидных отличиях, на которых останавливаться специально мы не будем) в русле идей московской фонологической школы (Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов, М. В. Панов, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров), для которой весьма характерно существенное использование морфологических соображений при решении фонологических проблем.

Теперь следует указать соответствующую ситуацию для нашего конкретного случая — для испанских «полугласных».

III. Мы будем исходить из следующих допущений:

1. Имеется вполне удовлетворительная фонетическая транскрипция (та, которую дает Т. Наварро Томас), с помощью которой можно записать любую речевую единицу, в том числе словоформу или часть словоформы (морфу).

2. Все испанские звуки, кроме «сомнительных» [i], [j], [u], [w], [ŵ], [ŝŵ], уже распределены по фонемам, причем звуки [i] и [u] принадлежат к фонемам /u/ и /u/; звуки [j] и [d̂j] принадлежат к фонеме /j/ ¹⁷.

Для нашей цели достаточно (и удобно) рассмотреть лишь часть описания испанской морфологии (т. е. описания совокупности испанских словоформ), а именно описание совокупности простых форм глагола (т. е. систему правил, порождающую все простые формы всех испанских глаголов). Данная система правил построена и описана отдельно ¹⁸; здесь мы ограничимся рассмотрением (без специального обоснования) только тех правил, на которые существенным образом опирается аргументация данной статьи.

Прежде всего коснемся вопроса об акцентуации испанского глагола. Ударение в глаголе подвижно: в одних формах оно падает на основу, в других — на тематическую гласную, в третьих — на окончание. При этом его место определяется тремя очень простыми правилами. Так, в настоящем времени во всех лицах ед. числа и в 3-м лице мн. числа ударение всегда падает на последнюю гласную основы, а в 1-м и 2-м лицах мн. числа — на тематическую гласную. Это правило вместе с двумя другими правилами акцентуации (которых мы не приводим) является составной частью системы, порождающей формы испанского глагола. После того как заданная форма построена из соответствующих морф, она подается на вход правил акцентуации (в частности — названного правила), которые приписывают ей ударение. (Это делается до перехода к фонетической транскрипции, так как выбор фонетической реализации ряда фонем зависит от их места относительно ударения.) Правила

¹⁷ Возможно, было бы целесообразно принять в качестве обозначения этой фонемы символ ее взрывного (основного) аллофона, как это делается для других согласных: [b], [b̂] — /b/; [g], [ĝ] — /g/ и т. д., т. е. писать /^{d̂}j/. Автор, однако, предпочел графически не перегружать фонемную транскрипцию. (Автор благодарит Н. А. Катагощину, обратившую его внимание на соображения последовательности в обозначениях.)

¹⁸ И. А. Мельчук, Об автоматическом морфологическом синтезе (на материале испанского языка), «Научно-техническая информация», 1965, 4, стр. 35—43; его же, Модель спряжения в испанском языке, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 9, 1965 (в печати).

акцентуации испанского глагола обладают абсолютной общностью — им подчиняются все без исключения глаголы.

Следовательно, в соответствии с требованием не записывать в словаре морф ничего такого, что можно вывести по достаточно простым правилам, и испанские глагольные морфы должны храниться в словаре без всяких помет об ударении.

Это последнее положение оказывается весьма существенным. Если признать его, то приходится признать и главное утверждение данной статьи: звуки [i̇], [u̇] и тем более [j], [w] нельзя относить к гласным фонемам /i/, /u/; в противном случае невозможно избежать порождения фонетически неправильных словоформ.

Это доказывается наличием в испанском языке таких пар глаголов, как *bailar* «танцевать» и *ahilar* «идти цепью». Фонетически их формы 1 sg. Pres. записываются как [báilɔ] и [aílɔ]; если в фонологической транскрипции обозначить [i̇] и [i] одинаково — как /i/ и записать их корневые морфы как /bail-/ и /ail-/, то формы 1 sg. Pres. будут порождаться так: /bail + o/ → /bailo/ → */baílo/ («в 1 sg. Pres. ударение падает на последнюю гласную основы», см. выше, правило акцентуации) → *[baílɔ] и /ail + o/ → /ailo/ → /aílo/ → [aílɔ]. При этом одна из форм оказывается неправильной: *[baílɔ] вместо [báilɔ]. Если же попытаться изменить правила акцентуации — так, чтобы в 1 sg. Pres. ударение падало не на последнюю гласную основы в случае, если это /i/ или /u/ после гласной, а на предпоследнюю гласную, то неправильной окажется другая форма: *[áilɔ] вместо [aílɔ]. Для [u̇] и [u] также имеется совершенно аналогичная ситуация: глаголы *causar* «причинять» и *rehusar* «отвергать», формы 1 sg. Pres. [káusɔ] и [r̄éusɔ]; если записывать их корневые морфы, не различая [u̇] и [u] в фонологической транскрипции, то одна из форм обязательно будет фонетически неправильной: при нашем правиле акцентуации /kaus + o/ → /kausɔ/ → /kaúso/ → *[kaúso], при измененном правиле /reus + o/ → /reuso/ → /r̄éuso/ → *[r̄éuso].

Приведенные примеры отнюдь не являются единичными; укажем еще несколько глаголов, где отнесение [i̇] к /i/, а [u̇] к /u/ обязательно повело бы к порождению неправильных форм (типа *bailar* — *causar* и типа *ahilar* — *rehusar*): *arraigar* [aṽáigɔ] «искоренять» — *ahijar* [aíxɔ] «усыновлять»; *pairar* [práirɔ] «дрейфовать» — *ahincar* [aíɲkɔ] «горячо настаивать»; *reinar* [r̄éinɔ] «царствовать» — *rehilar* [r̄éilɔ] «дрожать»; *peinar* [pé̇nɔ] «причесывать» — *prohibir* [proíβɔ] «запрещать», *pausar* [páusɔ] «делать паузу» — *ahumar* [áumɔ] «коптить»; *paular* [páulɔ] «разговаривать» — *aullar* [áúlɔ] «выть» и т. д. (этот список далеко не полон).

Итак, [i̇] и [u̇] нельзя относить к гласным фонемам /i/ и /u/; следовательно, [j] и [w] заведомо нельзя считать гласными (см. замечание на стр. 95). Хотя этот вывод не нуждается в подкреплении специальными примерами, приведем несколько аналогичных глаголов и для этих звуков: *anunciar* [enúɲθjɔ] «объявлять» — *rociar* [r̄ɔβiɔ] «опрыскивать»; *cambiar* [kámbjɔ] «менять» — *enviar* [əmbiɔ] «посылать» *envidiar* [əmbíðjɔ] «завидовать» — *confiar* [kɔmfjɔ] «доверять» (этот список также можно продолжить).

Можно было бы, не различая в фонологической транскрипции звуки [i̇], [j], [i] и [u̇], [w], [u], отмечать в словарной записи морф те фонемы, на которые в принципе может падать ударение, т. е. слогообразующие, или, наоборот, как-то отмечать неслогообразующие. Это, однако, сво-

дится к различению /i/ и /u/ двух сортов, «настоящих» и «ненастоящих» гласных, причем [i], [j] и [ɨ], [w] попадают в «ненастоящие» гласные¹⁹. Другой возможный путь добиться порождения фонетически правильных словоформ при отнесении «полугласных» звуков к гласным фонемам состоит в том, чтобы отмечать в морфах слоговоеделение²⁰. Этот путь отвергается нами потому, что если не относить [ɨ] и [w] к гласным /i/ и /u/, слоговоеделение описывается очень простыми правилами и, следовательно, не должно отмечаться в словаре — как и ударение. Кроме того, слоговоеделение в словаре также фактически означает различение /i/ и /u/ двух сортов и требуется только для этого.

Итак, если признать важность сформулированной задачи и согласиться с намеченной в общих чертах схемой порождения испанских глагольных форм, то из приведенных примеров автоматически следует невозможность отнесения звуков [i], [j], [ɨ], [w] к гласным фонемам /i/, /u/. Наше главное утверждение в этом случае доказано.

Весьма примечательно, что мнение о принадлежности «полугласных» к гласным фонемам основывается на рассмотрении «г о т о в ы х» словоформ, где уже стоит ударение и где оно может выступать как элемент контекста при выборе вариантов фонем²¹. Действительно, звуки [i], [j], [ɨ] и [w] выступают в безударном положении между гласной и согласной; звуки [i], [u], хотя и могут встречаться в этом положении (в зиянии) только как свободные варианты «полугласных», определяемые стилем речи, типом говора и т. д., преимущественно выступают в ударном положении и между согласными (т. е. по отношению к ударению «полугласные» и гласные оказываются в дополнительном распределении). Однако, если рассматривать порождаемые словоформы *in statu nascendi* и пытаться применять к ним правила акцентуации, то оказывается, что в фонологической транскрипции гласные должны быть отличны от «полугласных». В противном случае возникает логический круг: правило о превращении (на фонетическом уровне) гласных в «полугласные» предполагает известным место ударения, а правило акцентуации предполагает известным различие гласных и «полугласных». Так как представляется явно целесообразным определять место ударения с помощью простых правил, учитывающих заданную форму и фонемный контекст, то гласные и «полугласные» должны различаться до постановки ударения и н е з а в и с и м о от него, т. е. на фонемном уровне. Из сказанного видно, насколько важно при решении вопросов об отнесении тех или иных звуков к тем или иным фонемам рассматривать не готовые речевые единицы (например, словоформы), а п р о ц е с с и х п о р о ж д е н и я (например, процесс построения словоформ из морф).

¹⁹ Боуэн и Стокуэлл (J. D. Bowen, R. P. Stockwell, The phonemic interpretation...) указывают, что если относить [ɨ] к /i/, в фонологической транскрипции невозможно выразить различие между [ɨ] и [i], например в словах *oigamos* [oiɨ́gámos] и *prohibir* [proiɨ́bir] (фонологически одинаково /oiɨ́gámos/, /proiɨ́bir/) или в испанском литературном и коста-риканском произношениях глагола *prohibir* «запрещать» (мы оставляем в стороне как несущественный для наших целей вопрос о том, нужно ли вообще выражать это различие ф о н о л о г и ч е с к и): исп. [proiɨ́bir], коста-рик. [proiɨ́bir] (фонологически одинаково /proiɨ́bir/). В ответ на предложение выражать это различие с помощью второстепенных ударений (˘) — исп. /proiɨ́bir/, коста-рик. /proiɨ́bir/, Боуэн и Стокуэлл совершенно справедливо возражали, что «отмечать все безударные гласные, оставив неотмеченными только неслоговые /i/ и /u/, — это попросту другой способ писать вместо этих последних /y/ и /w/».

²⁰ См.: Э. В а с и л и у, Фонологическое описание румынского вокализма, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962; см. также: E. Vasilu, On the category of «semi-vowels» in Rumanian.

²¹ См. например: E. Alarcos Llorach, указ. соч., стр 146—147.

IV. Интересно, что принятое решение — не относить «полугласные» звуки к гласным фонемам, — необходимое для правил акцентуации, позволяет упростить формулировки некоторых других правил порождения глагольных форм. Приведем для примера два правила, связанные с глагольным окончанием *-is* [-ɨs] (2 pl.).

Одно из морфологических правил гласит: «Если тематическая гласная — /a/ или /e/, то она утрачивается перед гласной окончания, передавая этой последней ударение (если оно падало на /a/ или /e/)». Примеры: 1 sg. Pres. /kant + a + o/ → /kántao/ → /kánto/; 3 sg. Pret. /kant + a + o/ → /kantáto/ → /kantó/; 1 sg. Pres. /kom + e + o/ → /kómeo/ → /kómo/.

Если считать, что окончание 2 pl. [-ɨs] фонологически записывается как /-is/, придется добавить к правилу специальной оговорку относительно /-a-/ и /-e-/ перед /i/, гласящую, что утрата темы перед /i/ не происходит: /kant + a + is/ → /kantáis/. Если же считать, что звук [ɨ] в этом окончании относится не к гласной фонеме, никакой оговорки не требуется.

Одно из графических правил (переводящих фонемную запись построенной словоформы в принятую орфографию²²) обеспечивает постановку графического акцента там, где это требуется испанской орфографией. Это правило формулируется очень просто, если [ɨ] не считается гласной фонемой: «Если словоформа оканчивается на гласную, /n/ или /s/ и если ударение падает не на предпоследнюю гласную словоформы, то над соответствующей буквой ставится графический акцент». Это правило верно и для таких случаев, как а) [káɲten] → *cantan*, [kaɲtábemos] → *cantábamos*, [kaɲterás] → *cantarás*, и для таких, как б) [kaɲtáɨs] → *cantáis*, [kaɲteréis] → *cantaréis* и т. д. Если же относить [ɨ] к гласной /i/ и транскрибировать /kantáis/, /cantaréis/, /kantábais/, то правило оказывается неверным для случаев типа б) и его приходится усложнить целым рядом оговорок (относительно /i/ перед конечным /s/ и после гласной).

Тот факт, что предлагаемое решение способствует упрощению правил описания на других — нефонологических — уровнях, не приводя при этом к усложнению каких-либо других правил, является очень сильным доводом в его пользу²³ (ср. многочисленные замечания Н. Хомского, М. Халле и других исследователей).

V. После того как выше было установлено, что звуки [ɨ], [j], [ɥ], [w] нельзя относить к гласным фонемам, надо выяснить, куда их можно отнести.

Подчеркнем, однако, что если правильность и единственность предложенного отрицательного решения была доказана (по крайней мере в рамках названной морфологической задачи — порождения простых форм испанского глагола), то применительно к предлагаемому ниже положительному решению нам неизвестна задача, в рамках которой

²² Наряду с правилами, обеспечивающими фонетическую запись порождаемых словоформ, в описании морфологии желательно включать и графические правила.

²³ С другой стороны, помимо уже отмеченного усложнения правил признание [ɨ] аллофоном гласной фонемы /i/ заставило бы допустить /i/ в безударном конечном слове в формах 2 pl. Pretérito и Imperfecto глаголов: [kaɲtásteɨs], [kaɲtábais] ~ /kaɲtásteis/, /kaɲtábais/, т. е. потребовало бы введения добавочной оговорки. Если же рассмотреть [ɨ] и [ɥ] как аллофоны негласных фонем, эта оговорка становится излишней. Заметим к тому же, что в испанском языке в конечных безударных слогах не встречаются гласные фонемы /i/ и /u/ — за исключением заимствований, «книжных» слов (которые фактически тоже являются заимствованиями) типа *espíritu*, *crisis*, *análisis* и медицинских терминов на *-itis* (*bronquitis*, *otitis*...), а также ласкательных и разговорных сокращений [имена *Leni*, *Pili*, *Luci*, *Maru*, *Asu*; слов типа *cursi* «вульгарный» или *bici* < *bicicleta* «велосипед», *militi* < *militar* «военный»].

можно было бы обосновать единственность этого решения, и в данном параграфе мы пользуемся аргументами «обычного» типа. Другая трактовка при этом остается возможной, хотя она и представляется нам менее удачной.

Звуки [ɲ], [j], [ɥ], [w] следует относить к специально введенным для этой цели негласным и несогласным фонемам — глайдам /j/ и /w/.

Приводимые ниже доводы в пользу такого решения обосновывают нецелесообразность отнесения указанных звуков к согласным фонемам /j/ и /w/, откуда вытекает принадлежность этих звуков к глайдам, поскольку невозможность считать их гласными доказана выше.

1. Звуки [j] и [w] нельзя относить к тем же согласным фонемам, что и звуки [ɲ], [dʲ], [w̃], [s̃w̃] (т. е. к фонемам /j/ и /w/), поскольку [j] и [w] могут противопоставляться согласным [dʲ] и [s̃w̃] в одной и той же позиции. Примеры: [aβ^{dʲ}jektɔ] *abyecto* «гнушенный» — [abjértɔ] *abierto* «открытый»; [dez^{dʲ}éltɔ] *deshielo* «оттепель» — [desjértɔ] *desierto* «пустыня»; [kɔp^{dʲ}juχə] *cónyuge* «супруг» — [ɾɛɲjéξɔ] *reniego* «запирательство»; [að^{dʲ}aθénte] *adyacente* «смежный» — [ɾaðjéðɔl] *radiador* «радиатор»; [dez^{s̃} w̃ésɔ] *deshueso* «вынимаю кост(очк)и» — [deswélɔ] *desuello* «сдираю шкуру»; [laz^{s̃}w̃értɛs] *las huertas* «сады» — [laswértɛ] *la suerte* «судьба» и т. д.

Имеются даже минимальные пары: [laz^{dʲ}jérbɛs] *las hierbas* «травы» — [lasjérbɛs] *las siervas*²⁴ «рабыни»; [son^{s̃}w̃éβɔs] *son huecos* «это яйца» — [sonwéβɔs] *son nuevos* «они новые»; [laz^{dʲ}jéɾɛs] *las hierras* «клеимление скота» — [lasjéɾɛs] *las sierras* «горные хребты»; [kɔp^{dʲ}jél] *con hiel* «с желчью» — [kɔpjél] *con niel* «с чернью» (эмаль); [loz^{s̃}w̃ékɔs] *los huecos* «полости» — [loswékɔs] *los suecos* «шведы»; [laz^{s̃}w̃éle] *las huela* «чтобы (он) их нюхал» — [laswéle] *la suela* «подметка» и т. д.

Правда, это противопоставление можно описать иначе: ввести фонему «открытого стыка» (open juncture), обозначаемую посредством /+/: тогда в перечисленных примерах [j] и [dʲ], [w] и [s̃w̃] оказываются в разных позициях: [laz +^{dʲ}jérbɛs], но [lasjérbɛs], [aβ +^{bʲ}jektɔ], но [abjértɔ] и т. д.²⁵ Против такого описания нечего возразить, кроме того, что введение «открытого стыка» в фонемный инвентарь и, более того, употребление его в н у т р и с л о в о ф о р м ([kɔp +^{dʲ}juχə], [dez +^{s̃}w̃ésɔ] и т. д.) должно быть оправдано какими-то добавочными соображениями, а не только необходимостью описать противопоставление [j] ~ [dʲ], [w] ~ [s̃w̃]; иначе оно воспринимается как прием ad hoc и оказывается интуитивно неудовлетворительным²⁶.

2. Отнесение [ɲ] к согласной фонеме заставляет признать наличие в испанском языке единственной конечной группы согласных — в глагольном окончании 2 pl. [-ajs] (в испанском языке, за исключением нескольких заимствований — *vals, golf, foxterriers, bifteks, Soviets*, — конечные группы согласных не встречаются). Если же считать [ɲ] глайдом (несогласной!), то специальной оговорки относительно единственной

²⁴ «Удлинение *s* в *las siervas* в обычной речи не ощущается» (E. Alarcos Llogach, указ. соч., стр. 152—153, примеч. 13).

²⁵ См.: J. D. Bowen, R. P. Stockwell, The phonemic interpretation...; R. P. Stockwell, J. D. Bowen, I. Silva-Fuenzalida, указ. соч.

²⁶ Материал, излагаемый Стокуэллом, Боуэном и Сильва-Фуенсалида в работе «Spanish juncture and intonation» относится в основном лишь к отдельным испанским говорам Латинской Америки; на наш взгляд, он не доказывает необходимости введения «открытого стыка» даже для этих говоров.

группы согласных не понадобится. Все сказанное применимо и к группе [-us], встречающейся в топонимах: [r̄ēus] *Reus* и т. д.

3. Аналогичным образом в испанском языке не встречается начальная группа «s + согласная»; перед такой группой всегда развивается протеза /e-/: см. поздние заимствования вроде *estepa* (русск. *степь*), *esterlin* (англ. *sterling*), произношение испанцами русских слов: *эспасибо*, *эдравстайи* и т. д. Однако начальные группы «s + j» и «s + w» встречаются очень часто: [sjénto] *siento* «сожалею», [sjé̄r̄e] *sierra* «горный хребет», [swéne] *suena* «звучит», [swértə] *suerte* «судьба» и т. д. Поэтому отнесение звуков [j], [w] к согласным фонемам заставляет делать особую оговорку относительно двух согласных, которым разрешается образовывать начальную группу «s + согласный».

4. Наконец, фонемы /r̄ /, /λ / не встречаются перед согласными (лат. *carricare* > ст.-исп. *carrgar* > совр. исп. *cargar*). Однако сочетания [r̄ + j], [r̄ + w], [λ + w] возможны (сочетание * [λ + j] недопустимо): [r̄jé̄z̄ḡo] *riesgo* «риск», [r̄wé̄de] *rueda* «колесо», [λwé̄be] *llueve* «идет дождь» и т. д. Более того, эти сочетания допустимы в начале слова, тогда как ни одно другое сочетание «плавный + согласный» (* [rt-], * [lt-], * [rk-]...) в начале слова не встречается. И в этом случае, если считать [j] и [w] аллофонами согласных фонем, придется согласиться на исключение из общего правила.

5. В некоторых испанских диалектах (особенно в Андалузии, Аргентине и Уругвае) вместо звуков [j], [d̄j] всегда произносится звук [ž'] (мягкое ж); это явление называется *žeísmo*. В таких диалектах нецелесообразность отнесения звуков [j], [j] к одной фонеме вместе с согласным [ž'] представляется более очевидной — по чисто фонетическим соображениям. При наличии *žeísmo* естественно постулировать две фонемы: глайд /j/ с аллофонами [j], [j] и согласную /j̄/ с основным аллофоном [ž'].

Мы склонны считать, что различия между диалектами и литературным языком целесообразно сводить (там, где это возможно) к различиям на «этических» уровнях (в нашем случае — на фонетическом), обнаруживая при этом совпадение на «эмических» уровнях (в нашем случае — на фонемном), хотя такое совпадение, разумеется, не обязательно. Поэтому наличие *žeísmo* в отдельных диалектах представляется нам лишним доводом против отнесения звуков [j], [j] к согласной фонеме /j̄/ в литературном испанском. Предпочтительнее считать, что и в литературном языке и в диалектах имеется глайд /j/ и согласная /j̄/, которая в литературном языке реализуется как [j] или [d̄j], а в некоторых диалектах — как [ž'].

Доводы 2—5 не делают наше решение необходимым. В самом деле, вполне возможно считать, что в испанском языке имеются две согласные фонемы, обладающие рядом особенностей, и в частности — специфической сочетаемостью (например, Боуэн и Стокуэлл считают [j] аллофоном согласной фонемы /y/ и допускают единственную конечную группу /-ys/ ²⁷). Что же касается ссылки на *žeísmo*, то ничто не мешает видеть в литературном языке и в диалектах различные фонологические системы (тем более, что в диалектах с *žeísmo* часто имеет место *seseo*: одна фонема /s/ вместо двух фонем — /s/ и /θ/). Желая, однако, сохранить возможную общность формулировок относительно сочетаемости согласных в испанском и относительно инвентаря фонем в литературном языке и в диалек-

²⁷ См.: J. D. Bowen, R. P. Stockwell, *The phonemic interpretation...*; и х же, *A further note...*

тах, мы будем относить [i], [j], [ɥ] и [w] к глайдам—фонемам, лишенным как признака гласности, так и признака согласности: /j/ и /w/ ²⁸.

VI. Остается решить вопрос о фонемной принадлежности звуков [w̃] и [s̃w̃]: считать ли их аллофонами согласной фонемы /w̃/ или реализациями последовательности фонем /g/ + /u/, как это предлагает Э. Аларкос Льюрак ²⁹.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в испанской речи существует четыре типа произношения звуков [w̃] и [s̃w̃], так что, говоря об их фонемном статусе, надо отчетливо представить себе конкретный тип произношения, в рамках которого рассматриваются эти звуки.

1. При первом типе произношения звук [w̃] произносится с незначительной фрикацией, звук [s̃w̃] вообще избегается; ни в каких позициях [w̃] не смешивается с реализациями группы /gw/ (или, при нашей трактовке звука [w], группы /gw/): [gwáñtə] *guante* «перчатка», но [wésɔ̃] *hueso* «сыр», [ás̃we] *agua* «вода», но [awəkáɪ] *ahuecar* «выдалбливать»; *degüellas* «обезглавливать» и *de huellas* «(из) следов» произносятся по-разному: [dešwéles] и [dewéles]. Этот тип произношения характерен для тщательной, строго нормализованной речи, по-видимому, представителей старшего поколения в Испании. Именно этот тип произношения описывается в качестве образцового Наварро Томасом. Для такого типа произношения вопрос решается просто: звук [w̃] принадлежит согласной фонеме /w̃/.

2. При втором типе произношения звук [w̃] и особенно звук [s̃w̃] произносятся с сильной велярной фрикацией; в интервокальном положении звук [s̃w̃] и реализация группы /gw/ не различаются (*degüellas* и *de huellas*, как указывает Аларкос Льюрак, произносятся одинаково: [dešwéles] или [dešw̃éles]); однако в начальной позиции это различие сохраняется: [gwáñtə] (с взрывным [g]), но [s̃wésɔ̃] (с фрикативным [š]). Этот тип произношения присущ, как кажется, разговорной речи среднего и младшего поколения в Испании и широко распространен в Латинской Америке. Наварро Томас признает этот тип произношения допустимым: на стр. 64 он дает для *ahuecar* транскрипцию [ašwəkáɪ] (наряду с [awəkáɪ]) — совершенно аналогично слову *agua* [ás̃we]. Аларкос Льюрак считает этот тип произношения основным (хотя остается неясным, признает ли он различие [gw] и [s̃w̃] в начальной позиции; маловероятно, чтобы произношение [šgwésɔ̃], [šⁿgwértə] и т. д., т. е. с взрывным [g], рассматривалось Льюраком как литературная норма; см. стр. 157 — о фрикативном характере консонантного элемента перед [w̃]). При таком произношении также следует считать звук [s̃w̃] в начальной позиции аллофоном фонемы [w̃]. Трудность вызывает звук [s̃w̃] (или практически не отличимый от него [šw̃] в интервокальной позиции). Здесь возможны два решения.

А. Можно в одних случаях считать [s̃w̃] реализацией фонемы /w̃/, а в других — реализацией последовательности фонем /gw/, опираясь на морфологические соображения: [ašwéɾɔ̃] → /agwéɾo/ *aguero*, так как это 1 sg. Pres. от /agorár/, [ašoráɪ] *agorar*, но [ašwéɾɔ̃] → /awéko/ *ahueso*, так как корень здесь — /wéko/, [šwéɾɔ̃] *hueso*; в целом ряде (очевидно, в большинстве) случаев однозначный выбор невозможен: [ás̃w̃ɐ] → /á^{w̃}_{gw} a/.

(Аналогичная ситуация имеет место в русском языке — реализация фонем /a/ и /o/ в безударной позиции: [nagá] «нога» → /nogá/, так как /nóg/,

²⁸ По-видимому, экспериментальное исследование звуков [i], [j], [ɥ], [w] могло бы показать, обладают ли они в достаточной степени физическими характеристиками, присущими согласным, или нет.

²⁹ E. Alarcos Llorcah, указ. соч., стр. 157—158.

но [nagá] «нага» → /nagá/, так как /nág/; в таком слове, как [sabákъ] однозначное решение невозможно: /s^a_o báka/.) Подобный подход требует допущения «пересечения фонем» (phonemic overlapping), т. е. признания того, что один и тот же звук может быть аллофоном разных фонем.

Б. Можно во всех случаях считать интервокальное [s^w] либо реализацией фонемы /w/, либо реализацией группы /gw/. Такой подход целесообразен, если по каким-либо соображениям мы хотим избежать пересечения фонем. Приняв этот подход, в данной работе мы предпочитаем считать [s^w] реализацией фонемы /w/, поскольку даже при полном неразличении /w/ и /gw/ звук [s^w] лучше считать аллофоном фонемы /w/ (соответствующие доводы см. ниже).

3. В третьем типе произношения звук [w] практически отсутствует: он заменяется звуком [s^w] с очень сильной велярной фрикацией, причем в начальной позиции и после согласных фрикативный велярный элемент этого звука превращается во взрывной: [s^w] → [gw]. Таким образом, звуки [s^w] и [gw] во всех позициях не отличимы от реализаций группы /gw/. Такой тип произношения характерен, по-видимому, для испанского просторечья (habla vulgar, как называет его Наварро Томас, стр. 64) и для небрежного стиля разговорной речи в Латинской Америке; вероятно, именно его имеет в виду Аларкос Льярак, когда говорит, что буквосочетания *hu-* и *gu-* обозначают один и тот же звук, а различие между ними является чисто орфографическим³⁰. Для передачи этого произношения в литературе используют написание *güevo*, *güeso*, *güerta* (вместо *huevo*, *hueso*, *huerta*) и т. д.

Мы склонны считать, что и при указанном типе произношения звучания [s^w], [s^w], [gw] являются аллофонами согласной фонемы /w/, а не реализациями группы /gw/.

Данное решение основывается на следующих соображениях (которые являются косвенными и потому еще менее обязательными, чем доводы в п. V).

1. В испанском языке имеются два типа незначущих чередований фонем (альтернатив):

а. Морфонологические альтернативы /o → we/ и /e → je/ («расщепление»), например, /dorm-ír/ *dormir* ~ /dwérm-o/ *duermo* «спать — сплю», /sent-ár/ *sentar* ~ /sjént-o/ *siento* «сажать — сажаю» и т. д.

б. Фонологическая альтернатива /j → j̄/ («консонантизация») — глайд в интервокальном и начальном положении приобретает признак согласности, например: /bwéj/ *buey* ~ /bwéjes/ *bueyes* «вол — волы» или /eTár/ *errar* → /jéT̄o/ *yerro* «блуждать — блуждаю» (развитие через * /jéT̄o/).

Если считать [s^w], [s^w], [gw] аллофонами согласной фонемы /w/, которая относится к /w/ так же, как /j/ к /j/, то с помощью указанных альтернатив автоматически описываются и такие случаи, как [oléi] *oler* ~ [s^wéi] или [gwéi] *huelo* «пахнуть — пахну»: здесь происходит «расщепление» (/olér/ → * /wélo/, ср. /molér/ → /mwélo/), а затем «консонантизация» (* /wélo/ → /wélo/, ср. * /jéT̄o/ → /jéT̄o/). Подобных случаев в испанском языке немало: [olǵái] *holgar* ~ [s^wéi] или [gwéi] *huelgo* «отдыхать — отдыхаю», [obrái] *obrar* «работать, трудиться» ~ [s^wébre] или [gwébre] *huebra* «дневная работа», [ospedái] *ospedar* «приютить» ~ [s^wésped] или [gwésped] «хозяин (гостиницы)», [óseq] *óseo* «костяной» — [s^wéseq] или [gwéseq] *hueso* «кость», [obái] *ovar* «нести яйца» ~ [s^wéba]

³⁰ E. Alarcos Llorach. указ. соч., стр. 158.

или [gwéβɔ] *huevo* «яйцо» и т. д. Фонологически все эти пары объясняются «расщеплением» и последующей консонантизацией.

Если же считать [s̄w̄], [ʃw], [gw] реализациями группы /gw/, то специально для названных случаев придется ввести особое правило: «Перед начальным /w/ появляется /g/» (тогда это /g/ придется рассматривать как случай энтезы, аналогичный появлению фонемы /e/ перед начальной группой «s + согласная»).

2. Боуэн и Стокуэлл³¹ рассматривают следующий факт, на основе которого можно построить еще один аргумент в пользу монофонемной трактовки звучаний [s̄w̄], [βw], [gw]. В тех же самых говорах, где эти звуки не отличаются от реализаций группы /gw/, обычно происходит фонетическое явление, которое традиционно обозначается как «замена /b/ на /g/ перед /u/»³²: вместо [bwéno] и [abwélɔ] — [gwéno] и [aʒwélɔ], на письме *güeno* и *agüelo*. Такая замена оказывается в испанском языке совершенно изолированной; ни одного аналогичного процесса не известно ни в современном испанском, ни в его истории. Если же [ʃw] и [gw] рассматривать как реализации фонемы /w̄/, тогда фонетические процессы типа [bwéno] → [gwéno] и [abwélɔ] → [aʒwélɔ] описываются фонологически как утрата /b/ перед губным глайдом с последующей автоматической «консонантизацией»: /bwéno/ → */wéno/ → /w̄éno/, [gwéno]. О консонантизации говорилось выше; что же касается утраты /b/ перед /w/, то сходные факты хорошо известны из истории испанского языка. Здесь имеется в виду утрата /b/ и /g/ перед палатальным глайдом /j/ с консонантизацией этого последнего; лат. /rádiu/ → */r̄áɟjo/ → /r̄áɟjo/ *rayo* «луч»; лат. /ródiu/ → */r̄óɟjo/ → /r̄óɟjo/ *royo* «завалинка, скамья у ворот»; лат. /gemma/ → */ḡjemma/ → /j̄ema/ *yema* «яичный желток»; лат. /géneru/ → */ḡjérno/ → /j̄érno/ *yerno* «зять»; лат. /gélui/ → */ḡjélo/ → /j̄élo/ *hielo* «лед»; лат. /gípsu/ *gypsu* → */ḡjéso/ → /j̄éso/ *yeso* «гипс»; лат. /fágea/ → /fáɟja/ → /áɟja/ *haya* «бук»; герм. */sáɟj-/ (совр. нем. *sagen*) → /sáɟón/ *sayón* «альгюасил; палач»; герм. */háɟj-/ (совр. нем. *hegen*) → /háɟjo/ *ayo* «воспитатель» и т. д. Подчеркнем, что процессы «/d + j/ → /j̄/» и «/g + j/ → /j̄/» абсолютно параллельны процессу «/b + w/ → /w̄/».

3. Наконец, можно сослаться на соображения симметрии и стройности фонологической системы.

Одинаковая трактовка прочих *j*-образных и *w*-образных звуков подсказывает одинаковое решение для [j], [ɟj] и [w̄], [s̄w̄], [gw]. В частности, звуки [ɟj] (который иногда транскрибируют даже как [d'y]³³) и [gw] имеют сходную фонетическую природу; и если взрывной элемент в [ɟj] не считается реализацией отдельной фонемы /d/, т. е. [ɟj] (или [d'y]) не считается реализацией группы фонем /d + j/, то и взрывной элемент в [gw], а тем более фрикативный элемент в [s̄w̄], можно не считать реализацией отдельной фонемы /g/.

Отнесение [s̄w̄], [ʃw], [gw] к фонеме /w̄/ обеспечивает большую стройность фонологической системы: получается три пары фонем, причем каждая пара отличается от другой по признакам «гласность» и «согласность», а внутри каждой пары соответствующие фонемы противопоставлены по признаку «низкая/высокая тональность» (grave/acute):

³¹ J. D. Bowen, R. P. Stockwell, *The phonemic interpretation...*

³² См., например I. Silva-Fuenzalida, указ. соч.

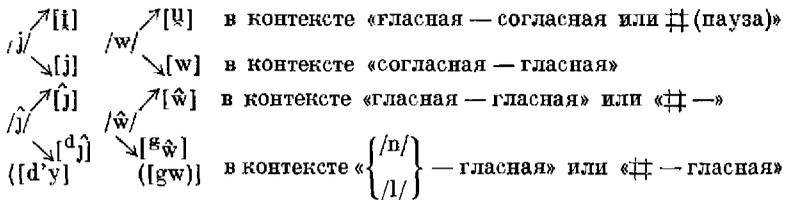
³³ См., например I. Silva-Fuenzalida, указ. соч.; G. L. Trager, *The phonemes of Castillian Spanish...*

Признаки \ Фонемы	i	u	j	w	ĵ	ŵ
	Гласность	+	+	-	-	-
Согласность	-	-	-	-	+	+
Низкая тональность	-	+	-	+	-	+

4. В четвертом типе произношения группа /gw/ и согласная /ŵ/ ³⁴ также не различаются ни в одной позиции (как при третьем типе произношения), однако их общей реализацией является звук [ŵ], а не [sŵ] или [ʒw]: слова *guardar*, *hueso*, *agua* произносятся здесь как [ŵardáɾ], [ŵésɔ], [áŵe]; звуки [sŵ], [ʒw] практически отсутствуют. Подобный тип произношения является диалектальным; соответствующие говоры распространены в Латинской Америке, но встречаются и в Испании. В рамках таких говоров, где звук [ŵ], лишенный велярного элемента, имеет точно такое же распределение, как согласный [j], вообще нет никаких оснований считать [ŵ] реализацией группы /gw/, а не фонемы /ŵ/.

Подчеркнем, что введение /ŵ/ в фонемный инвентарь оказывается целесообразным для всех типов испанских диалектов, так как обеспечивает естественное и экономное фонологическое описание их различных фонетических особенностей. Выше (стр. 102) уже указывалось, что возможность одинаково описать на фонемном уровне диалекты одного языка, различающиеся на фонетическом уровне, считается доводом в пользу соответствующей фонологической трактовки.

VII. Итак, для испанских «полугласных» предлагается следующая фонологическая картина (внизу в круглых скобках указаны просторечные и диалектные варианты):



З а м е ч а н и е: [sŵ] может выступать также в интервокальном положении, находясь с [ŵ] в отношении свободного варьирования; это верно (в меньшей степени) и относительно [dʒ].

Примеры: /séjs/ → [séjs] *seis* «шесть»; /lawréɫ/ → [lawréɫ] *laurel* «лавр»; /bjɛn/ → [bjɛn] *bien* «хорошо»; /akwérdo/ → [akwérdo] *acuerdo* «соглашение»; /epʃesár/ → [ep^dʃesár] *enyesar* «покрывать гипсом»; /desŵesár/ → [desŵesár] *deshuesar* «вынимать кост(очк)и»; /traʃéktɔ/ → [traʃéktɔ] *trayecto* «расстояние, поездка»; /aŵekár/ → [aŵekár] *ahuecar* «углублять, долбить».

Изложенная здесь трактовка звуков [j], [dʒ] и [ŵ], [sŵ] позволяет усматривать существенный параллелизм между звонкими согласными /j/ и /ŵ/, с одной стороны, и прочими испанскими звонкими — /b/, /d/,

³⁴ Точнее, то, что соответствует группе /gw/ и фонеме /w/ литературного языка.

/g/ — с другой: точно так же, как эти последние имеют взрывные аллофоны ([b, d, g]) в «сильной» позиции (после /n/, /s/, /l/ и после паузы) и фрикативные аллофоны ([β, ð, ɡ]) в прочих положениях, фонемы /j/ и /w/ после /n/, /l/ и после паузы имеют «более согласные», более близкие к аффрикатам аллофоны ([dʝ, d'ɣ], [s̺w̺, gw]), а в прочих позициях — «менее согласные», фрикативные аллофоны ([j, w̺]). «Нарастание согласности» в аллофонах фонем /j/ и /w/ в «сильной» позиции может быть объяснено воздействием фонологической системы испанского языка³⁵ и должно, по-видимому, рассматриваться как еще не завершившийся процесс, в особенности для /w/.

Рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из принятых решений.

1. Так называемые «дифтонги» — [aj], [ja], [aɥ], [wa] — с фонологической точки зрения представляют собой двухфонемные сочетания гласной с глайдом: /aj/, /ja/, /aw/, /wa/; внутри этих сочетаний могут проходить как слоговая граница, так и морфологический шов³⁶. Настоящих дифтонгов (наподобие немецких *ei*, *ai*, *eu*), а тем более — трифтонгов в испанском языке нет. Этот вывод совпадает с точкой зрения Аларкоса Льюрака³⁷, хотя он и считает звуки [j], [j], [ɥ], [w] вариантами гласных фонем /i/ и /u/. По-видимому, употреблять самый термин «дифтонг» применительно к указанным сочетаниям нецелесообразно.

2. Фонемы /i/, /u/, /j/, /w/, /j/, /w/ связаны между собой определенными законами чередования.

«Девокализация»:

$$\left. \begin{array}{l} /i/ \rightarrow /j/ \\ /u/ \rightarrow /w/ \end{array} \right\} \text{ гласная} \rightarrow \text{глайд} \left\{ \begin{array}{l} \text{в безударном положении} \\ \text{между гласной и согласной} \end{array} \right.$$

«Консонантизация»:

$$\left. \begin{array}{l} /j/ \rightarrow /j/ \\ /w/ \rightarrow /w/ \end{array} \right\} \text{ глайд} \rightarrow \text{согласная} \left\{ \begin{array}{l} \text{в начале слова, в интервокальном} \\ \text{положении и после /n/, /s/, /l/.} \end{array} \right.$$

«Консонантизация» является обязательной — она осуществляется всегда, когда выполняются указанные условия. Примеры: /léj/ *ley* «закон» — /léjes/ *eyes* «законы»; /kom + jɔ/ → /komjɔ/ *comió* «он съел», но /ka + jo/ → /kaʝɔ/ *cajó* «он упал»; /erir/ *herir* «ранить» → */jéje/ («расщепление») → /jéje/ *hiere* «он ранит»; /erbir/ *hervir* «кипеть» → */jérbe/ («расщепление») → /jérbe/ *hierve* «он кипит»; /olér/ *oler* «пахнуть» → */wéle/ («расщепление») → /wéle/ *huele* «он пахнет» (другие примеры чередования w → w̺ см. выше, стр. 104).

«Девокализация» не является обязательной — она осуществляется не всегда. «Девокализации» способствуют, по-видимому, следующие факторы: а) контакт с ударной гласной, особенно предшествование ей; б) принадлежность «девокализуемой» и контактирующей гласных к разным морфам.

«Девокализации» безусловно препятствует единственность корневой гласной (т. е., если гласная /i/ или /u/ — единственная гласная корня, она обычно не девокализуется; исключение — глагол *ir* «идти», где девокализация корневого перед гласной суффикса обязательна: /i + éndo/ → */jéndo/ → /jéndo/). В целом осуществление «девокализации» зависит от

³⁵ А. Martinet, *Economie des changements phonétiques*, стр. 81—85.

³⁶ См.: Н. П. Карпов, *Система фонем испанского языка*, Автореф. канд. диссерт., Л., 1952.

³⁷ E. Alarcos Llorach, указ. соч., стр. 99—100.

темпа речи и стиля произношения, от этимологического состава словоформ, от традиционного способа произношения данного слова и от целого ряда других (в основном — неясных) причин. В большинстве случаев возможны колебания, причем даже в речи одного и того же лица. Примеры: /*rovi* + *á* + *r*/ → /*roβjár*/*rociar* «кропить»; /*raib*/*raiz* «корень» и /*raíθila*/ или /*rajθila*/ «корешок»; /*fi* + *á* + *r*/ → /*fiár*/*fiar* «доверять»; /*fre* + *i* + *r* + *émos*/ → /*freirémos*/ или /*frejrémos*/*freiremos* «будем жарить»; /*kontinu* + *á* + *r*/ → /*kontinwár*/*continuar* «продолжать»; /*tu* + *á* + *ba*/ → /*tuába*/*ruaba* «шатался по улицам» и т. д. Примеры колебания в одном и том же слове из стихов-одинадцатисложников Хуана Рамона Хименеса: *Con que tú sonriendo* /*sonriéndo*/ *lo compones*; *Yo iré sonriendo* /*sonrjéndo*/ *y fiel a mi destino*³⁸.

3. Охарактеризуем вкратце сочетаемость фонем /i/, /u/, /j/, /w/, /j̃/, /w̃/ между собой.

Глайды /j/ и /w/ не сочетаются ни с соответствующими им гласными ни с соответствующими согласными: сочетания */ji/, */ij/, */wu/, */uw/, */jj/, */j̃j̃/, */w̃w̃/, */w̃w̃/ в испанском языке не встречаются. Кроме того, не встречаются сочетания */j̃w̃/, */w̃j̃/, */w̃j̃/, */j̃w̃/. В тех случаях, когда на стыках морф могло бы возникнуть сочетание */ij/ или */ji/, глайд утрачивается, например, /*dorm* + *í* + *js*/ → /*dormís*/ «вы спите» (ср. /*kant* + *á* + *js*/ → /*kantájs*/) или /*oj* + *í* + *r*/ → /*oír*/ «слышать» (ср. /*ójgo*/ или /*ój* + *e* + *s*/ → /*ójes*/). Такая ситуация не является исключительной: фонемы /r/, /r̃/, /λ/ и /l/ также не сочетаются друг с другом; /r̃/ и /λ/ не сочетаются с последующими согласными и т. д.

Согласный /j̃/ может появляться перед /i/ на стыках слов и морф, а в латиноамериканской речи — и внутри морф: /*léjindígna*/*ley indigna* «гнусный закон», /*plája*/ — /*plajita*/*playita* «маленький пляж», /*májo*/ — /*majiko*/*mayico* (уменьшительное от «май»), /*tramója*/*tramoja* «театральные машины» — /*tramofista*/*tramoyista* «машинист сцены»; лат.-амер. /*ají*/*allí* «там», /*gajina*/*gallina* «курица» и т. д.

Наличие сочетания /w̃u/ представляется сомнительным, так как неизвестны убедительные примеры.

Согласные /j̃/ и /w̃/ встречаются только перед гласными, причем /w̃/ обычно встречается перед /e/, редко — перед /a/, в единичных случаях — перед /i/ и вовсе не встречается перед /o/ и /u/; согласным /j̃/ и /w̃/ предшествуют либо гласные, либо пауза (∅), либо согласные /n/, /s/, /l/.

Для третьего типа произношения характерно отсутствие сочетания /gw/, т. е. согласной /g/ с глайдом /w/. В тех (весьма редких) случаях, когда такая группа могла бы возникнуть в процессе морфологических изменений, она заменяется согласной /w̃/, например, устаревшее /*regold* + *ár*/ *regoldar* «рыгать» — */*regwéld* + *o*/ («расщепление *o* → *w*») = /*rewéldo*/*regueldo* или /*agor* + *ár*/ *agorar* «предвещать» — */*agwér* + *o*/ → /*awéro*/*agüero*. Замену */gw/ на /w̃/ целесообразно рассматривать как двухступенчатый процесс: сначала утрата /g/ перед глайдом, а затем — «консонантизация» глайда. Тогда мы имеем три совершенно параллельных процесса в прошлом, настоящем и, быть может, будущем испанского языка: 1) утрата /d/ и /g/ перед /j/ — в историческом развитии; 2) утрата /g/ перед /w/ — в современном языке (в говорах с треть-

³⁸ Примеры приводятся по указанной работе Наварро Томаса, стр. 159.

им типом произношения); 3) утрата /b/ перед /w/, намечающаяся в современном языке (в диалектах), ср. /bolbér/ *volver* «возвращаться» и диалектн. и просторечн. /wélbo/ *güelvo*, /bolár/ *volar* «летать» — диалектн. и просторечн. /wélo/ *güelo* (литерат. исп. /bwélbo/, /bwélo/).

VIII. Основным результатом данной статьи является доказательство того, что испанские звуки [i], [j], [u], [w] нельзя считать аллофонами гласных фонем /i/ и /u/. Вопрос о фонемной принадлежности звуков — это фактически вопрос о снятии избыточности, об устранении перелевантных признаков, т. е. вопрос о предсказуемости звуков контекстом. И его надо решать не применительно к готовым словоформам текста, а применительно к морфам в словаре порождающей грамматики, точнее — применительно к процессу порождения словоформ. Другими словами, фонологическая задача должна рассматриваться в рамках морфологической задачи.

При этом оказывается, что так как в испанском языке ударение глагольных словоформ (и большинства остальных словоформ, за исключением заимствований) предсказуемо — его место определяется простыми правилами в зависимости от формы и от фонемного состава, то его нецелесообразно отмечать при основах глаголов в словаре морф. Следовательно, в процессе порождения словоформ нельзя пользоваться ударением как элементом контекста при выборе аллофон. Поэтому различие слоговых и неслоговых фонем должно определяться независимо от ударения; [ʦeɪn-] и [ʦeɪl-], [káus-] и [ʦeús-] должны иметь разную фонологическую транскрипцию, чтобы обеспечить получение правильных форм [ʦeɪnɔ], [ʦeɪlɔ], [káusɔ] и [ʦeúsɔ]³⁹.

Главный методологический вывод заключается в том, что проблемы одного уровня языка (в нашем случае — фонологического) должны решаться, как это уже давно подчеркивают ученые, принадлежащие к Московской фонологической школе, а в последнее время — Н. Хомский⁴⁰, с учетом других уровней и в первую очередь — с учетом процесса порождения единиц других уровней, в частности — построения словоформ.

Что же касается остальных результатов (отнесение звуков [i], [j], [u], [w] к глайдам /j/, /w/, постулирование согласной /w/), то они не представляются столь же принципиальными: вместо каждого из сделанных выводов можно, вообще говоря, предложить другие решения. Сущность вполне «традиционных» по своему характеру доводов, обосновывающих предложенные выше трактовки звуков [i], [j], [u], [w], заключается в том, что предлагаемые решения обеспечивают большую простоту формулировок, описывающих различные свойства фонологической системы испанского языка (сочетаемость фонем; изменения групп фонем)⁴¹.

³⁹ Аналогичный пример из старочешского языка приводится в работе: Р. Якобсон, Г. М. Фант, М. Халле, указ. соч., стр. 180: двусложное *brdu* [břdu] «до предела» и односложное *brdu* [brdú] «я бреду». Поскольку в чешском ударение всегда падает на первую гласную фонему словоформы, [r] и [ř] нецелесообразно считать аллофонами одной фонемы и транскрибировать в словаре морф обе морфы одинаково: /brd-/ , так как тогда обе формы в тексте будут получаться одинаковыми — либо /břdu/ (если /r/ — гласная), либо /brdú/ (если /r/ — негласная). Эти звуки следует считать аллофонами разных фонем: гласной /r/ и негласной /r/.

⁴⁰ N. Chomsky, *The logical basis of linguistic theory*, стр. 513.

⁴¹ Автор выражает свою искреннюю признательность Ю. Д. Адресяну, Е. М. Вольфу, М. Я. Гловинской, А. А. Зализняку, Л. Н. Иорданской, Л. Л. Касаткину, Э. И. Левинтовой, А. А. Реформатскому и А. А. Холодовичу, которые прочитали черновые варианты статьи и сделали ряд ценных замечаний и предложений.

З. П. СТЕПАНОВА

АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ
НА \bar{e} - В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, глаголы с формантом \bar{e} - принадлежат преимущественно западным индоевропейским языкам. Хотя в обстоятельной работе Ф. Шпехта¹, посвященной этим глаголам, был поставлен вопрос о соотношении глаголов состояния в восточных и западных языках, проблема эта до настоящего времени остается открытой, ибо ее решение связано с целым комплексом проблем членения индоевропейской языковой общности. В этом плане значительный интерес представляют замечания Х. Станга² относительно глаголов на \bar{e} - в германских, славянских и балтийских языках и их генезисе в связи с проблемой языковых союзов³. Известно, что интранзитивные глаголы состояния, основа которых оканчивается на \bar{e} -, как категория встречаются в таких языках, как латинский, славянские, балтийские и германские. В других же языках имеются лишь намеки на эти глагольные образования или же они вообще не представлены.

Например, в латинском языке глаголам на \bar{e} - соответствует часть так называемого II спряжения типа: (ед. ч.) *habeō, habēs, habēt*, (мн. ч.) *habēmus, habētis, habent*, (инф.) *habēre* «иметь». Всего в это спряжение, по данным А. Эрну⁴, входит около 570 глаголов, в том числе 180 простых. Среди последних различают: а) примарные на \bar{e} - (чаще всего это глаголы древние атематические, их всего пять: *flēō, flēre* «плакать», *neō, nēre* «прясть», *pleō, plēre* «наполнять», *reor, rēre* «считать, думать, полагать», *dēleō, dēlēre* «уничтожать, истреблять»); б) глаголы, указывающие на состояние; в) каузативные глаголы, которые по сути дела не имеют особого отношения к интересующим нас глагольным образованиям. Что же касается глаголов, указывающих на состояние, то они обычно интранзитивны (безобъектны) и имеют элемент \bar{e} -, появляющийся только в основе инфекта и встречающийся также в других языках в образованиях со сходным значением. К этой группе глаголов относятся такие глагольные образования, как: *candēō, candēre* «блестать», *jacēō, jacēre* «лежать поверженным, распростертым», *lateō, latēre* «быть скрытым, скрываться», *liceō, licēre* «стоять, продавать», *liqueō, liquēre* «быть жидким, текучим» и т. д.

Значение этой группы глаголов особенно четко выступает при сопоставлении с парными глаголами, образованными от того же корня, например, *jacīō, jacere* «бросать» — *jacēō, jacēre* «лежать распростертым», *raviō, raviere* «уплотнять» — *raveō, raveere* «бояться»; *pendō, pendere* «вешать» —

¹ F. S p e c h t Zur Geschichte der Verbalklasse auf \bar{e} . Ein Deutungsversuch der Verwandtschaftsverhältnisse des Indogermanischen, KZ, LXII, 1—2, 1934.

² C h r. S t a n g, Das slavische und baltische Verbun, Oslo, 1942.

³ Историю вопроса см.: Э. А. М а к а е в, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М. — Л., 1964; W. P o r z i g, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954.

⁴ А. Э р н у, Историческая морфология латинского языка, М., 1950.

pendeō, pendēre «быть повешенным», *placō, placāre* «успокаивать» — *placeō, placēre* «нравиться». Следует указать, что некоторые количественно глаголов состояния на -ē- в латинском языке употребляется и в транзитивном, и в интранзитивном значении: *habeō, habēre* «иметь, держать; находиться, обитать», *liceō, licēre* «предлагать, продавать; продаваться, стоить», *manēō, manēre* «ждать; оставаться», *teneō, tenēre* «держат; направляться к», *vegeō, vegēre* «оживлять; быть оживленным» и т. д.

Из интересующих нас глаголов на -ē- можно выделить группу деноминативных глагольных образований, производных как от имени существительного, так и прилагательного, которые, как правило, указывают на состояние и являются интранзитивными: *albeō* «быть белым» (*albus* «белый»), *ardeō* «горю» (*āridus* «сухой»), *calleo* «быть жестким» (о коже) (*callum* «жесткая кожа»), *dureō* «быть твердым» (*dūrus* «твердый»), *frondeō* «зеленю листвою» (*frōns* «листья, листва, зеленая ветвь») и т. д. Однако продуктивность этого типа с течением времени ослабевала, уступая распространению глаголов на -āre.

Часть глаголов на -ē- II спряжения в латинском языке перешла в III спряжение, например, *ardēre* «страстно желать чего-либо», *mordēre* «кусать, грызть», (*ab*)-*sorbēre* «поглощать, пожирать», *spondēre* «обещать, ручаться», *tondēre* «стричь, брить», *torquēre* «вертеть, крутить, вращать». Вполне можно согласиться с А. Эрну в том, что переход этих глаголов в III спряжение объясняется, по-видимому, тем, что они были транзитивными, и нахождение их среди большого количества глаголов на -ēre, обозначавших состояние и по природе своей интранзитивных, представлялось неестественным.

И последнее. В отличие от славянских и балтийских языков, о которых речь пойдет ниже, где формант -ē- был связан с основой инфинитива, имперфекта и аориста, в латыни он выступал как формант презентной основы.

В с л а в я н с к и х языках к глаголам на -ē- относятся глагольные образования типа старославянского: (презенс ед. ч.) *veljō, veliši, velitū*, (мн. ч.) *velimu, velite, velētu*, (инф.) *velēti* «велеть». Все формы без исключения, кроме презенса, в этих языках образуются от основы инфинитива *velē-*. Индоевропейскому глагольному образованию на -ē- в старославянском языке соответствует так называемый IV-B класс глаголов по классификации А. Лескина⁵. Глаголы этого класса в основном примарные, в большинстве случаев выражают состояние и по своей природе интранзитивны (безобъектны). Зарегистрированы следующие глаголы, относящиеся к этому классу: *bъdēti (bъdēti)* «бдеть, бодрствовать», *bežati* «бежать», *obidēti* «обидеться», *blъstati* «блистать» (из *blъskēti*), *bolēti* «болеть», *bojati sja* «бояться», *velēti* «велеть» и т. д. Сюда же относятся два других глагола, для которых характерны некоторые особенности спряжения в презенсе и других временах: *chotēti* «хотеть», *do-v(ъ)lēti* «хватать, доставать, быть достаточным, дозветь».

Как уже говорилось выше, в славянских языках, как и в латинском, большая часть глаголов на -ē- выражает состояние и интранзитивна (безобъектна) по значению. Из 47 глаголов на -ē- в старославянском 33 интранзитивны: *bežati* «бежать», *bolēti* «болеть», *visēti* «висеть», *gorēti* «гореть», *ležati* «лежать» и т. д., и лишь 14: *obidēti* «обидеть», *vrъžēti* «вертеть», *vrъrēti* «кипеть», *dvižati* «двигать» и т. д. — транзитивны. Производные же от имени существительного типа: *umēti* «уметь» (*um* «ум»), *o-syrēti* «осыпать» (*syр* «сыр») и главным образом от прилагательных типа:

⁵ A. Leskien, Handbuch der Altbulgarischen (Altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik — Texte — Glossar, 7. verb. Aufl., Heidelberg, 1955, стр. 117—175.

u-krepěti «укрепить» (*krepь* «крепкий») явно более позднего происхождения. Количество их огромно, возможности образования их не имеют границ. Они всегда интранзитивны, в большинстве случаев выражают нахождение в определенном состоянии, в соединении с префиксами — переход в определенное состояние. Парадигма их отличается от парадигмы примарных глаголов, ср., например, (ед. ч. от *uměti* «уметь») *umě-jō*, *umě-ješi*, *umě-jetъ*, (мн. ч.) *umě-jemъ*, *umě-jete*, *umě-jotъ* с парадигмой примарных глаголов типа *velěti* «велеть»⁶.

Исследование, проведенное В. Бородич⁷, показывает, что наиболее древними из глагольных образований на *-ě-* в старославянском языке следует считать такие глаголы, которые не имеют себе соответствующих пар по виду; они отличаются той особенностью, что от них в ранних текстах почти нет образований с приставками и нет производных глаголов (см., например, *bzlěti* «болеть», *mъněti* «думать, мнить», *grěti* «греть», *zrěti* «видеть, зреть», *mľěti* «млеть» и др.). Бросается в глаза одна особенность: глаголы на *-ě-* в древнейших памятниках старославянского языка, как правило, не употребляются в аористе, а от этих глаголов состояния на *-ě-* первоначально образовывались только формы имперфекта. Формы же аориста, встречающиеся очень редко в старославянских памятниках, являются новообразованиями, придающими таким основам значение конкретности. Это особенно касается таких глаголов на *-ě-*, как «лежать», «сидеть», «стоять», «иметь» и др. По-видимому, аорист со своим значением определенного, конкретного действия был неудобен для обозначения состояния, которое, как правило, выражалось только формой имперфекта. Исключение составляет только один случай с глаголом «лежать» (Мф. 28,6), указывающий, по мнению В. Бородич, на позднейшее образование формы аориста от глагола состояния⁸.

В балтийских языках глаголам на *-ě-* соответствуют глагольные образования типа литовских глаголов: (презенс ед. ч.) *mýliu*, *mýli*, *myl*, (мн. ч.) *mýlime*, *mýlite*, (инф.) *mylėti* «любить». Все формы, кроме презенса, образуются от основы инфинитива *mylė-*. К глагольным образованиям этого типа в литовском языке относятся следующие глаголы: *alėti* «быть бедным», *balbėti* «болтать, разговаривать», *bambėti* «ворчать», *barbėti* «брякать, звякать, дребезжать», *barškėti* «стучать, брякать», *braškėti* «шуршать, хрустеть, трещать», *budėti* «блюсти, бодрствовать» и т. д.⁹.

В балтийских языках, подобно латинскому и старославянскому, к глагольным образованиям на *-ě-* относятся как примарные глаголы: литов. *devėti* — латыш. *dēvēt* «называть, именовать», литов. *drebėti* — латыш. *drebēt* «дрожать», литов. *trunėti* — латыш. *trunēt* «гнить, глеть, разлагаться» и т. д., так и деноминативные: *galėti* «мочь, быть в состоянии» (*galià* «сила, мощь»), *ganėti* «хватать, быть достаточным» (*ganà* «довольно, достаточно»), *girdėti* «слышать, слышать» (*girdas* «слух, молва»), *karštėti* «становиться горячим, пылким» (*kārštas* «горячий, пылкий, жаркий») и т. д. Следует отметить, что в балтийских языках, как и в славянских, имеется огромное количество деноминативных глаголов на *-ě-*, образованных как от имени существительного (типа *medėti* «деревенеть» от *mėdis* «дерево», *akmenėti* «каменеть» от *akmuo* «камень»), так и от имени прилагательного (типа *senėti* «стареть» от *sėnas* «старый», *gerėti* «улучшаться»

⁶ P. Diels, *Altkirchenslavische Grammatik*, Heidelberg, 1932, стр. 262—264.

⁷ В. В. Бородич, Видовые отношения старославянского глагола. Докт. диссерт., М., 1952.

⁸ В. В. Бородич, К вопросу о значении аориста и имперфекта в старославянском языке, сб. «Славянская филология», М., 1951.

⁹ E. Fraenkel, *Litauisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1955—1963.

от *gēras* «хороший»), а также и от наречий (типа *daugēti* «увеличиваться» от *daūga* «много» и т. д.), парадигма которых также отличается от парадигмы примарных глаголов, как и в старославянском языке, ср., например, парадигму примарных глаголов типа *mylēti* «любить» с парадигмой деноминативного глагола *senēti* «стареть»: (ед. ч.) *senē-ju*, *senē-ji*, *senē-ja*, (мн. ч.) *senē-jame*, *senē-jate*, *senē-ju*. В литовском языке наряду с этими формами с имперфективным значением встречаются формы с приставками \dot{z} -, *pa*-, *su*-, имеющими перфективное значение, например, *pagerēti* «стать лучше», *suakmenēti* «окаменеть» и т. д. В этих случаях глагольные образования на \bar{e} - имеют, как правило, но не всегда, инкоативное значение. То же самое касается и латышского языка¹⁰. Подавляющее же большинство примарных глаголов на \bar{e} - в балтийских языках имеет значение состояния, как, например, *alēti* «быть бедным», *balbēti* «болтать», *bambēti* «ворчать», *barbēti* «брякать, звякать, дребезжать», *barškēti* «стучать, брякать» и т. д. Как правило, все глаголы на \bar{e} - в литовском языке интранзитивны, значительно реже встречаются транзитивные типа *girdēti* «слышать», *grēbti* «грабить, похищать», *mylēti* «любить», *turēti* «иметь, владеть» и т. д.

Еще в прошлом столетии Г. Ульянов, сопоставляя литовские формы: *kalū* (*kālti*) «кую» — *kalū* (*kalēti*) «я закован», *trekkiū* (*treñkti*) «с шумом толкаю» — *trinkiū* (*trinkēti*) «гремять, гудеть», *teszkiū* (*teszkti*) «брызгаю, бросаю» — *teszkiū* (*teszkēti*) «капаю, теку каплями», *žebū* (*žēpti*) «развожу огонь» — *žibū* (*žibēti*) «сверкаю, блещу» и т. д., а также ряд латышских и старославянских, приходит к выводу, что основы $i : \bar{e} : \bar{a}$ являются словообразовательными формами, различающими глаголы состояния от глаголов действия¹¹. Таким образом, в литовском, латышском и старославянском языках наблюдалась определенная соотношенность различных типов основ от одного корня. Выявленные Г. Ульяновым на балтийско-славянском материале отношения наблюдаются, как было показано выше, до известной степени и в других индоевропейских языках. В частности, основы на \bar{e} - и в других группах индоевропейской семьи (помимо славянских и балтийских языков — в латинском и германских) были связаны с глаголами состояния.

В германских языках речь идет о слабых глаголах III класса типа гот. (инф.) *haban*, (презенс ед. ч.) *haba*, *habais*, *habaiþ*, (мн. ч.) *habam*, *habaiþ*, *haband*, (претерит) *habaida*, (причастие II) *habaiþ*; др.-в.-нем. (инф.) *habēn*, (презенс) *habēm*, *habēs*, *habēt*, *habēmēs*, *habēt*, *habēnt*, (претерит) *habēta* или *hapta*, (причастие II) *gihabēt* «иметь». Этот класс глаголов существует также в скандинавских языках и остаточными формами представлен в древнеанглийском, древнесаксонском и древнефризском.

Из всех германских глаголов на \bar{e} - в некоторых случаях отчетливо можно выделить примарные (недевербативные) глагольные образования, которые находят соответствия в балтийских, славянских и латинском языках и выражают чаще всего состояние (с дуративным, иногда с интензивно-итеративным оттенком). Значение таких глаголов нетрудно уловить из следующих примеров: *flaka* «зиять», *flōa* «течь, плавать», *hozian* «думать, предполагать», *lafa* «размахивать; болтать», *skaman* «стыдиться», *trauan* «верить, доверять», *witan* «наблюдать» и т. д. Выше сказываемая в литературе точка зрения, что примарные глаголы на \bar{e} - в германских языках интранзитивны, не всегда находит подтверждение, ибо наряду с безусловно интранзитивными глагольными образованиями

¹⁰ См.: A. Senn, *Kleine litauische Sprachlehre*, Heidelberg, 1929, стр. 235; J. E n d z e l i n, *Lettische Grammatik*, Riga, 1922, стр. 618—621.

¹¹ Г. К. У л ь я н о в, Значения глагольных основ в литовско-славянском языке. I — Основы, обозначающие различия по залогам, Варшава, 1891, стр. 34 и сл.

имеются и явно транзитивные, такие, как: *haban* «иметь», *jagēn* «охотиться, преследовать», *iā* «обещать», *ratta* «придавать, прибавлять», *liā* «одалживать» и т. д. Однако все же в германских языках, как и в латинском, славянских и балтийских, интранзитивные преобладают. Из примарных можно выделить такие, которые имеют параллельные образования на *-ē-* во всех (или почти во всех) германских языках типа готских: *baian* «жить», *fi(j)an* «ненавидеть», *haban* «иметь», *hāhan* «висеть», *liban* «жить». Имеются и такие примарные глаголы, которые встречаются в древнеисландском языке, с одной стороны, и западногерманском ареале (т. е. в древнеанглийском, древневерхненемецком языках), с другой, например, др.-исл. *bifa* «дрожать, трепетать», *drupa* «наклонять, склонять», *fulgia* «следовать», *gara* «глазеть, зевать»; или в готском, с одной стороны, и западногерманском ареале, с другой, типа гот. *saurgan* «быть печальным, печалиться» (др.-англ. *sorgian*, др.-в.-нем. *s(w)orgēn*). Есть и такие, которые встречаются только в одном из германских языков (др.-исл. *blaka* «порхать, развеяться», *duga* «помогать, поддерживать», *flaka* «зиять», *flba* «течь, плавать», *glba* «гореть, сверкать», др.-англ. *fecce(e)an* «приносить, доставать», *losian* «освобождать», *plagian* «играть, танцевать» и т. д.).

Другую группу слабых глаголов III класса в германских языках образуют деноминативные, у которых их дуративное значение выступает уже менее ясно и отчетливо (др.-исл. *spara* «беречь, экономить, копить», *stara* «пристально смотреть», гот. *arman* «жалеть», *fastan* «держать», *hatan* «ненавидеть» и т. д.). Среди деноминативных глаголов на *-ē-* образованные от существительных — почти без исключения интранзитивны, некоторые — дуративны, другие — инхоативны, от прилагательных более древние — дуративны, более поздние (западногерманские и особенно древневерхненемецкие) — интранзитивно-инхоативны. Деноминативных образований, охватывающих все древнегерманские языки, нет. Количество деноминативных образований по отдельным германским языкам различно: так, в древнеисландском языке они составляют незначительную часть от всех глагольных образований на *-ē-*, в то время как в готском языке они составляют приблизительно $\frac{2}{7}$ всех глаголов на *-ē-*, в значительном количестве они представлены в западногерманском ареале (особенно в древневерхненемецком), поэтому областью распространения деноминативных образований на *-ē-* принято считать ареал западногерманских языков. Все эти деноминативные глаголы имеют соответствия в какой-то степени в балто-славянских и латинском языках, хотя и отличаются от соответствующих образований западногерманского ареала и от примарных глаголов типа ст.-слав. *velēti* «велеть», литов. *mylėti* «любить», о чем шла речь выше.

Говоря о деноминативных образованиях на *-ē-*, мы не упоминали о глаголах с носовым инфиксом и терминативным значением (с парадигмой сильного или II и III слабого спряжений) типа гот. *lais* «понимаю, знаю» (др.-англ. *leornian*, др.-в.-нем. *lernēn*), *kunnan* «узнать, признать», *miplan* «думать» и т. д., которые по характеру образования основы совпадают не с деноминативными, а с примарными (недевербативными) глаголами, и которые, по-видимому, и послужили исходным пунктом для образования германских слабых глаголов с носовым инфиксом, но уже с инхоативным значением, типа гот. *fullnan* «наполняться» от *fuls* «полный». Причем, если последние примарно-девербативного характера, то они явно общегерманского происхождения, если это деноминативные, то это в основном принадлежность готского и древнеисландского языков, и тогда индоевропейские параллели у этой группы глаголов, как правило, отсутствуют. В древнеисландском образования этого типа идут

по образцу слабых глаголов II класса, в готском языке — это так называемые слабые глаголы IV класса. Для западногерманских же языков (древнеанглийского, древнесаксонского и древневерхненемецкого) характерно отсутствие деноминативных образований с носовым инфиксом и инхотивным значением, где незначительную роль играют лишь девербативные образования (типа гот. *gawaknan* «проснуться», др.-исл. *vakna*, др.-англ. *wæcnian* II с остаточными формами III класса и др.), которые более всего представлены в древнеанглийском, в то время как в древнесаксонском имеется лишь один случай и несколько больше в древневерхненемецком¹².

До сих пор нами не рассматривалась большая группа деноминативных глаголов без носового инфикса с инхотивным значением, образованных от прилагательных и существительных, таких глаголов, которые характерны для западногерманского ареала. Так, к деноминативным глаголам, образованным от прилагательных, следует отнести др.-в.-нем. *rottēn* «краснеть» (*rot* «красный»), *hartēn* «затвердевать» (*hart* «твердый»), *kaltēn* «становиться холодным» (*kalt* «холодный») и т. д., от существительных — др.-в.-нем. *tagēn*, *bartēn*, *bogēn*, *nahtēn* и т. д. Такие образования в древнефризском и древнесаксонском языках имеют парадигмы II класса, а в древневерхненемецком — III класса слабых глаголов. Исследование древнеанглийского материала показало, что деноминативные образования с инхотивным значением в древнеанглийском с самого начала относились к классу глаголов на \bar{o} ¹³. Следовательно, древневерхненемецкие образования этого типа на \bar{e} как бы противостояли в древнеанглийском образованию на \bar{o} .

Таким образом, деноминативные глаголы с инхотивным значением образовывались в отдельных германских языках по различным принципам: в готском и древнеисландском — с помощью носового инфикса и особых флексий (в готском IV класс, в древнеисландском II), западногерманские же языки отказались от этого принципа образования: из существующих классов для выражения инхотивного значения стали подходить лишь глагольные образования на \bar{o} - и \bar{e} -, реже с носовым инфиксом. Что касается флексии, то в северных языках западногерманского ареала (древнеанглийском, древнефризском, древнесаксонском), где слабые глаголы III класса были уже значительно упразднены, использовались глагольные образования на \bar{o} -, в древневерхненемецком, где слабые глаголы III класса представляли живую категорию, победил принцип образования с помощью суффикса \bar{e} -. Такова классификация глаголов на \bar{e} - (слабых глаголов III класса) в германских языках.

Подведем некоторые итоги. Из проведенного выше исследования стало очевидным, что глаголы на \bar{e} - как категория встречаются в латинском, славянских, балтийских и германских языках в различном количестве. Во всех этих языках глаголы на \bar{e} - в основном примарные (исключение составляют старославянский и литовский языки, особенно литовский с большим количеством новообразований) выражают, как правило, состояние, интранзитивны (безобъектны) и имеют формальный показатель — суффикс \bar{e} -. Что касается языков греческого, хеттского и древнеиндийского, то, по нашему мнению, в них глаголы на \bar{e} - как категория не представлены. Но ввиду того, что определенные глагольные образования в хеттском, греческом и древнеиндийском имеют некоторое сходство с образованиями на \bar{e} - в четырех вышеперечисленных

¹² T. K a r s t e n, Beiträge zur Geschichte der \bar{e} -Verba im Altgermanischen, «Mémoires de la Société néophilologique», II, Helsingfors, 1897, стр. 260.

¹³ H F l a s d i e c k, Untersuchungen über die germanischen schwachen Verben III Klasse, «Anglia», LIX, 1935, стр. 153 и сл.

языках, что вызывало бесконечные споры среди ученых, в данном исследовании необходимо более подробно остановиться на греческом, хеттском и древнеиндийском материале.

В греческом языке формант \bar{e} - встречается в пассивном интранзитивном аористе на $-\eta\upsilon$. Однако следует, по-видимому, различать греческий аорист на $-\eta\upsilon$ и расширитель на \bar{e} -, который является общеиндоевропейским. Ф. Шпехт, например, отделяет греческий интранзитивный аорист на $-\eta\upsilon$: $\gamma\rho\alpha\phi\eta\eta\alpha\iota$ «быть написанным», $\beta\lambda\alpha\beta\eta\eta\alpha\iota$ «быть поврежденным» и др. от расширителя на \bar{e} - (встречающегося во всех других формах, кроме презенса), в образованиях типа $\mu\epsilon\lambda\eta\sigma\iota\mu\beta\rho\tau\omicron\varsigma$ «составляющий предмет заботы смертных, лелеемый людьми» от $\mu\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota$ (3-е лицо ед. ч. наст. вр.), $\mu\epsilon\lambda\acute{\eta}\sigma\alpha\iota$ (3-е лицо ед. ч. будущ. вр.) «составлять предмет заботы» и др. В исследовании об индоевропейском склонении Ф. Шпехт еще раз убедительно доказывает, что \bar{e} - греческого интранзитивного аориста ничего общего не имеет с \bar{e} - в $\sigma\chi\eta\sigma\omega$ «буду иметь», $\mu\epsilon\lambda\lambda\eta\sigma\omega$ «соберусь, буду намерен»¹⁴. Действительно, аорист по своему характеру и со своим значением определенного конкретного, моментального действия противоречит значению глаголов состояния на \bar{e} -. Это было убедительно показано на материале старославянского языка с привлечением греческого в исследовании В. Бородич.

Интересное исследование проделал в этом плане Г. Хирт¹⁵, который проследил, какие образования в презенсе соответствуют греческому интранзитивному аористу на $-\eta\upsilon$. Выяснилось, что в основном этому типу аориста соответствуют образования: а) на $-i-$ и б) на \bar{o} -.

Поэтому представляется, что наличие \bar{e} - в греческом языке в других формах, кроме презенса, а именно в пассивном аористе на $-\eta\upsilon$ можно объяснить, по-видимому, случайностью, так как это образование ничего общего не имеет с глаголами на \bar{e} -; образование же презенса в греческом языке отличается от образования его в вышеупомянутых языках несмотря на сходство корня.

Итак, 1) греческий аорист на $-\eta\upsilon$ не имеет ничего морфологически общего с \bar{e} - глаголов состояния, что блестяще доказал в своих исследованиях Ф. Шпехт; 2) сам аорист по своей природе противоречит значению глаголов состояния на \bar{e} -; 3) греческому аористу на $-\eta\upsilon$ в презенсе соответствуют главным образом образования на $-i-$ и \bar{o} -, как показало исследование Г. Хирта, — все это позволяет сделать вывод о том, что греческий интранзитивный аорист на $-\eta\upsilon$ не идентичен индоевропейским глагольным образованиям на \bar{e} -; таким образом, на основе этих фактов представляется более правильным исключить его из ареала распространения глагольных образований на \bar{e} -.

Перейдем к хеттскому материалу. Известно, что в морфологической структуре хеттского языка развиты основные элементы исходно общей для всех индоевропейских языков древней морфологической структуры. Однако не все еще элементы хеттской грамматики получили надлежащее сравнительно-историческое объяснение, и как раз наиболее трудным является вопрос о происхождении хеттского спряжения на $-hi$ и о его связях с глагольными категориями других индоевропейских языков.

В грамматиках по хеттскому языку¹⁶ глаголы спряжения на $-hi$ обычно делят на три класса согласно конечному звуку основы: 1) класс

¹⁴ F. S p e c h t, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947, стр. 313—314.

¹⁵ H. H i r t, Akzentstudien. II. Die Stämme auf $\bar{e}i$, IF, X, 1—2, 1899, стр. 23 и сл.

¹⁶ См., например: И. Ф р и д р и х, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952

согласных основ, 2) класс гласных основ, или $-a-$ основ, 3) класс гласных основ, или основ, оканчивающихся на дифтонг (речь идет в основном о дифтонге $\bar{a}i-$); последний не многочислен, к нему относятся всего 15 глаголов, правда, очень употребительных, например, $d\bar{a}i$ «ставить, класть», $\bar{a}i$ «идти, вынуждать идти», $p\bar{a}i$ «дать, давать», $n\bar{a}i$ «направлять, посылать», $\bar{s}\bar{a}i$ «давить, нажимать», $\bar{h}alz\bar{a}i$ «звать» (с частичным переходом в спряжение на $-mi-$) и т. д.

Учитывая, однако, 1) что спряжение на $-hi$ не обнаруживает какого-либо своеобразия в семантике относящихся к нему глаголов, наоборот — оба спряжения (на $-hi$ и на $-mi$) выступают в структуре хеттского языка как два равноправных и часто смешивающихся между собой морфологических типа; 2) что спряжение на $-hi$ только отчасти может быть идентично индоевропейскому перфекту и что все глаголы на $-hi$ ни в коей мере нельзя возводить к этому перфекту, а скорее к спряжению на $-\bar{o}-$; 3) что скорее суффиксы придадут различным глаголам на $-hi$ значение длительности, состояния и т. д. (например, суффикс $-\bar{s}k-$), представляется более правильным не считать хеттские глаголы на $-hi$ идентичными индоевропейским глагольным образованиям на $-\bar{e}-$ и, таким образом, исключить их из ареала распространения последних.

Трудно распознать глаголы на $-\bar{e}-$ в древнеиндийском. Создается впечатление, что глаголы на $-\bar{e}-$ полностью отсутствовали в этом языке. Можно было бы предположить, что глагольные формы на $-\bar{a}is$, $-\bar{a}it$ таит в себе глагольные образования типа $-\bar{e}-$, однако, как показало исследование Х. Бартоломе¹⁷ и других ученых, ни один из глаголов, имеющих эти окончания, не является глаголом на $-\bar{e}-$ в нашем понимании.

Таким образом, нет оснований причислять хеттские глаголы на $-hi$, греческий пассивный аорист на $-\eta$ и древнеиндийские глагольные формы на $-\bar{a}is$, $-\bar{a}it$ к глагольным образованиям на $-\bar{e}-$, а это значит, что необходимо исключить эти языки из ареала распространения глаголов на $-\bar{e}-$.

Глагольные образования на $-\bar{e}-$ как категория не представлены также в иранском, армянском, албанском и других языках¹⁸. Некоторые признаки глагольных основ на $-\bar{e}-$ отдельные языковеды усматривают в ряде языков, таких, как тохарский, древнеирландский, древнекимирский. Так, помимо германских, балтийских, славянских, латинского языков, где глаголы на $-\bar{e}-$ встречаются как категория, Х. Педерсен прослеживает, например, такие образования и в тохарском языке¹⁹, причем на первый план выступают следующие значения: «мочь», «висеть», «гореть», «блестеть», «говорить» и т. д. А priori можно было бы их ожидать и в кельтских языках, где они, однако, из-за внешних формальных причин трудно распознаваемы. Так, древнее образование на $-\bar{e}-$, по-видимому, можно усмотреть в древнеирландском *fil* из **welēts* «видящий» с относящимся сюда древнекимирским глаголом *gwelet* «видеть», древнеирландским *fil*²⁰, где представляется возможным связать суффикс $-\bar{e}-$ этого глагола с $-\bar{e}-$ в лат. *vidēre*, гот. *witan* из **widē-*.

В том же, что глаголы на $-\bar{e}-$ в германских, латинском, славянских и балтийских языках совпадают между собою не только по форме и лексико-грамматическому значе-

¹⁷ Chr. Bartholomae, Altindisch *āsīs* > lateinisch *erās*. Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte, II, Halle a. S., 1891, стр. 63—262.

¹⁸ См. по этому вопросу: Э. А. Макаев, указ. соч.; W Schmid, Studien zum baltischen und indogermanischen Verbum, Wiesbaden, 1963, стр. 98—100.

¹⁹ H. Pedersen, Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung, København, 1941, стр. 161 и сл.

²⁰ R. Thurneysen, A grammar of Old Irish, Dublin, 1947, стр. 479.

нию, но и по лексическому значению, не приходится сомневаться; ср., например, латинский глагол *cluēre* «слыть, называться», латыш. *sluvēt* «слыть, пользоваться репутацией» и ст.-слав. *slovo, sluti* «слыть, называть»; ст.-слав. *cělěti* «выздоравливать», др.-в.-нем. *heilēn*; ст.-слав. *ležati* «лежать», др.-сакс. *liggian*; лат. *rubēre* «краснеть», ст.-слав. *rъděti sja* «рдеть(ся), краснеть», др.-в.-нем. *irrotēn*; лат. *sedēre* «сидеть», др.-англ. *sittan*, ст.-слав. *šěděti*, литов. *sėdėti* и т. д.²¹

Итак, на основе исследованного материала можно сделать вывод, что для нас представляется совершенно очевидным совпадение глаголов на *-ē-* как категории не только по форме, но и по лексическому и лексико-грамматическому значению в германских, латинском, славянских и балтийских языках. Таким образом, именно этими языками и никакими другими очерчивается ареал распространения интранзитивных глаголов состояния на *-ē-*. В то же самое время представляется маловероятным включение в ареал распространения глаголов этого типа каких-либо глагольных образований в таких языках, как греческий, древнеиндийский, хеттский, кельтские и другие. Обращает на себя внимание тот факт, что те языки, в которых встречаются глаголы на *-ē-*, относятся в основном к западному ареалу индоевропейской семьи.

Таким образом, анализ исследованного материала показывает, что корреляция между наличием форманта *-ē-* и особым значением интранзитивного состояния могла быть более поздней и ареально ограниченной. Можно предположить, что так как первоначальная корреляция была иной или отсутствовала вообще, речь может идти о разном функциональном использовании данного форманта по разным ареалам.

Обращает на себя внимание тот факт, что в разных языках, где представлены глаголы на *-ē-* как категория, нет как категории индоевропейского перфекта (некоторое исключение составляют германские языки, где он представлен в несколько модифицированном виде, в виде претерито-презентных глаголов), что наводит на мысль о связи глаголов на *-ē-* с индоевропейским перфектом.

Насколько очевидно совпадение в значении и сходство в образовании этих глаголов в германских, латинском, балтийских, славянских языках, настолько спорным и трудным является разрешение вопроса о характере и происхождении основы и флексии этих глаголов, о времени их образования, об отношении их к индоевропейской видо-временной системе. Предпринималось немало попыток разрешить эти проблемы, но, к сожалению, до сегодняшнего дня вопрос остается открытым.

²¹ См.: Н. Н i r t, указ. соч., стр. 20—36.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

За последние 15—20 лет математические методы исследования стали широко применяться в гуманитарных науках, в частности в языкознании. Однако для лингвиста, получившего классическое гуманитарное образование и заинтересовавшегося качественно новыми методами исследования, которые нам представляются наиболее объективными и точными, применение математических методов и чтение литературы по математическому языкознанию составляют известные трудности. Отсюда естественное требование — работы по математическому языкознанию в языковедческом журнале должны быть написаны предельно четким языком, все вновь вводимые понятия однозначно определены, а лингвистический смысл их соответствующим образом описан, формулы и теоремы доказаны (или дана ссылка на соответствующие источники), наконец, совершенно недопустимы ошибки и опечатки, затрудняющие понимание сути дела.

Большинство статей по математическому языкознанию, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания», удовлетворяют этому требованию¹. Тем досаднее встретиться с явными промахами, на которых мы и хотим остановиться.

Применяя в любом разделе науки математические методы, в том числе методы математической статистики, следует иметь в виду, что сами по себе статистические характеристики ни в какой мере не могут заменить содержательного анализа характера изучаемого семейства распределений, они лишь способствуют этому анализу и позволяют дать количественные оценки качественным выводам. Попытку такой замены можно усмотреть в статьях Г. А. Лескиса², посвященных изучению зависимости между длиной предложений и характером текста. Для изучения этих зависимостей автор вычислил более полутора десятков различных статистических характеристик, не дав почти ни одной из них определения и не приписав им никакого лингвистического смысла. Это нагромождение числовых данных никак не может способствовать пониманию излагаемого вопроса, что видит и сам Г. А. Лескис, не использовавший в дальнейшем ни одной из вычисленных характеристик, кроме средней длины предложений.

На наш взгляд работа, аналогичная исследованиям Г. А. Лескиса, может быть сведена к вычислению значений всего двух величин. Выполнить ее можно так. Составить статистическое распределение длин предложений, т. е. таблицу, в одном столбце которой записаны длины предложений, а в другой — частоты их появления, следует построить графическое изображение этого распределения (полигон или гистограмму). Характер графика при известном опыте работы может подсказать исследователю (существуют и объективные приемы анализа) характер аналитической (формульной) записи зависимости между длиной предложения и его частотой в данном тексте. В примерах, рассмотренных Г. А. Лескисом, можно считать, что распределение является логарифмически-нормальным, что означает следующее. Если по оси абсцисс откладывать не длины предложений, а логарифмы для предложений, и по оси ординат откладывать частоты (эту работу очень удобно выполнять на полулוגарифмической бумаге), то графиком такого распределения окажется кривая, почти совпадающая с кривой нормального распределения, подробно описанной в математической литературе и имею-

¹ См., например: Ф. П а п, Количественный анализ словарной структуры некоторых русских текстов, ВЯ, 1961, 6; В. М. К а л и н и н, О статистике литературного текста, ВЯ, 1964, 1; Е. А. К о н ю с, Опыт применения статистического метода в области исторической лексикологии, ВЯ, 1964, 2 и др.

² См.: Г. А. Л е с с к и с, О размерах предложений в русской научной и художественной прозе 60-х годов XIX в., ВЯ, 1962, 2; е г о ж е, О зависимости между размером предложения и характером текста, ВЯ, 1963, 2; е г о ж е, О зависимости между размером предложения и его структурой в различных видах текстов, ВЯ, 1964, 3.

щей очень простое уравнение и наглядный смысл. Нормальное распределение

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}}$$

вполне характеризуется двумя параметрами: дисперсией и математическим ожиданием (средним арифметическим), методы вычисления которых общеизвестны. На этом собственно математическая часть исследования может считаться законченной, хотя при желании можно заняться анализом вопроса о том, насколько истинное распределение отличается от распределения, описываемого полученной формулой. Зная параметры логарифмически нормального распределения, можно получить ряд содержательных выводов с указанием степени достоверности этих выводов. Например, имея эти параметры для двух произведений одного или различных авторов, можно доказать, является ли различие в длинах предложений в этих произведениях существенным и закономерным или несущественным и случайным. Автор настоящей заметки совместно с С. Г. Булаевой выполнил подобный расчет для нескольких произведений Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого, Н. Г. Гарина-Михайловского и А. М. Горького. Во всех случаях распределение длин предложений в первом приближении оказалось логарифмически-нормальным и, следовательно, вполне характеризовалось двумя указанными выше параметрами.

Досадны многочисленные небрежности в оформлении работ. Так, в статье Г. Г. Белоногова «О некоторых статистических закономерностях в русской письменной речи» (ВЯ, 1961, 1) указаны параметры интегрального закона распределения словоформ текста, полученные методом наименьших квадратов: $k = 0,4464$ и $-c = 0,05357$. Весьма сомнительной представляется здесь уже точность в четыре значащих цифры. Далее. Подставляя указанные значения параметров в уравнение этого закона

$$F(x) = 1 - e^{-cx^k}$$

получим, как в этом нетрудно убедиться, убывающую неограниченную функцию (вместо возрастающей ограниченной), что совершенно лишено смысла. Следовало либо в уравнении не ставить минуса перед c , либо не ставить этот знак перед значением параметра. И это не опечатка — минус ошибочно поставлен и во всех остальных случаях.

Немало ошибок и в первой из упомянутых выше работ Г. А. Лескиса. Например,

в формуле для вычисления среднего квадратического отклонения вместо $\sum_{i=1}^n p_i n_i^2$

написано $\sum_{i=1}^n p n^2$. К тому же здесь указано, что $(\Delta n)^2 = \sum_{i=1}^n p_i n_i^2 - (\bar{n})^2$ есть среднее

квадратическое отклонение, хотя им является квадратный корень из этой величины. В табл. 2 указан параметр, p , в пояснениях к таблицам такого параметра нет, но зато есть p_{max} , который отсутствует в таблицах. Приходится догадываться, что речь идет об одном и том же параметре. К стати, вероятность p дана в процентах, в пояснениях же к таблицам говорится, что в процентах дается P , величина, которой в статье вообще нет. В табл. 5 приведены значения девяти параметров, характеризующих распределение длин предложений в научной прозе. Общий итог вычислен, по словам автора, в абсолютных величинах, хотя речь идет именно об относительных величинах, а не об абсолютных.

К сожалению, список подобных ошибок может быть легко увеличен. Видимо, и редакции журнала, и авторам помещаемых в нем работ следует быть более требовательными к качеству математического оформления статей по лингвистике.

Те, кто занимаются статистическими расчетами, знают, как много кропотливого труда приходится затрачивать для получения численного значения тех или иных характеристик. Тем более досадно, что труд исследователя сводится к нулю при столь небрежном оформлении результатов. И особенно досадно то, что математическая лингвистика, представляющая в умелых руках мощное орудие исследования, компрометируется и при таком количестве огрехов начинает казаться числовой эквилибристикой.

Л. Ф. Пичурин

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ (1962—1965)

Общий рост социалистической культуры в условиях развернутого строительства коммунизма влечет за собой повышение требований к культуре русской речи. С середины 50-х годов — после значительного перерыва — эти вопросы вновь встали в центре проблематики советского языкознания. Появились многочисленные публикации, рецензии на них, библиографические указатели, обзоры¹. Тенденции теоретических исследований и практической деятельности в сфере речевой культуры за рассматриваемые годы не претерпели коренных изменений.

В области издания практических пособий продолжается активное движение по намеченным путям: издаются (и переиздаются!) научно-популярные брошюры, повторяющие по содержанию, композиции, достоинствам и недостаткам издания, охарактеризованные в упомянутом обзоре. В них, как правило, содержатся общие сведения о нормах и стилях литературного языка, рассматриваются типичные речевые ошибки; обычные коммуникативные общие места и материал, непо-

средственно к теме не относящийся (о приемах подготовки к лекции, о работе над книгой, об ораторском искусстве и т. д.). Шаблон построения стал жестче, а недостатки — очевиднее: отсутствие четкого выделения проблем в учении о культуре речи ведет к неясностям в освещении тенденций языкового развития, в разграничении неправильностей и закономерно развивающихся явлений, в вопросах стилистической дифференциации².

Широка целей и ограниченный объем предопределяют фрагментарность, а порой и непоследовательность изложения даже в лучших пособиях³, лишь сообщающих сумму сведений, но не рассчитанных на превращение знания литературных норм в практическое овладение имп. В этом свете заслуживает положительной оценки попытка создания своеобразного учебника по культуре речи (для факультативного курса «Культура русской речи» на историко-филологическом факультете Казанского университета)⁴. Содержание и построение этой книги, состоящей из упражнений по орфоэпии и лексико-грамматическим нормам, свидетельствует о том, что «культура русской речи» имеет свой круг за-

¹ Из последних наиболее подробным является обзор 1961 г.: Л. П. Крысин, Л. И. Скворцов, Б. С. Шварцкопф, Проблемы культуры речи (Обзор), ИАН ОЛЯ, 1961, 5. См. также обзоры и библиографии: В. Л. Воронцова, А. И. Сумкина, О книгах по культуре речи, сб. «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955; А. Н. Трубинов, Работы по культуре речи, «Р. яз. в шк.», 1957, 3. Литература о культуре речи: «Вопросы культуры речи», III, М., 1961, и V, М., 1964; И. Г. Добродомов, Новые книги по культуре речи (1961—1963 гг.), «Р. яз. в шк.», 1963, 2; Е. В. Ухмылина, Культура и развитие речи. Указатель литературы, Горький, 1959; Е. И. Кукункина, А. Г. Степанова, Культура русской речи. Аннотированный указатель литературы... Гос. б-ка им. В. И. Ленина, М., 1962 (реценз.: Е. И. Голанова, Б. С. Шварцкопф — «Советская библиография», 1964, 1).

² Например: В. Перетрухин, Беседы о языке и культуре речи, Тюмень, 1962; Е. В. Язовицкий, Говорите правильно. Пособие для учащихся. М. — Л., 1964. Последняя, в частности, включает в себя и сведения об ораторском искусстве, тропах, списки крылатых слов, употребительных синонимов, даже хрестоматию высказываний о русском языке.

³ Д. Э. Розенталь, Культура речи, 3-е изд., М., 1964 [реценз.: Эр. Хапира — «Вопросы культуры речи», VI, М., 1965]; О. П. Беляева, О культуре устной речи, Пермь, 1963 (реценз.: И. Г. Добродомов — «Вопросы культуры речи», V, М., 1964).

⁴ Е. А. Бахмутова, Культура речи, Казань, 1960 (2-е изд. — Казань, 1964) [реценз.: Б. С. Шварцкопф — «Вопросы культуры речи», VI].

дач, отличный от традиционного курса «практической стилистики»⁵.

Наметилось движение и по новым направлениям; сделаны первые шаги к разъяснению читателям, далеким от лингвистики, научных основ речевой культуры (например, сборник небольших очерков по актуальным темам «Наша речь»⁶), а также специализированных пособий, дающих изложение норм разных разделов языка (например, словарь-справочник «Правильность русской речи»⁷).

Положительное значение книги «Правильность русской речи» в том, что она ставит на научную основу анализ явлений и процессов, наблюдающихся в современной русской речи. Тем самым она направлена против субъективизма и произвольности в оценке речевых фактов, против абстрактно-формального анализа их и против псевдоноваторства в области нормализации литературной речи⁸. Второе издание книги включает около 600 словарных статей; многие из статей переработаны, значительно усилена аргументация и иллюстративный материал. Книге предпослано введение, содержащее краткую характеристику структуры национального русского языка и типологию ошибок в словоупотреблении⁹. В приложении дан библиографический список и орфоэпический словарь, содержащий около полутора тысяч слов. Во втором издании наметился дальнейший отход от узких задач «словаря неправильностей» в сторону универсального пособия по

культуре речи — краткого объяснительного, нормативно-стилистического словаря-справочника, цель которого — объективно описать современные литературные нормы в их становлении. Таким образом прокладывается путь к составлению «важного и необходимого, впрочем у нас до сих пор не бывшего даже предметом обсуждения „Словаря русской речи“, в котором нашли бы отражение и истолкование своеобразия и тонкости современного стилистического употребления»¹⁰. На этот путь встал авторский коллектив словарного сектора Ленинградского отделения Института языкознания, намечающий создание нормативно-стилистического словаря современного русского языка.

И все же задача создания общедоступных, научно обоснованных пособий по отдельным вопросам речевой культуры далека от разрешения. По-прежнему нет фразеологического словаря, словаря синонимов, словаря семантических систем (идеографического). Неясными остаются даже принципы построения общедоступной книги по стилистике современного русского языка. В печати неоднократно говорилось о потребности в таких пособиях, как «Именное и глагольное управление», «Фразеология», «Культура деловой речи» и др.

Нужда в полноценных пособиях по культуре русской речи обостряется и тем, что — с учетом особой роли русского языка в межнациональном общении народов СССР — рассматриваемые нами издания оказываются своего рода «эталоном» для соответствующих работ по другим языкам¹¹. Поэтому очень своевременно решение Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» о разработке конспективного макета брошюр по культуре речи.

Особое место в литературе по культуре речи занимают книги, написанные советскими писателями. Лучшая из них — книга К. И. Чуковского «Живой как жизнь»; творческие рецензии на нее уже написаны, и достаточно напомнить лишь факт ее появления и переиздания. Многочленные наблюдения над типичными речевыми ошибками собраны в книге покойного ленинградского писателя Б. И. Тимофеева.

¹⁰ В. В. Виноградов, Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры, ВЯ, 1961, 4, стр. 4.

¹¹ Ср. хотя бы издания по культуре украинского и белорусского языков, повторяющие те же особенности и недостатки рассмотренных выше брошюр, например: А. П. Коваль, Про культуру української мови, Київ, 1961; е е же, Культура української мови, Київ, 1964; Ф. Янкоўскі, Питанні культуры мовы, Мінск, 1961.

⁵ Массово издающиеся сейчас пособия по этому курсу отвечают задачам подготовки журналистов и не могут считаться пособиями по культуре речи; библиографию и анализ предмета таких пособий см. в обстоятельной статье М. Н. Кожаной «О предмете практической стилистики и смежных дисциплинах» («Уч. зап. Пермск. гос. ун-та», XXII, 1, 1962).

⁶ «Наша речь», М., 1965.

⁷ «Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. Опыт словаря-справочника», М., 1962 (редакт.: Эр. Ханира — «Новый мир», 1963, 3; Ю. А. Бельчиков, В. П. Вомперский — «Р. яз. в шк.», 1963, 5); «Правильность русской речи. Словарь-справочник», 2-е изд., испр. и дополн., М., 1965.

⁸ Ю. А. Бельчиков, В. П. Вомперский, указ. соч., стр. 113.

⁹ См.: В. В. Веселтский, О некоторых понятиях правильной речи, «Вопросы культуры речи», VI. Автор, частично используя для иллюстраций примеры из книги «Правильность русской речи», намечает категории речевых ошибок для слов (в связи с выбором слова как средства выражения или в связи с возможностью его использования в данном контексте) и для словосочетаний.

Переиздана также книга Л. Я. Борового, рассказывающая о смысловых превращениях слов и понятий в советский период¹². Нельзя, впрочем, не отметить, что в последней книге часто смешиваются особенности слова и обозначаемой реалии. Книжки, принадлежащие перу писателей, отличаются эмоциональностью, ярким и темпераментным повествованием. Этим качествам недостает книгам, написанным лингвистами.

Разумный синтез науки с занимательностью и доступностью в написании пособий по культуре речи еще не достигнут, хотя стремление к тому, что В. И. Ленин называл остроумной манерой письма, обозначилось — по крайней мере в серии массовых научно-популярных книг по языкознанию издательства «Наука»¹³. Их следует упомянуть здесь потому, что они закладывают фундамент для дальнейшего лингвистического воспитания и совершенствования речевой культуры. Филологическая грамотность у нас не очень высока (это наглядно продемонстрировало обсуждение предлагавшегося упорядочения орфографии), и налицо разрыв между массовым стремлением к культурной речи и уровнем лингвистических знаний. Серьезное же обсуждение проблем речевой культуры, как заметил еще Г. О. Винокур, должно предвзяться общей начитанностью и культурностью, в частности известным минимумом лингвистических знаний.

В последние годы вышли пособия справочного характера «Словарь сокращений русского языка» и «Словарь названий жи-

телей (РСФСР)»¹⁴ (они посвящены вопросам, явившимся предметом обсуждения в печати; вспомним хотя бы споры на страницах газет о суффиксе *-чинин*). Первый разъясняет свыше 12 000 сокращений и дает указания на их произношение и грамматический род. Второй включает около 6000 названий, извлеченных из разных источников, и показывает употребительность различных средств для образования наименований жителей по названию местности. Фиксируя большой материал, эти словари имеют справочное и филологическое значение, но не ставят перед собой цели служить нормативным пособием для употребления сокращений и названий жителей. Работа по нормативному упорядочению данных категорий — еще впереди.

Характерное новшество последних лет — в том, что журналы и газеты от случайных, время от времени появлявшихся заметок перешли к систематической публикации материалов о культуре речи. Постоянные отделы вроде «Язык мой, друг мой» (журнал «Работница» — под ред. А. И. Ефимова), «Поговорим о языке» (журнал «Семья и школа» — под ред. А. А. Реформатского), «Служба языка» («Литературная газета» — под ред. К. И. Чуковского и Л. В. Успенского), «В мире слов» (Центральное радиовещание, научные консультанты — Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов) начинают с 1964 г. играть заметную роль в пропаганде речевой культуры средствами «массовой коммуникации», в воспитании отношения к языку как к сложной системе развивающихся явлений, не всегда допускающей категорический ответ — «правильно» или «неправильно».

К сожалению, здесь не чувствуется еще продуманного плана; выбор обсуждаемых проблем и фактов во многом случаен, подчас слепо следует письмам, получаемым редакциями; рекомендации нередко плохо мотивированы. Вся эта деятельность остро нуждается в тщательно разработанном стратегическом и тактическом планах, исходящих из компетентной и авторитетной штаб-квартиры. Пока что опасность ценной реакции произвольной нормализации велика, а контуры координационного центра еще только вырисовываются (речь идет, конечно, не о «диктате», а о продуманных рекомендациях, об «организации» тематики компетентными и авторитетными лицами).

Активность пропаганды вопросов культуры речи за последние годы заметно повысилась, однако разные виды ее испол-

¹² К. Чуковский, Живой как жизнь, 2-е изд., М., 1963 (рец.: В. П. Григорьев — «Вопросы культуры речи», IV, М., 1963); Б. Тимофеев, Правильно ли мы говорим? Заметки писателя, 2-е изд., Л., 1963 (рец. на 1-е изд.: А. А. Реформатский — «Р. яз. в нац. шк.», 1962, 1; Эр. Ханпир — «Вопросы литературы», 1962, 1); Л. Боровой, Путь слова, 2-е изд., М., 1963.

¹³ А. А. Леонтьев, Возникновение и первоначальное развитие языка, М., 1963; Е. А. Земская, Как делаются слова?, М., 1963 (на обе книги рец.: Эр. Ханпир — «Новый мир», 1964, 7); И. С. Ильинская, О богатстве русского языка, М., 1963 (рец.: Т. Г. Винокур — ИАН ОЛЯ, 1964, 6); М. В. Панов, И все-таки она хороша! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках, М., 1964 (рец.: Т. М. Николаева — «Р. яз. в нац. шк.», 1964, 3); Д. Н. Шмелев, Слово и образ, М., 1964; А. В. Суперацкая, Как вас зовут? Где вы живете?, М., 1964. К этому жанру примыкает и книга М. Д. Феллера «Как рождаются и живут слова. Книга для учащихся» (М., 1964).

¹⁴ «Словарь сокращений русского языка», М., 1963 (рец.: О. С. Ахманова — ВЯ, 1964, 4; Р. М. Цейтлин — «Вопросы культуры речи», V, М., 1964; Г. В. Павлов — ФН, 1964, 4); «Словарь названий жителей (РСФСР)», М., 1964.

зуются крайне неравномерно. На фоне массовости газетно-журнальных публикаций бросается в глаза нерегулярность выхода в свет книг и брошюр, посвященных как собственно культуре речи, так и научно-популярному изложению основ лингвистики. Не участвует в пропаганде культуры русской речи телевидение; не используется в борьбе за совершенствование речи учащиеся (да и взрослые) учебное кино. Не ясны еще пути пропаганды культуры речи в народных университетах культуры и других рожденных нашим временем формах образования и воспитания масс.

Средняя школа до сих пор слабо борется за культурную речь, недостаточно занимается лингвистическим воспитанием, за которое ратовал еще Г. О. Винокур. Прессе и радио приходится восполнять этот пробел, сообщая массам пользующихся языком те знания, которые они должны были бы получить в школьные годы. Отрадно, что методические журналы («Русский язык в школе», «Русский язык в национальной школе» и другие) стали наталкивать учителей на целеустремленную работу в этом направлении. Видимо, пора пересмотреть школьные программы, ибо усвоение литературных норм «не может ограничиваться лишь механическим закреплением навыков. Оно требует сознательного отношения к вопросам н о р м ы и связывается с более широкими задачами культуры речи»¹⁵. Возможности работы по повышению сознательного отношения учащихся к языку были, например, продемонстрированы в ходе экспериментального обучения в школе № 91 г. Москвы (в эксперименте приняли участие лингвисты).

*

Недостатки в пропаганде культуры речи во многом объясняются как состоянием нормализации современного русского литературного языка, так и неразработанностью теоретических проблем культуры речи.

Различные уровни языка в различной мере охватываются нормализацией и описанием характерных для них норм. Несмотря на выход в свет двух изданий словаря-справочника «Правильность русской речи», а также появление многочисленных статей и заметок об употреблении отдельных слов и выражений, нормализация словоупотребления оставляет желать лучшего. Здесь наметилось опасное стремление узаконить некоторые произвольные рекомендации, излишняя борьба с сосуществующими вариантами, неоправданная строгость в запретах.

Большая работа по нормализации предстоит в области грамматики. В этом отно-

шении очень важны исследования с целью создания грамматики, в которой описание грамматической системы русского языка середины XX в. проводилось бы «в непосредственной связи с понятием грамматической нормы как такого образования и употребления форм и категорий, которое с абсолютной последовательностью воспроизводится в коллективной практике носителей литературного языка — в определенных условиях ограничения (функционально-стилевых) или вне всяких ограничений»¹⁶.

После выхода в свет в 1959 г. словаря-справочника «Русское литературное произношение и ударение» под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова не появлялось серьезных работ в области орфоэпии.

В последние годы наблюдается обострение интереса к теоретическому исследованию вопросов культуры речи. В печати настойчиво выражалось желание иметь специальный журнал, в котором бы, наряду с практическими рекомендациями, печатались теоретические статьи. Частичным решением вопроса явилось превращение неперодической серии сборников «Вопросы культуры речи» в ежегодное издание¹⁷. Эти сборники, задуманные и осуществленные С. И. Ожеговым, имели большое значение для привлечения внимания научной общественности к теоретической разработке проблем речевой культуры. Статья С. И. Ожегова «Очередные вопросы культуры речи» (вып. I) сформулировала основные задачи, решение которых необходимо для нормализации русского литературного языка, и прежде всего — определение нормы применительно к различным сторонам языка; «широкая научная пропаганда принципов разумной нормализации литературной речи» должна сочетаться с «разъяснением подчас ошибочных, но имеющих хождение представлений о развитии языка и о факторах, влияющих на установление норм» (стр. 33).

В сборниках «Вопросы культуры речи» помещаются многочисленные статьи по частным вопросам нормализации и стилистики языка, интересующим советскую общественность. Определились три основных круга обсуждаемых проблем: 1) нормализация современного русского языка, 2) процессы развития современного русского языка, 3) стилистика совре-

¹⁶ «Принципы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. Тезисы докладов на заседании Ученого совета [Ин-та русского языка АН СССР]. Февраль 1965 г.», М., 1965, стр. 8.

¹⁷ «Вопросы культуры речи», М., I — 1955; II — 1959; III — 1961; IV — 1963; V — 1964; VI — 1965 (издается сектором культуры русской речи Ин-та русского языка АН СССР).

¹⁵ Е. С. Истрина, Нормы русского литературного языка и культура речи, М. — Л., 1948, стр. 3.

менного русского языка и взаимодействие стилей. Этим проблемам посвящены также специальные анкеты, адресованные лингвистам и писателям (первые ответы печатаются в вып. VI). Однако обсуждение теоретических вопросов велось в сборниках недостаточно четко и планомерно; кроме того, уровень сборников в целом является недостаточно ровным: то слишком популярным, то подчеркнута «научным».

Становится все очевиднее, что необходимо освободиться от вкусового «субъективно-эстетического» подхода к проблемам речевой культуры: только построение научной теории обеспечит их объективно-историческое осмысление — условие для плодотворного решения практических задач. Программа исследования теоретических основ культуры языка и культуры речи очерчена в статье В. В. Виноградова «Проблемы культуры речи и некоторые задачи советского языковедения»¹⁸, развивающей идеи более ранних его статей¹⁹.

Для целенаправленного регулирования процессов развития, для нормализации литературного языка необходимо анализировать не только разнообразные речевые явления, личные и общественно-групповые оценки, но и «речевую жизнь» общества в целом, весь комплекс явлений, относящихся к разным сферам употребления языка. Исходя из того, что в основе «речевого существования» лежит единая структура русского языка с ее функциональными разновидностями (устными и письменными), надо раскрыть закономерности развития языка, изучить функционально-стилистические вариации разных сторон его системы, описать стили языка и стили речи.

Целесообразно также разграничить понимание терминов «культура языка» (определение языковых норм на всех уровнях системы в историко-результативном и динамическом планах; определение структурных типов разных стилевых систем языка, их соотношения и взаимодействия) и «культура речи» (анализ всей полноты современной речевой жизни в ее соотношении с системой языка; определение разных композиционных форм речевых построений с уточнением границ употребления слов, выражений, конструкций и диапазона их колебаний).

Обоснование культуры речи как раздела лингвистики требует описания живых литературных норм (в их единстве), оценки тенденций их развития, уяснения стилистических богатств и законов их использования. «Наука о культуре

языка или культуре речи представляет собою теоретическую и практическую дисциплину (или сферу исследований), смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы... с целью живого, оперативного воздействия на дальнейшие процессы развития языка...» (стр. 9). Но в отличие от стилистики литературной речи, учение о культуре речи «распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи и в систему литературных норм» (стр. 15).

В связи с этой программой особое значение приобретает «стилистический аспект» исследований в области культуры речи. На тесную связь вопросов нормы и нормализации с разработкой проблем стилистики указывалось неоднократно. «Анализ стилистических явлений опирается на понятие нормы и ее возможных вариаций», — писал В. В. Виноградов, подводя итоги дискуссии по стилистике²⁰. Приходится констатировать, что разработка русской стилистики продвинулась с тех пор незначительно. Почти нет работ, в которых описывались бы функциональные стили литературного языка и их структурные особенности; при отсутствии конкретных исследований не появляются и обобщающие труды по стилистике, кроме отдельных работ теоретического характера²¹.

Не менее важным представляется рассмотрение культуры языка и речи в свете активно обсуждавшихся в 20-е годы, но затем незаслуженно забытых идей «языковой политики», о которых своевременно напомнил В. П. Григорьев в статье «Культура языка и языковая политика (Вместо рецензии на книгу К. И. Чуковского)»²². «Языковая политика» — это «теория и практика сознательного воздействия общества на ход языкового развития», т. е. прежде всего «целенаправ-

²⁰ В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, 1, стр. 66.

²¹ См., например: М. Н. Кожина, Стилистика и некоторые ее категории (К постановке вопроса), Пермь, 1961; е е ж е, О понятии стиля и месте языка художественной литературы среди функциональных стилей, Пермь, 1962; А. И. Чижижко-Полейко, Стилистика русского языка, ч. I — Воронеж, 1962; ч. II — Воронеж, 1964; М. В. Панов, О стилях произношения (в связи с общими проблемами стилистики), сб. «Развитие современного русского языка», М., 1963. См. также: K. Hausenblas, Základní okruhy stylistické problematiky, «Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963.

²² «Вопросы культуры речи», IV, М., 1963

¹⁸ ВЯ, 1964, 3.

¹⁹ В. В. Виноградов, О культуре русской речи, «Р. яз. в шк.», 1961, 3; е г о ж е, Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры, ВЯ, 1961, 4.

ленное и научно обоснованное руководство функционированием существующих языков» (стр. 8). В широком контексте «языковой политики» культура речи «в собственном смысле слова, т. е. — прежде всего — строгое соблюдение действующих норм языка, „чувство соразмерности и соразности“ в пользовании языком связывается с «более высоким ярусом „языковой политики“, определением самих языковых норм», тем, что «следовало бы назвать уже не „культурой речи“, а „культурой языка“» (стр. 9).

Сознательное воздействие на стихию развивающегося языка, определение «нужного» и «ненужного» должно (и в этом суть теоретических и практических задач культуры языка и речи) базироваться на «общем учении о механизме языковой эволюции»²³, на выяснении «самой „техники“ взаимодействия внутренних и внешних языковых изменений, принципов сотрудничества и взаимозависимости социально стимулированного и системно обусловленного в языке»²⁴. При этом «должны учитываться не только внутрисистемные факторы, но и социологические соображения, касающиеся функционирования языка; не только действующие частные тенденции развития, но и возможности целостной унификации, если угодно — языковой экономики; не только национальные традиции, но и максимально широкий интернациональный контекст; не только тонкие и статистически осмысленные наблюдения, но и результаты мысленного эксперимента» (стр. 13) — только на такой основе возможны научная оценка новообразований и отклонений от нормы, научная критика пуризма и ангиноормализаторства²⁵.

Коренной вопрос речевой культуры — проблема нормы — по-прежнему разрабатывается без учета общих направлений языковой политики общества и без попыток раскрыть механизм эволюции языка на нынешнем этапе. Появившиеся в последнее время работы в принципе мало что добавляют к известным взглядам

²³ Е. Д. Поливанов, Историческое языкознание и языковая политика, сб. «За марксистское языкознание», М., 1931, стр. 25.

²⁴ М. В. Панов, О развитии русского языка в советском обществе (К постановке проблемы), ВЯ, 1962, 3, стр. 14. Именно поэтому трудно переоценить значение разрабатываемой сейчас в Ин-те русского языка АН СССР темы «Русский язык и советское общество» и для научного обоснования языковой политики и культуры русской речи.

²⁵ См.: В. П. Григорьев, О нормализаторской деятельности и языковом «пятатке», «Вопросы культуры речи», III, М., 1961; Л. П. Крысин, Культура речи и языковой пуризм, «Р. яз. в шк.», 1963, 3.

Л. В. Щербы, А. М. Пешковского и других ученых, скорее лишней раз демонстрируют сложность и внутренние противоречия этой проблемы, чем предлагают конструктивные решения. Остро ощущается отсутствие конкретных исследований, связанных с развитием и становлением норм на разных ярусах языковой системы²⁶ и в разных типах письменной и устной речи. Неясными остаются вопросы о вариативности норм, степени их распространенности и стабильности в разных сферах употребления, об их колебаниях и отклонениях от них, о возможности статистического подхода к понятию нормы²⁷.

Осмысление социальной основы понятия нормы (и культуры речи в целом) — пожалуй, самый отстающий участок, несмотря на то, что его важность прокламируется во всех последних работах. В этом плане представляется полезным обобщить и критически оценить взгляды общественно-авторитетных лиц, речевая практика и мнения которых играют существенную роль в формировании общественно-групповых и индивидуальных вкусов носителей языка. Из работ такого рода следует отметить анализ взглядов выдающегося советского писателя К. А. Федина²⁸.

Вопрос об отношении литературно-языковой нормы к конкретным типам речи большей частью решается умозрительно с указанием на неизбежность конфликта между «языковым идеалом» и литературным речевым бытом, между «образцовой речью», законы которой отражены в нормативных грамматиках и словарях, и живой речью, узусом; «...стандартность (литературного языка. — В. К., Б. Ш.) представляется на первый взгляд не столько фактом реальной действительности, сколько теоретическим требованием. Но в практическом употреблении

²⁶ Таких, как, например, работа: В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Словообразование и культура речи, «Р. яз. в шк.», 1963, 4.

²⁷ См.: Л. К. Граудина, Носков или носок? (Об одном приеме исследования), «Вопросы культуры речи», VI.

²⁸ В. П. Вомперский, К. А. Федин о культуре русской речи (О книге К. А. Федина «Писатель. Искусство. Время»), «Вестник [МГУ]», VII, 1963, 5; см. также замечания В. В. Виноградова в работе «Вопросы поэтики и стилистики в литературно-критических трудах К. А. Федина» (прибавление 2-е к книге «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика», М., 1963). В этом же плане представляют интерес оценки в книге Л. Я. Бороваго «Путь слова», затрагивающие социологический аспект речи (общественно-политическое восприятие семантики).

языковая норма является реальностью... это реальность языковой системы, пребывающей в относительно устойчивости, в колеблющемся равновесии»²⁹.

Разрабатывается и более строгий подход к пониманию языковых норм как «закрепленных общим употреблением значений слов, фонетической системы, моделей и средств словообразования и словоизменения, наконец, — системы моделей словосочетаний и предложений»³⁰. Признаком литературного языка здесь считается не общая констатация «нормативности» и «литературности выражения» (т. е. наличия развитых структур монолога и диалога, а также развитой функциональности, способности обслуживать разные сферы общения), а строгость норм и стремление их регламентировать.

Не декларируя общий тезис о роли в нормализации языка «научных прогнозов, подканных знанием внутренних законов языкового развития и отчетливым пониманием тех общественных условий, которые должны оказать решающее влияние на судьбы различных явлений общепародного языка, на будущее состояние литературного языка»³¹, В. А. Ицкович разрабатывает принципы структурного подхода к установлению нормативности языкового факта: соответствие модели языка, распространенность, признание правомерности сосуществования вариантов нормы и др.

В последние годы наметился подход к изучению нормы на основе категории вариантности средств выражения³². При

этом и норма предстает как единственная возможность или вариант образцового употребления единицы языка, которое имеет «относительно постоянный характер в рамках определенного периода литературного языка»³³.

Стремление установить зависимость между нормой и характером отклонения от нее привело Ю. А. Бельчикова к выявлению трех типов норм: 1) закрепляющих общеобязательные структурные особенности языка, 2) регулирующих функционирование языковых единиц в литературном языке в отличие от нелитературных сфер, 3) регламентирующих выражение смысловых и эмоционально-экспрессивных оттенков различными средствами языка; в соответствии с этим нарушения норм разного типа оцениваются по-разному. Изучение типологии норм по характеру отклонений от них представляет безусловный интерес, но нуждается в подтверждении обширным конкретным материалом.

Разработка проблемы нормы у нас в значительной мере ориентируется на идеи пражской лингвистической школы, для которой норма — система обязательных манифестаций языка в речи³⁴. Исследователей занимают такие вопросы, как проблема нормализации, социальная обусловленность становления норм, характер норм на разных уровнях и возможность конфликта между нормами разных уровней³⁵, конфликт норм во времени, соотношение категорий обязательности и распространенности, сознательности и стихийности в утверждении но-

ной работе Д. А. Кожухаря, стр. 4—5; ср.: O. von Essen, Norm und Erscheinung im Leben der Sprache, ZfPh, 9, 2, 1956. Ср. также: Н. Н. Семенов, Некоторые вопросы изучения вариантности, ВЯ, 1965, 1 (на материале немецкого языка).

³³ Ю. А. Бельчиков, О нормах литературной речи, «Вопросы культуры речи», VI.

³⁴ См.: V. Navránek, Ukoly spisovného jazyka a jeho kultura, «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932; его же, Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, «Actes du 4-me congrès international des linguistes», Copenhague, 1938; Б. Трнка и др., К дискуссии по вопросам структурализма, ВЯ, 1957, 3. Ср. в указанной статье Ю. А. Бельчикова о регламентации использования языковых средств в процессе речевого общения как о сущности нормы.

³⁵ См.: Ю. С. Степанов, О предпосылках лингвистической теории значения, ВЯ, 1964, 5. Соизмеримость между разными уровнями, в частности «нахождение значения на уровне нормы», признается актуальнейшей задачей — и справедливо (стр. 74).

²⁹ Р. Р. Гельгардт, О языковой норме, «Вопросы культуры речи», III, М., 1961, стр. 34—35. Тут легко заметить крен в сторону известных взглядов Л. Ельмслева, признававшего норму абстракцией, искусственно полученной из узуса (см. его работу «Язык и речь» в «Истории языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1960). Ср. также: Д. А. Кожухарь, К вопросу о характере языковой нормы, «Тезисы докладов научно-методической конференции ф-та иностранных языков [Одесск. ун-та], Одесса, 1964, стр. 3.

³⁰ В. А. Ицкович, О языковой норме, «Р. яз. в нац. шк», 1964, 3, стр. 6.

³¹ Р. Р. Гельгардт, указ. соч., стр. 33—34.

³² См.: О. С. Ахманова, Ю. А. Бельчиков, В. В. Веселитский, К вопросу о «правильности» речи, ВЯ, 1960, 2; О. С. Ахманова, В. В. Веселитский, О «словарях правильной речи» («dictionaries of usage»), «Лексикографический сборник», IV, М., 1960; Ю. М. Скребнев, К вопросу об «ортологии», ВЯ, 1961, 1; М. Н. Кожика, О предмете практической стилистики и смежных дисциплин, стр. 160—163. Любопытен подход к вариативности, «эластичности контуров» норм в указан-

вых и смене старых норм и т. д. Привлекло внимание наших ученых и предложение преодолеть противоречивость дихотомии «язык — речь» путем изучения соотношения «система — норма — речь», где норма — совокупность реализованных возможностей³⁶.

Интересны попытки изучения норм русского литературного языка «в географической проекции» и в условиях иноязычной среды³⁷. Ведь «многие представители братских народов и народностей, входящих в наш великий Союз..., говорят и по-русски и тем неминуемо принимают то или другое участие в создании норм русского литературного языка и произношения»³⁸. И хотя справедливо, что «„национальные варианты“ русского языка, имеющие место в отдельных случаях, не следует узаконивать и противопоставлять общелитературному русскому языку»³⁹, изучение норм русской литературной речи в иноязычной среде (как и «социальных вариантов» в разных районах «русского ареала») может иметь практическое значение, прежде всего — для подъема культуры русской речи у нерусского населения СССР.

Трудности, встающие на пути определения понятий культуры речи и языка, порождают и совершенно иной подход ко всей проблематике. В этом плане интересны последние работы Б. Н. Головина⁴⁰, который задачу видит не в разработке культуры речи как раздела лин-

гвистики в свете языковой политики, базирующейся на понимании механизма эволюции языка, а в анализе так называемой «хорошей речи», в построении «типологии качеств речи». На основе разных типов связи речи с внеречевыми явлениями истолковываются и определяются такие качества речи, как чистота, богатство, точность, краткость, выразительность и т. п.

Обращение к понятиям, лежащим за пределами лингвистики, несомненно, нужно, однако трудно согласиться с предлагаемым расширительным толкованием задач языковедов в этой области. Исследование культуры языка и речи должно вестись преимущественно в плане выражения. В круг вопросов, связанных с культурой речи, не входит воспитание способности «хорошо думать, хорошо чувствовать, хорошо знать». При таком «более широком взгляде на речевую культуру» собственно языковедческий аспект растворяется, а «проблема речевой культуры перерастает в проблему воспитания человека»⁴¹.

Можно констатировать, что за последние годы в советском языкознании наметился серьезный теоретический интерес к проблемам культуры речи, к поискам различных путей исследования. Чрезвычайно важной для разработки теории нормализации русского литературного языка является сформулированная В. В. Виноградовым программа изучения «речевой жизни» общества в двух планах — объективно-историческом и нормативно-стилистическом, с учетом аспектов «культура языка — культура речи» и «стиль языка — стиль речи». Ждут своего разрешения и вопросы соотношения нормы и системы языка.

Условия для реализации этой программы: детальное описание системы норм (как различных уровней языка, так и отдельных функциональных стилей) в их становлении; изучение процессов, происходящих в устной и письменной разновидности современного русского языка (прежде всего, в разговорно-просторечной сфере — кузнице, где куются изменения языка⁴², в деловой речи и языке газеты — источниках «стандарта» в современном языке); выявление лингвистических влусов и выработка языковой политики нашего общества. Все это требует разработки методики наблюдений (использования техники, анкет и т. д.). Разрешение комплекса этих проблем позволит дать культуре языка и культуре речи строгое научное обоснование.

В. Г. Костомаров, Б. С. Шварцкоф

его же, О качествах хорошей речи (статья вторая), там же, 1965, 1

⁴¹ Б. Н. Головин, указ. соч. (статья вторая), стр. 9.

⁴² Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, стр. 116.

³⁶ Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, «Новое в лингвистике», III, М., 1963. См. обзор работ Э. Косериу, сделанный А. А. Леонтьевым (сб. «Структурно-типологические исследования», I, М., 1962), а также: I. Dănilă, Note despre conceptul de «normă lingvistică», «Limba română», 1963, 4.

³⁷ См.: Г. А. Махароблидзе, О некоторых особенностях русского произношения в Грузии, «Вопросы культуры речи», IV, Ср. прошедший, к сожалению, мало замеченным более ранний обзор Р. Р. Гельгардта «О литературном языке в географической проекции» (ВЯ, 1959, 3), посвященный проблемам изучения областных вариантов литературного языка; в этом плане любопытна характеристика «структуры языка как целого», данная Р. И. Аванесовым («Русская диалектология», М., 1964, стр. 7—10).

³⁸ Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 111.

³⁹ В. П. Григорьев, М. И. Исаев, Г. А. Махароблидзе, Вопросы культуры русской речи у нерусского населения СССР, «Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия языков народов СССР», Казань, 1964, стр. 28.

⁴⁰ Б. Н. Головин, О качествах хорошей речи, «Р. яз. в шк.», 1964, 2;

РЕЦЕНЗИИ

ДВА ПОСОБИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА *

Рецензию на два объемистых тома, посвященных одной и той же проблематике, следует начать с некоторых замечаний. За последние два десятилетия в Советском Союзе и за рубежом появилось немало обзорных и монографических трудов, освещающих разные аспекты истории русского языка. Фактический материал, которым располагает в наши дни историк русского языка, существенно обогатился: довольно равномерно разработаны многочисленные аспекты развития русского языка на протяжении всего его развития — от языка берестяных грамот до языка XIX и XX вв. включительно. Значительно расширились наши знания по диалектологии русского языка. За последние два десятилетия претерпела серьезные изменения теоретическая база языкознания: окончательно был преодолен младограмматический атомизм. Все это, естественно, не могло не сказаться на работах по исторической грамматике русского языка, вышедших в 60-е годы нашего столетия. Так, например, разделы, посвященные развитию звуковой системы русского языка, последовательно разработаны у П. С. Кузнецова и В. В. Иванова с позиций фонологии и отличаются стройностью изложения нередко весьма сложных фактов. Неудивительно, что в области морфологии и синтаксиса, где новые методы структурного анализа применяются преимущественно на материале живых языков, структурный подход к фактам не мог еще сказаться в той же мере в диахроническом плане.

Помимо общеметодологической проблематики языковой диахронии, существует, однако, специфическая проблематика истории именно русского языка. Не будем останавливаться на эпизодическом внедрении в науку о русском языке марровских бредней и не будем воскрешать пафос ложной «самобытности»,

оставивший свой отпечаток на некоторых работах 40-х и 50-х годов: все это в основном преодолено. Однако и в рецензируемых работах имеются противоречия и методологические недочеты, объясняющиеся отсутствием четкой формулировки некоторых основных вопросов. Несмотря на живую и содержательную дискуссию, проводимую в течение ряда лет на страницах журнала «Вопросы языкознания», русисты не располагают до сих пор общеприемлемой схемой и е р и о д и з а ц и и истории русского языка. Термин «древнерусский» покрывает чуть ли не восемь веков — период, далеко не однородный, начало и конец которого отделены друг от друга рядом ошутимых «цезур». Любая условная периодизация — а ведь всякая «сегментация» исторического процесса неизбежно условна — помогла бы придать издаваемому материалу более строгую историческую перспективу, сгруппировать исследуемые явления по хронологическому принципу, рельефно показать этапы, отделяющие современный язык от языка первых памятников. Это вовсе не означает, что исторический процесс должен быть непременно представлен в виде наслаивающихся «синхронных срезов». Прекрасная книга Г. Винокура «Русский язык», несмотря на популярный тон изложения, до сих пор является образцом того, как можно излагать историческое развитие русского языка на протяжении его почти тысячелетней исторической жизни, сохраняя при этом четкую хронологическую перспективу.

Вторым фактором, неизбежно влияющим на любое исследование по истории русского языка, является неорганическое, на наш взгляд, разбиение единого предмета на две отдельные дисциплины: на «историческую грамматику» и на «историю литературного языка». Такое разбиение базируется на том недоказанном предположении, что «внутреннее» развитие языка можно отделить от его «внешнего» развития. В результате мы до сих пор не располагаем синтетическим исследованием, озаглавленным «История русского языка», столь необходимым в практической исследовательской и педагогической работе и сравнимым с «Историей не-

* В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., Изд-во АН СССР, 1963, 512 стр.; В. В. Иванов, Историческая грамматика русского языка, М., Изд-во «Просвещение», 1964, 452 стр.

мецкого языка» В. М. Жирмунского¹. «Объектом исторической грамматики является развитие жи в ой русской речи» (Б.—К., стр. 3. Разрядка моя.—А. И.). Подчеркивая значение «живой речи», авторы как будто отказываются от систематического прослеживания развития как раз той разновидности русского языка, которая объективно заслуживает наиболее пристального внимания: пишем в виду нормированную, культурную, общеобязательную, богато дифференцированную в стилистическом отношении разновидность русского языка — его л и т е р а т у р н у ю речь, во всяком случае не менее «живую», чем местные диалекты. Однако авторы курсов по исторической грамматике обычно противопоставляют «живую» русскую речь «книжной» и склонны видеть в «книжных» элементах русского языка неправомерное нарушение органического развития. Отсюда их увлечение языком грамот и документов личной переписки, отсюда апологетические заявления о синтаксическом богатстве древнерусского «живого» языка, отсюда, наконец, заметное желание уменьшить значение «книжного» языка для формирования современной нормы. Древнерусский язык, по словам В. И. Боровковского, «не нуждался в заимствованных синтаксических оборотов из другого языка» (Б.—К., стр. 316). Так ли это? Исследователи исторической грамматики русского языка, делая упор на «живую» речь, смещают акценты, преувеличивают возможность восстановления этой живой речи на основании письменных памятников. Ведь язык деловых документов и личной переписки в прошлом (да и в наши дни) отражает не только и не столько разговорную речь, сколько общий культурный облик писца, степень его зависимости от графаретных штампов, наконец, просто умение излагать в письменном виде свои мысли. Достаточно привести несколько строк из любой берестяной грамоты, чтобы убедиться в том, что язык этого рода памятников имеет лишь весьма отдаленное сходство с обработанным литературным языком Пушкина, Толстого, Ленина. Вот взятый наугад отрывок из грамоты № 131: «Цю было в Пудого прзда, ту празку Сѣргѣиъ взяле изо Оятѣ. Закроу спроста: а я бле о русалеах в Пудогѣ. А цю про Сямозерци хедыле есемо не платяце, а платяце в томо цто промежи ряду нѣту...» и т. д. Это текст XIV в.² А вот запись инока Алексы в Мстиславовом евангелии начала XII в.: «Господи боже отць нашихъ... съподобивыи мя грѣш-

наго раба своего Алексу написати сие еуангелие благовѣрнууму и хръстолобивоому и богому чьстислауму князю Федору, а мирьски чьстиславу...» и т. д.

Хотя в данном отрывке дело не обошлось без целого ряда синтаксических «славянизмов» (а в конечном итоге — грецизмов), любой непредвзятый читатель прочтет текст инока Алексы с меньшими затруднениями, чем любой текст берестяных грамот, потому что текст записи в Мстиславовом евангелии несравненно ближе к тому языку, который десятки миллионов наших современников во всем мире изучают и любят как «русский язык». «Историческая грамматика» в том понимании, которое легло в основу разбираемых трудов, к сожалению, не дает ответа на вопрос об источниках и путях развития современного русского языка. Зато обильно привлекаются показания местных говоров. Но что может дать для понимания языка современной литературы разбор таких предложений, как *Брат убито на войны* (Б.—К., стр. 396), *У него выито* (стр. 399), *Рубашку взято* (стр. 397)? В курсе исторической грамматики разбор подобных конструкций нам кажется излишним.

Резюмируем: пренебрежение к «книжным» элементам русского языка значительно обедняет многие разделы разбираемых пособий. Заявления о том, что «синтаксический строй русского языка в течение периода, засвидетельствованного памятниками письменности, развивался, совершенствовался, все в большей степени отвечая растущим потребностям общения, взаимопонимания» (Б.—К., стр. 315), остаются недоказанными.

Книга В. И. Боровковского и П. С. Кузнецова отличается богатством и свежестью привлекаемого материала, трезвостью и критичностью изложения спорных вопросов. Во многом авторы опирались на свои опубликованные ранее монографии³. Сотрудничество крупного специалиста по исторической фонетике и морфологии со знатоком древнерусского синтаксиса оказалось весьма плодотворным: единство изложения нигде не нарушено.

Вводная глава знакомит читателя с происхождением письменности и литературного языка, с местом русского языка в кругу других языков (стр. 5—34). С надлежащим скептицизмом обсуждается «миграционная» теория А. А. Шахматова (стр. 26). Популярная в 40-е и 50-е годы гипотеза С. П. Обнорского о суще-

¹ В. М. Ж и р м у н с к и й, *История немецкого языка*, 4-е изд., М., 1956.

² А. В. А р ц и х о в с к и й, В. И. Б о р о в к о в с к и й, *Новгородские грамоты на бересте* (из раскопок 1953—1954 гг.), М., 1958, стр. 68.

³ В. И. Б о р о в с к и й, *Синтаксис древнерусских грамот* (Простое предложение), Львов, 1949; е г о ж е, *Синтаксис древнерусских грамот* (Сложное предложение), М., 1958; П. С. К у з н е ц о в, *Историческая грамматика русского языка. Морфология*, М., 1953; е г о ж е, *Очерки исторической морфологии русского языка*, М., 1959.

ствовании русского «литературного» языка «древнейшей» формации справедливо отвергается (стр. 28). О роли церковнославянского языка в развитии литературной речи сказано лаконически: «...до конца XVII в. включительно в качестве литературной нормы у нас господствует церковнославянский язык» (стр. 29).

Раздел «Фонетика», принадлежащий перу П. С. Кузнецова (стр. 35—157), написан с отличным знанием фактов и специальной литературы. Вызывает возражение понимание общепринятых в славянистической литературе «законов» «открытых» слогов и «слогового сингармонизма» лишь как «тенденция», а не как «абсолютных законов» (стр. 45—46). Такая оговорка представляется необоснованной для древнейшего исторического периода восточнославянского языка. Единственным приемлемым объяснением полногласия (перестановки плавных) и утраты слогозакрывающих носовых сонантов [ш, п] является стремление к однотипности слога, именного строения (С) (С) (С) Г-. Написания типа *книга* (вместо *кънига*) или *есе* (вместо *вьесе*) не противоречат этой формулировке. Появление групп *мн-* или *ес-* или *мн-* в начале слова свидетельствует лишь о незначительных сдвигах в структуре консонантных групп, открывающих слог, а не о нарушении слоговой структуры как таковой. П. С. Кузнецов, как и многие другие исследователи, считает, что группы типа **torbъ* перешли в *torobъ* через промежуточную стадию **to-r-bъ* со слоговым плавным (стр. 70). Появление слогового плавного в положении после слогового гласного как будто противоречит всему, что нам известно из типологии сочетаемости фонем разных классов. Сербохорватский пример *гроце* «горлышко» (слоговая структура *gr-o-це*) — редчайший случай. К тому же сербохорватский язык допускает появление слогового (г) в конце слога в любом положении. В другом месте автор считает, что «восточнославянской области вообще не свойственны слоговые сонорные» (стр. 108). Украинские примеры типа *борідка*, исследованные Булаховским, свидетельствуют об исконности фонемы (о) во втором слоге полногласного сочетания и не позволяют принять гипотезу о существовании стадии **to-r-bъ* или **to-rъ-bъ*.

Значительные затруднения представляет фонологическая трактовка гласных [ъ] и [ь]. Считать эти гласные «очень краткими» (стр. 48) — значит предполагать наличие трех количественных степеней: долгих [а, у, . . .], кратких [о, е] и очень кратких [ъ, ь]. Такое предположение опять-таки противоречит нашим знаниям о типологии языков. Очевидно, разница между [о, е] и [ъ, ь] сводилась не к количественному, а к качественному

противоположению. Во всяком случае нельзя принять утверждение автора, будто [ъ, ь] произносились «ослабленным голосом» (стр. 48). Ведь [ъ, ь] свободно принимали ударение, ср. **nožъ* (род. п. **nožâ*), **korl'ъ* (род. п. **korl'â*).

Несмотря на стремление автора представить развитие звуковой системы как последовательность фонологических изменений, в некоторых случаях стирается граница между фонологическими и фонетическими характеристиками. Несомненно, автор, говоря о «полумягких» согласных, имеет в виду комбинаторные варианты твердых согласных фонем в положении перед гласными переднего ряда (стр. 61). Весьма вероятно, что в языке первых памятников отражено произношение, различавшее три звука [l], [l'] и [l̥] (стр. 54), но фонологически [l] и [l'] были разновидностями одной фонемы (стр. 62). Некоторым диссонансом в разделе фонетики являются традиционные «физиологические» объяснения звуковых изменений, особенно странные у такого тонкого фонолога, каким является П. С. Кузнецов. Развитие палатализованных согласных перед [j] объясняется тем, что в этом положении «язык начинает примыкать к нёбу более широкой поверхностью» (стр. 67). Но почему же при одинаковых физиологических условиях **světa* дает вост.-слав. *svěci*, а слово *stat'ja* [stat'ja] остается без изменения? И почему те же физиологические «законы» оказываются недействительными в западнославянских или южнославянских языках?

Проблематика общеславянского ударения и вообще весь комплекс просодических элементов трактуются традиционно. Следовало бы более подробно остановиться на законах Шахматова и Фортунатова — де Соссюра, показать причины и следствия некоторых метатоний (например, на материале кратких и долгих форм прилагательных вроде *млодъ* — *млодбѣи* — *млодѣе*), вскрыть закономерности акцентуации в словообразовании (например, на материале отыменных прилагательных на *-бѣи*, образованных от существительных с нисходящим ударением: *ѣбродъ* — *городовѣи*, *бокъ* — *боковѣи* и т. п.); вообще следовало бы использовать имеющуюся специальную литературу по русскому ударению, в частности прекрасную монографию В. Кипарского⁴.

От изложения звуковых изменений письменного периода автор переходит к рассмотрению истории отдельных звуков. Трудно согласиться с тем, что замена звуков [ъ, ь] звуками [о, е] в «сильном» положении является примером компенсационного удлиннения, аналогичного переходу греч. *-ons* в *-os* (и далее в *-us*)

⁴ V. Kiparsky, Der Wortakzent der russischen Schriftsprache, Heidelberg, 1962.

или укр. *копъ* в **kōp'* (и далее в *kinь*) (стр. 97). Выше было указано, что гласные фонемы [о, е] отличались от [ъ, ь] не по признаку большей длительности, а по признаку качественному. «Переход» [ъ, ь] в [о, е] в «сильном» положении есть не что иное, как совпадение двух первично различных фонем, т. е. случай нейтрализации исконного качественного различия (по степени открытости).

В главе, посвященной последствию падения редуцированных (стр. 109—128), имеется множество детальных наблюдений, но глубокие системные изменения звуковой и, отчасти, морфологической стороны языка, вызванные падением редуцированных, не представлены с достаточной четкостью. Совершенно очевидно, что «закон открытого слога» был снят в результате появления новых закрытых слогов: *гром, воск, жизнь*. Что же касается локализации слогоразделов внутри неодносложных слов, то материал не позволяет делать какие бы то ни было выводы о «тенденции к открытости слога» (стр. 109) после падения глухих. Вообще говоря, изменения структуры слова после падения глухих могут быть объяснены изменениями в структуре морфем. После падения редуцированных оказались возможными морфемы с новыми группами согласных в начале и в конце, ср. *рож-ет, ртуть, льн-а, лж-и* и т. п. О «повсеместном» упрощении сочетания «согласный + [л]» (стр. 119) не может быть и речи. Переход форм *несль* в *нес* — явление морфологическое; переход формы *умьрль* в *умер* неотделим от всех остальных случаев утраты конечного *-л* в мужской форме прошедшего времени определенных глаголов и не может быть объяснен как устранение «трудно произносимой группы» (стр. 119), ср. *карл* (род. падеж мн. числа от *карла*). Появление форм типа *угол* из *уель* объясняется действием аналогии (ср. *огонь* из *огнь*, *потолок* из *потолкъ*) под влиянием чередований типа *рожок* — *рожка*. Предполагать переходную стадию * [ugl] со слоговым плавным (стр. 119) здесь не приходится. Действием аналогии объясняется, конечно, и переход форм типа *хитрь* в *хитёр*; сюда относятся еще такие случаи, как *бобёр, остёр, добёр, одёр*. Но разве на основании таких случаев мы вправе говорить о «широком» развитии вторичного гласного в данном положении (стр. 120)? Во всяком случае примеры вроде *Петр, зубр, смотр* свидетельствуют о том, что фонетического перехода *С + [r]* в *С + Г + [r]* не было. Вместо детальных и изолированных наблюдений следовало бы дать более системную картину структурных изменений, связанных с падением глухих. При обсуждении фонетического характера [ъ] в XVIII в. можно было привести появившиеся в этот период написания *Вьна,*

пѣса, в которых буква ъ, очевидно, передает произношение «Вьена» и «шьеса» (стр. 138).

В чем сказывается «сильная тенденция объединения» о и е в одну фонему (стр. 157)? Ведь пары типа *чорт* — *черт* не оставляют ни малейшего сомнения в дистинктивности фонем /о/ и /е/.

Ряд сложных вопросов возникновения аканья, переход [е] в [о] под ударением и перед твердыми, история *б* трактуются традиционно и остаются, в основном, необъясненными.

В разделе «Морфология» (стр. 158—312) использован богатый и отчасти новый материал. Замечания, касающиеся «характерных свойств древнерусских морфем» (стр. 161), «классов слов в древнерусском языке» (стр. 162—163), «основных процессов, имевших место в историческом развитии морфологического строя русского языка» (стр. 164—166), слишком общи и дают мало нового. Зато история склонения представлена детально и прекрасно иллюстрирована. Желательно было бы включить в соответствующие разделы полные списки существительных, относившихся в восточнославянском языке к консонантическим основам.

Формы типа *на столы*, бытующие в поморских и олонечных говорах, объясняются не «воздействием мягкой разновидности» склонения на твердую (стр. 195), а являются результатом фонетического перехода [ъ] в [и] в этих говорах.

Можно ли считать, что элемент *-г* в существительных типа *дар* и в прилагательных типа *добр* идентичен (стр. 225)?

«Числительное» трактуется в особом разделе (стр. 238—250), хотя на стр. 163 говорится, что «нет оснований для выделения соответствующих названий в особую часть речи — числительное».

Взгляды П. С. Кузнецова на историю русского глагола известны по его предыдущим публикациям⁵. В рецензируемой книге не были отмечены сколько-нибудь существенные отклонения от высказанных ранее взглядов. Поэтому рецензент может ограничиться немногочисленными замечаниями. Автор, к сожалению, оставляет без внимания ряд важных зарубежных публикаций, появившихся за последние годы и в значительной мере продвигнувших наши знания по истории развития русского глагола. В качестве примера можно привести хотя бы трактовку будущего времени. Автор сообщает о существовании в «древнерусском языке» перефразистических форм с *начьну, почьну, зочю, имаь* без попытки уточнить функции и значения этих форм и явно не отделяет форм с *имаь* от форм с *иму*

⁵ См.: П. С. Кузнецов, Генезис видо-временных отношений древнерусского языка, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», II, 1953, и др.

(стр. 264). Читатель так и не узнает о том, когда именно появилось современное перифрастическое будущее с *буду*. Между тем, эти проблемы были частично рассмотрены в монографии Никифорова⁶ и получили детальное освещение в прекрасной работе чешской русистики Е. Крижжиковой⁷.

Точно так же раздел, посвященный глагольному виду, мог бы выиграть от использования богатейшей литературы, посвященной этому важному вопросу за последние годы. Работы А. Достала, И. Немца, С. И. Маслова, Р. Ружички (специально исследовавшего глагольный вид в начальной летописи), наконец, оригинальная работа ван Схонефельда⁸, написанная под руководством Р. О. Якобсона, не могут в настоящее время быть обойдены без внимания при научном обследовании глагольного вида в русском языке. Что дают читателю такие ни к чему не обязывающие высказывания, как «различные совершенного и несовершенного вида... достаточно ясно выступало уже в древнерусском языке» (стр. 263—264), видовые различия глаголов в «достаточно древнее время» стали выражаться суффиксами (стр. 267)? Этой теоретической нечеткостью и объясняется излишнее осложнение и без того не простой видовой проблематики введением термина «степеней длительности» Потеевни (стр. 264), толкование форм типа *потечеть, сътечь* в географических описаниях как не имеющих значения совершенного вида (стр. 269), отсутствие указаний на употребление форм совершенного вида не в значении будущего в истории русского языка (современные типы как *закричит; то станет, то съдет*), недостаточно четкая характеристика грамматических значений отдельных временно-видовых форм на разных этапах развития. Доказано, что конструкция типа *а он возьми да побеги* является транспонированным императивом; одна-

⁶ С. Д. Никифоров, Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века, М., 1952.

⁷ Н. Кřížková, Vývoj opisného futura v jazycích slovanských, zvláště v ruštině, Praha, 1960.

⁸ A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslověnině, Praha, 1954; Ю. С. Маслов, Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида, М., 1958. См. также сборник, вышедший под редакцией Ю. С. Маслова: «Вопросы глагольного вида», М., 1962; R. Růžička, Der Verbalaspekt in der altrussischen Nestorchronik, Berlin, 1957; C. H. van Schooneveld, A semantic analysis of the Old Russian finite preterite system, 's-Gravenhage, 1959.

ко автор трактует такие конструкции как «кое в чем близкие к старому аористу» (стр. 280), хотя форма аориста от *взяти* была *възъз*, а не *возьми*, а сам аорист не выражал оттенка «неожиданного действия». Несмотря на убедительные аргументы, приведенные А. П. Евгеньевой в пользу толкования сочетаний типа *жили-были* (в записе сказок) как характерных для эпического стиля синонимических повторов⁹, автор все еще считает возможным рассматривать такие сочетания как остатки давнопрошедшего (стр. 281). Неясным остается мнение автора по поводу времени утраты имперфекта «живым» русским языком (стр. 277).

Отделы, посвященные словообразованию, неизбежно остаются малосодержательными в рамках исторической грамматики (стр. 167—172, 225—227). Словообразование как один из важных приемов пополнения словаря всецело относится к исторической лексикологии.

Раздел «Синтаксис» (стр. 313—504) принадлежит перу В. И. Борковского. Изложение материала придерживается известной схемы, принятой в пособиях по синтаксису современного языка: простое и сложное предложение, выражение подлежащего и сказуемого, личные, неопределенно-личные и безличные предложения и т. д.

В основном автор излагает синтаксис древнейших памятников (вплоть до XV—XVI вв.), со ссылками на архаизмы в говорах. Главным источником являются грамоты и такие памятники письменности, в которых «книжная стихия» меньше всего сказывалась. Ясно, что пробел, имеющийся между синтаксисом языка деловой письменности Киевской и Московской Руси и синтаксисом современного нам литературного языка, остался незаполненным. Но в указанных рамках проблематика изложена подробно и иллюстрирована свежим материалом.

К наиболее удачным местам этого раздела относится, на наш взгляд, история появления и распространения творительного сказуемого (стр. 335 и сл.); убедительно изложено употребление действительных причастий в роли сказуемого (тип *и он ѿдъхъб*) (стр. 350—355). Интересны соображения, высказанные о порядке слов в простом предложении (стр. 358—364).

Остановимся на синтаксисе так называемых «вторых косвенных падежей» (стр. 364—384). Вслед за А. А. Потеевней многие русские историки языка почему-то считают, что замена одного из вторых косвенных падежей (например, в конструкции *Князь постави Мефодия епископа*) творительным (современное *Князь назначил Мефодия епископом*) является «усо-

⁹ А. П. Евгеньева, Сочетание «жили-были» в сказочном записе, сб. «Памяти акад. Л. В. Щербы», Л., 1951.

вершенствованием» языка. Такой точки зрения придерживается и автор настоящего раздела. Можно было бы, наоборот, считать разрушение согласования (и не только в падеже, но и в роде), наблюдаемое в современном языке (ср. *Наташу назначили секретарем*), «упадочным» явлением, отказом от более стройной организации предложения, данной согласованием. Но подобные оценки вряд ли могут быть научно обоснованы. Согласованные конструкции с двойным винительным характерны не только для древнего языка: они держатся вплоть до начала XIX в. (ср. у Фонвизина *Я не помню себя безграмотного*). Конструкции с двойным винительным употребительны и в ряде современных славянских литературных языков. Представляется, что проблематика подобных конструкций может быть освещена по-новому в рамках современной теории трансформационного анализа.

Современная синтаксическая теория считает, что анализ предложения не может быть во всех случаях сведен к анализу его «поверхностной» структуры. Ряд сложных конструкций является результатом преобразований не одного, а нескольких предложений, амальгамирующихся (скрепляющихся) в одной конечной структуре. Лишь «глубинный» анализ структуры (в смысле Харриса) может адекватно вскрыть синтаксические отношения, имеющиеся в таких конструкциях.

Предложение со «вторым винительным» типа *Князь постави (посади, нарече) Мефодия епископа* (вин. падеж) является результатом такого скрепления двух элементарных предложений:

{ *Князь постави Мефодия* }
{ *(Князь постави) епископа* }

Простые правила устранения повторяющихся элементов второго предложения обеспечивают засвидетельствованную структуру с двумя винительными. Следует подчеркнуть, что слияние двух предложений в одно не является непременно результатом исторического процесса; оно представляет лишь «трансформационную историю» рассматриваемого предложения в синхронном смысле.

Современные конструкции отличаются от приведенной тем, что в качестве второго предложения в современном языке стоит конструкция с творительным предикативным:

{ *Князь назначил Мефодия* }
{ *Мефодий был (стал) епископом* }

Примеры, приводимые В. И. Борковским, убедительно говорят в пользу того, что возникновение конструкций с творительным падежом типа *Его нашли мертвым* (вместе *Его нашли мертвого*) по времени совпадают с появлением творитель-

ного предикативного в сочетании с формами глагола *быти*. Первые случаи такого употребления относятся к XIV в.: *бѣ бо была мати его черницею*. К тому же периоду относятся первые случаи употребления творительного вместо второго винительного (ср. *постави мя попомъ*, I Нов. лет.). О тесной связи между вторым винительным и отсутствием творительного падежа в предложениях с глаголом *быти* свидетельствует и словацкий язык. В словацком языке прилагательное в связочных предложениях стоит в именительном падеже (*bol mŕtvu* «он был мертвым»); русской конструкции *Его нашли мертвым* соответствует конструкция *našli ho mŕtveho* с двумя винительными. Вытеснение в течение XIX в. конструкций с двумя винительными конструкциями с творительным падежом (ср. совр. *Я не помню себя безграмотным*) тесно связано с расширением сферы употребления творительного предикативного за последние сто лет в русском литературном языке.

До сих пор остаются неясными случаи типа *грамота написано*, представленные в памятниках вплоть до XVIII в., а также по говорам. Автор считает такие случаи личными предложениями с «отсутствием согласования» (стр. 395), т. е. своеобразными вариантами предложений типа *грамота написана*. Прежде всего следует подчеркнуть, что типы *грамота написана* и *грамота написано* могут употребляться параллельно. С. Д. Никифоров приводит прекрасные примеры того, как активные конструкции с выраженным агенсом (в им. падеже) чередуются в одном и том же памятнике с пассивными конструкциями, в которых агенс (в твор. падеже), однако, остается не названным: *В 9 день писал и конник образ (активный оборот) — Деисус поной писан на краско (пассивный оборот)*¹⁰. Так как в памятниках бытового характера конструкции с указанием агенса в творительном падеже (современное *образ написан иконником*) не встречаются, то для определенной эпохи (XVI—XVII вв.) можно предположить следующее правило пассивного преобразования:

X писал грамоту → *грамота писана*

с обязательным устранением агенса в пассиве.

Иначе обстояло дело при пассивном преобразовании активных конструкций с анонимным агенсом. Предложение типа *В книгах писали* (без названия объекта) соответствует в пассиве предложению *В книгах писано*. Можно поэтому предположить, что активные конструкции с выраженным объектом, но с анонимным агенсом (так называемые неопределенно-

¹⁰ С. Д. Н и к и ф о р о в, указ. соч., стр. 315.

личные) при переводе в пассив давали интересующую нас форму:

грамоту писали → *грамота писано*.

Точно так же может быть объяснена конструкция, представленная по говорам:

Брат убито на войне ← *брата убили на войне*

Между предложениями типа *грамота писана* и *грамота писано* имеется, следовательно, разница в грамматическом значении. В конструкции *грамота писана* реальный агенс имеется, но он не назван. В предложении *грамота писано* эксплицитно выражена анонимность агенса. При такой трактовке вопрос о том, является ли предложение типа *грамота писано* личным или безличным, отпадает. Предложения этого типа — пассивные эквиваленты активных «неопределенно-личных» предложений типа *грамоту писали*. Подобно этому и многие другие проблемы, не поддающиеся удовлетворительной синтаксической интерпретации на основании традиционного анализа, могут получить приемлемое толкование в свете трансформационной теории.

Автор программно ограничивает свои наблюдения кругом явлений, отразившихся в сугубо «некнижных» памятниках. Поэтому многочисленные явления синтаксиса русского (литературного) языка остаются без внимания. Так, например, история употребления инфинитива при союзах *чтобы*, *дабы*, *прежде чем*, *вместо того*, *чтобы* не находит отражения в историческом синтаксисе.

Синтаксические функции падежей трактуются традиционно, но с привлечением свежего материала. Не совсем ясна разница между родительным «объекта» (*имуть искати Татарове к о т о р ы х ъ в о л о с т и*, стр. 428) и родительного «цели» (*ицеть ицать к у н*, стр. 429). Ведь «цель» во втором предложении выражена не падежом, а формой супина.

Очень удачно дифференцированы функции союзов *а* и *и* в древнем языке, выступающие не только в соединительной, но и в отделительной роли (стр. 466 и сл.). Проблематика же сложноподчиненного предложения не может, на наш взгляд, быть заменена анализом функций относительных слов и подчинительных союзов. Ее нельзя полностью осветить без учета синтаксических средств, «занесенных» из церковнославянского и других языков.

Считаем малоудачным цитирование примеров с сохранением всех случайных палеографических причуд оригинала. Особенно в разделах морфологии и синтаксиса сохранение титл, буквенных обозначений цифр, суперскрипции, «юсов» серьезно затрудняет чтение. Почему не принята упрощенная орфография, применяемая, например, в исторических ра-

ботах? Ведь в исторических грамматиках по греческому или латинскому языку нигде не сохраняются аббревиатуры и лигатуры отдельных списков.

В разделе «Фонетика» в качестве фонетических символов применяются буквы латинского алфавита. Но так как это нигде не оговорено, то сплошь и рядом приходится «пояснять» латинские знаки буквами русского алфавита, ср. *т* (*т*) — стр. 117, *н* (*н'*) — стр. 111.

Книга не свободна от мелких недочетов: чеш. *jizba* (а не *izba* — стр. 48), нем. *Garten* (а не *garten* — стр. 73), *Grammatik* (а не *grammatik* — стр. 202). Как следует понимать группу согласных типа *zgj'* (стр. 90)? Сербское *ђ* нигде не произносится как [dz'dz'] (стр. 91).

За последние десятилетия стиль филологических исследований на русском языке стал громоздким и крайне избыточным. Отсутствие общепринятых грамматических сокращений создает такие неудобоваримые цепочки, как «форма родительного падежа единственного числа женского рода от причастия настоящего времени действительного залога» и т. п. В интересах читателя (а также в интересах экономии бумаги) следовало бы ввести ряд условных сокращений. К сожалению, разбираемая работа не свободна и от собственно стилистических погрешностей. Приведем хотя бы два типичных примера: «В говорах (в части южновеликорусских, именно — на западе и т. д.)» (стр. 197). Можно было бы сказать: «В западной части ю.-в.-р. говоров...». «Основа на гласный принимается лишь та, которая функционировала в качестве такой на праславянской почве» (стр. 255).

Опечаток отмечено очень мало, книга издана с большой тщательностью и вниманием. Но § 97, на который имеется ссылка на стр. 195, так и не был включен в текст.

Многие из высказанных выше критических замечаний относятся не столько к разбираемой книге, сколько к общей методологической установке, характеризующей в наши дни фонетико-грамматические исследования в области истории русского языка. На фоне имеющейся литературы по данному предмету книга В. И. Борковского и П. С. Кузнецова представляет серьезную попытку систематизировать огромный фактический материал. «Историческая грамматика русского языка» является, без всякого сомнения, наиболее содержательной и интересной научной работой в своей области.

*

«Историческую грамматику русского языка» В. В. Иванова можно назвать образцовым учебником. Строгая последовательность и ясность изложения, продуманный выбор примеров, превосходное полиграфическое оформление — все это

говорит о том, что автор ни на минуту не упускал из виду будущего «потребителя» своей книги. При всем том книга В. В. Иванова не является пересказом фактов, столько раз уже изложенных в подобных пособиях. Последовательное применение фонологической точки зрения позволило автору избежать «атомизма»: вместо разрозненных фактов автор дает весьма рельефную картину больших и важных исторических процессов в развитии русского языка, находя пропорцию между неизбежно идеализированной схемой и «твердыми фактами». Разделы исторической фонетики (стр. 84—262) и исторической морфологии (стр. 263—411) могут считаться образцами творческого подхода к педагогической задаче. Одновременно эти главы являются вполне самостоятельными научными исследованиями. Сжатость изложения исторического синтаксиса (стр. 412—441) объясняется умышленным отказом автора от обсуждения многочисленных, может быть и «интересных», но во всяком случае периферийных явлений древнего языка и диалектов.

Автор придерживается хронологического порядка изложения, но это ему не мешает поцугно комментировать факты современного литературного языка. Во «Введении» (стр. 7—83) убедительно показаны черты древнерусских диалектных областей (стр. 65—66). Рецензент полностью разделяет взгляды автора, сформулированные на стр. 72: «...проблема формирования русского национального языка — это проблема укрепления его единства, уничтожения его диалектной раздробленности, становления единых норм для всех носителей данного языка». И далее: «Изучение... как письменных, так и устных литературных норм и процессов невелировки местных диалектов,— это и есть то главное, что составляет содержание изучения проблемы формирования русского национального языка» (там же).

В. В. Иванов последовательно придерживается принципа изложения фактов в синхронных системах (дописьменный период, исторический период XII—XVI вв.) и дает сводку фонетической системы к концу XVI — начала XVII в. Наглядность и систематичность изложения поддерживаются многочисленными сводными таблицами.

Многие общие замечания, высказанные выше по поводу работы В. И. Бороковского и П. С. Кузнецова, могут быть отнесены и к некоторым взглядам В. В. Иванова. Здесь нет нужды их повторять. Некоторые возражения вызывают отдельные категорические заявления автора. На стр. 21 приводятся малоубедительные чтения гнездовской надписи «горухща» (?), «горушна» и даже «горух пса» (с пропуском букв ъ и ѣ, к тому же в X в.),

но не приведена интерпретация Р. О. Якобсона «горун'а», т. е. *Горунья кърчага*¹¹. Надписи имени владельца на предметах бытового обихода в древней Руси не редки. Поражает утверждение, будто появление древнерусского «бытового» (?) письма «не может быть поставлено в связь со старославянским языком» (стр. 64). Значит, сходство (если не тождество) восточнославянской и древнеболгарской кириллицы — чистая случайность? Не обоснованным является заявление автора, что соотносительность согласных по признаку глухости-звонкости была в древнерусском языке «почти не выражена» (стр. 105). Ведь такие пары, как *кова* и *коса*, *садъ* и *задъ*, *тѣло* и *дѣло* (с тождественной интонацией) свидетельствует о функциональном использовании данного противопоставления. Можно возражать против датировки утраты политонии древнерусским языком «к моменту появления письменности» (стр. 127). Наличие новоаккурированного [ѣ] по диалектам, появление долгот в новых закрытых слогах на юге (*копѣ* > **kōn'*) говорят о сохранении политонии по крайней мере на части восточно-славянской территории вплоть до падения слабых [ъ] и [ь].

Историческая морфология открывается подробным изложением чередований. Жалко, что автор не подготовил своих выводов и не представил, хотя бы в общих чертах, закономерности дистрибуции фонем в рамках морфемы до и после падения редуцированных. История склонения существительных представлена так, чтобы студенту легко было ориентироваться в морфологических явлениях современного литературного языка (и однотипных с ним диалектов).

Может быть, процесс закрепления за краткими прилагательными функции предиката еще нельзя назвать «оглаголиванием» этих форм (стр. 340). Слишком осторожным можно считать такое заявление автора: «Древнейшие памятники древнерусского языка показывают, что в начале исторического периода противопоставление совершенного и несовершенного видов только еще намечалось» (стр. 379). Как показывают специальные исследования, древнерусский глагол обладал системно проведенным противопоставлением совершенного вида несовершенному и отклонения от норм современного языка касались лишь деталей. Неправильным представляется также приписывание аористу видového значения («мгновенность действия») и отождествление имперфекта по значению с несовершенным видом (стр. 381).

Явных ошибок в тексте почти не отмечено: немецкое название лужичап не

¹¹ R. Jakobson, Vestiges of the earliest Russian vernacular, «Word», 8, 4, 1952, стр. 30.

die Wände («стены»), а *die Wenden* (стр. 52). В. Ягич был не русским, а хорватом (стр. 108).

*

Обзор новейших работ по исторической грамматике русского языка показал, что дальнейшее развитие этой дисциплины зависит, в первую очередь, от решения ряда методологических вопросов. Сюда относятся периодизация истории русского языка, преодоление предвзято-отрицательного отношения к «запасенным

извне» элементам (в том числе и церковно-славянским), детальный показ влияния русского (восточнославянского) языка на церковнославянский и этого последнего на русский в разные эпохи развития, внедрение структурных методов в области морфологической и синтаксической проблематики языковой диахронии. Русисты всего мира с нетерпением ждут большой синтетической работы, всесторонне освещающей историю русского языка.

А. В. Исаченко,

В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке. — Казань 1964. 279 стр.

Редуцированным гласным ъ, ь, их истории, последствиям их исчезновения посвящено огромное количество работ. Исключительное внимание к редуцированным в славянских языках вполне объяснимо. Исследователи сходятся в том, что фонетическая история каждого славянского языка как бы распадается на два периода: до падения редуцированных и после этого падения — настолько значительным оказалось воздействие процесса исчезновения ъ и ь как особых фонем на фонетическую структуру славянской речи. Некоторые языковеды даже полагают (на мой взгляд, без достаточных оснований), что только с падением редуцированных завершается история общеславянского (праславянского) языка и начинается история отдельных славянских языков. Неослабный интерес к редуцированным ъ, ь возник вместе с формированием самого славянского языковедения как научной дисциплины, т. е. еще во времена Добровского и Востокова. И все же в истории ъ и ь остается много загадочного. Самой большой загадкой продолжает оставаться причина их исчезновения. На этот счет высказывались самые различные предположения фонетического и фонологического характера; ни одно из этих предположений не нашло сколько-нибудь широкой поддержки. Подавляющее большинство исследователей и вовсе обходит этот вопрос или ограничивается общими фразами, видимо, полагая, что для решения данной проблемы еще не наступило время. Естественно поэтому, что любая новая теория о причине падения редуцированных не может не вызвать к себе пристального внимания историков языка.

В. М. Марков в своей очень интересной, содержательной книге предлагает такую теорию, выдвигая в ее пользу много разнообразных аргументов. В основу своего исследования автор положил язык Путятинной мшени XI в., которую

он сравнивает с некоторыми другими древнерусскими памятниками. В. М. Марков подводит читателя к основным положениям своей концепции не сразу. В первой главе (стр. 22—81) подробно исследуется обозначение редуцированных гласных в корнях, приставках и суффиксах. Как считает автор, пропуски букв ъ и ь в разных положениях в слове вовсе не обозначают, что глухой в данных случаях не произносился; он произносился и в этих случаях, но «как-то не так, как-то по-иному». Пропуски букв ъ и ь не были беспорядочными. В корнях слов они прежде всего наблюдаются в определенных сочетаниях, именно в слогах *кн, гн, жн, он, зл, сл, тл, дс, ав, кт, пт, пс, вс, жд, чт, т. е.* в сочетаниях шумных согласных с сонантами и *в* и с зубными согласными. По-разному употребляются ъ и ь в приставках. В суффиксах в Путятинной мшени нет ни одного случая пропуска редуцированных, за исключением суффикса *-ын-*, в употреблении которого были особые условия (в частности, он встречался в сочетаниях *-сын-, -зын-*). Различное распределение пропусков букв ъ, ь в корнях, приставках и суффиксах свидетельствует о роли морфологических факторов. Фонетические и морфологические тенденции «в их совокупности», — пишет В. М. Марков, — как мы думаем, и есть тот процесс, который называется «падением» редуцированных звуков и который в своих наиболее ранних и во многом еще неясных проявлениях отражается уже в таких древнейших документах, как Остромирово евангелие и Путятинная мшени» (стр. 81).

Вторая глава (стр. 82—177) посвящена употреблению надстрочных знаков и доказательств их звуковой значимости. Надстрочные знаки (паерки), как считает автор (вслед за Потемной, Будде, Ляпуновым и некоторыми другими учеными), имели звуковое значение и могли пониматься пишущим «как одно из гра-

фических средств в передаче редуцированных звуков и, вместе с тем, как один из возможных сократительных приемов письма» (стр. 87). Они часто ушорблялись на месте недостающих еров, а также в различных группах согласных (*кн, гн, сн, ан, мн, бн, кт, пт, пс, ед, жд, нд, бр, те, де, дн, вл, лм, мн, тл, сл, зл*). Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что паерки стоят над теми же группами согласных, в которых обычно пропускались буквы *ъ* и *ь* на месте исконных редуцированных. Таким образом, можно предполагать, что звуки, произносившиеся на месте этимологических *ъ* и *ь*, и звуки, произносившиеся в консонантных сочетаниях не по этимологическим правилам, были тождественны. Вставочные призвуки были «новыми», или «неорганическими», редуцированными. Констатируя тожество исконных и новых редуцированных, В. М. Марков развивает свою теорию падения глухих гласных. Третья глава, в которой подробно рассматриваются сочетания редуцированных с плавными согласными, является подкреплением общей концепции, сформулированной во второй главе, поскольку считается, что в сочетаниях корневых *р, л* с последующими согласными развиваются те же «новые», или «неорганические», глухие.

Теорию В. М. Маркова сжато можно было бы изложить так. Как известно, еще в общеславянском языке начинает действовать тенденция возрастающей звучности слога, частичным проявлением которой было видоизменение звукового облика ряда сочетаний согласных (шумные + сонанты или зубные, сонанты + сонанты, *р, л* + любой согласный). Между согласными развивались «паразитарные» призвуки или же в определенных случаях сочетания согласных упрощались. Этот процесс был общеславянским, хотя протекал он неравномерно и в разных диалектах мог давать неодинаковые результаты. Например, древние сочетания *dl, il* сохранялись там, где между ними образовался гласный призвук, и упростились в *l* в диалектах, в которых такой призвук не развился. Ср. также *obv* > *ob-* (в образованиях типа *облако, обратити* и т. п.), параллельные формы типа *выбнуги* — *вынуги, кануги* — *кануги* и пр., в которых древние формы могли сохраняться не только благодаря морфологическим ассоциациям, но и в результате возникновения вставочного призвука, русские диалектные *замнугь* (*замкнугь*), *яченок* (*яченок*), *ошнуге* (*огнище*) и т. д. К этим фактам можно было бы прибавить отсутствие переходного смягчения в группах **kv-, *gv-* (перед *ѣ, і, ѵ*), которое можно объяснить как изменение этих сочетаний в **k^ov-, *g^ov-*. Паразитарные призвуки, постепенно развиваясь, фо-

нетически сближались с исконными *ъ* и *ь* и затем полностью с ними совпали. В XI—XII вв. вставочные гласные (новые или неорганические глухие) стали обозначаться на письме буквами *ъ* и *ь*, или паерками. Особенно показательны в этом отношении написания заимствованных слов типа *варьварь, вярварь*, широко распространенные в старославянских и древнерусских памятниках. В течение ряда веков происходило «репительное вторжение» неорганических глухих в область глухих исконных. Совпадение неорганических и исконных *ъ, ь* имело большие последствия. Неорганические глухие были позиционно обусловленными звуками, не имеющими фонематического значения. «Развивающаяся в консонантных сочетаниях гласность служила преодолению фонематической обособленности исконных глухих и тем самым способствовала их нейтрализации в структуре славянского слова. Происходило, так сказать, растворение исконных глухих в широком потоке неорганических гласных, причем для исконных редуцированных звуков в системе фонематических отношений выпадало важнейшее звено: возможность противопоставления гласной фонемы и фонематического нуля при сохранении фонетически обобщенного, типового противопоставления гласным полного образования, по отношению к которым утрачивающие морфологическую значимость гласные звуки приобретали характер нулевой категории» (стр. 170). Утрата исконными редуцированными фонематической (морфологической) значимости, приобретение ими «характера нулевой категории» и есть падение редуцированных. Таким образом, причиной падения *ъ* и *ь* является развитие вставочных гласных, в свою очередь обусловленное тенденцией возрастающей звучности слога (чем вызвано возникновение этой тенденции, мы не знаем). Потеряв свою «фонологическую броню», редуцированные начинают исчезать и как призвуки, что, как известно, повлекло за собой неисчислимы последствия в фонетическом строе славянских языков.

Однако эти призвуки не исчезли вовсе. Как вставочные гласные в разных говорах в разной степени они сохраняются до настоящего времени. К сожалению, как отмечает автор, сведения о вставочных гласных в современном языке чрезвычайно скудны, разрознены. За редким исключением (ср. наблюдения П. Г. Богатырева о вставочных гласных в народной песне, Л. В. Златоустовой в разговорной литературной речи¹) спе-

¹ П. Г. Богатырев, Добавочные гласные в народной песне и их функции, сб. «Славянское языкознание. V Международный съезд славистов», М., 1963;

циально никто это явление не изучал. Между тем наличие вставочных гласных в современном языке может быть важным доказательством существования этих гласных в прошлые эпохи. Автор весьма сочувственно относится к старым предположениям Поттебни, который считал, что не было ощутимой грани между временем до падения глухих и после их падения, что глухие существовали и в XIV—XV вв., а пережиточно сохранились в севернорусских говорах и в наше время. Вероятно, добавили бы мы, наличием призвуков искожных и неорганических глухих можно будет объяснить целый ряд явлений фонетики современных говоров (например, сохранение звонких согласных в абсолютном конце слова в некоторых говорах и др.). Такова, в общих чертах, гипотеза В. М. Маркова, для подтверждения которой им мобилизовано множество различных фактов. Вся его книга проникнута одной идеей.

Научные гипотезы бывают разные. Имеются гипотезы, авторы которых ограничиваются «словесными», умозрительными объяснениями причин того или иного процесса. Такие объяснения не приводят к необходимости широкого привлечения в круг исследования новых фактов, пересмотра распространенных взглядов на многие «детали», «частности» изучаемого явления. Как правило, эти гипотезы мало перспективны. К малоперспективным гипотезам можно отнести, например, «бумажно-фонологические» попытки объяснить падение редуцированных как результат «нарушения равновесия» в фонематической системе древней славянской речи, переведшего *ъ* и *ь* в категорию «избыточных» фонем. Пока мало что объясняют и гипотезы, в которых падение *ъ* и *ь* рассматривают как результат прекращения действия тенденции открытого слога, как результат изменения характера древнеславянского ударения и т. д. Эти гипотезы можно принимать только на веру, поскольку они не дают импульса к обязательному, неизбежному привлечению массы новых фактов или проверки с новой точки зрения уже известных науке явлений. Именно этим и объясняется тупик, в который зашло сравнительно-историческое славянское языковедение в раскрытии причин падения редуцированных. Сказанное вовсе не означает отрицания возможной и вероятной значимости «фонологического перераспределения мест» в системе фонем славянской речи, прекращения действия тенденции открытого слога и иных факторов; однако пока что дальше умо-

зрительных предположений дело здесь не продвинулось.

Иначе следует оценить гипотезу В. М. Маркова. Эта гипотеза открывает новые перспективы в исторической фонетике: чтобы ее принять или отвергнуть, необходимо продолжить исследования автора, привлекая обширный фактический материал. Прежде всего надлежит развернуть изучение вставочных гласных в славянских языках, их истории. Крайне важно установить, действительно ли вставочные гласные в современном языке имеют генетическую связь с древними *ъ* и *ь* и «неорганическими» глухими. Упомянутые выше наблюдения П. Г. Богатырева и Л. В. Златоустовой как будто говорят в пользу этого предложения. П. Г. Богатырев устанавливает широкое распространение вставочных гласных в народной песне разных жанров в северновеликорусских, южновеликорусских и белорусских говорах. Выделенные автором сочетания согласных, в которых имеется вставочный гласный, в середине слова чаще всего оказываются сочетаниями шумного согласного с сонорным. Л. В. Златоустова находит в современной разговорной речи гласные вставки «при сочетании шумного с сонантом, сонанта с шумным, сонанта с сонантом — в звонком варианте — и при сочетании шумных глухих — в глухом варианте»². Такое употребление вставочных гласных очень близко к положению, наблюдаемому в древнерусском языке старшего периода. К сожалению, наблюдения над вставочными гласными в современных славянских языках имеют случайный характер. Чтобы решить вопрос о генетической связи древних *ъ* и *ь*, этимологических и «неорганических», с современными вставочными гласными, нужно тщательно обследовать все славянские языки и диалекты, произношение в них интересующих нас сочетаний согласных и изучить полученный в результате такого обследования материал в сравнительно-историческом плане. Разрозненные же и отрывочные наблюдения, как бы ни обладающие было их совпадение с предполагаемой картиной в древней славянской речи, не могут быть основой для уверенных заключений. Но дело не только в этом.

В. М. Марков в своей книге не касается вопроса о следствиях падения *ъ* и *ь*. Между тем очевидно, что такие явления, как оглушение звонких согласных и озвончение глухих, диссимилиятивно-ассимилятивные изменения в системе согласных и другие аналогичные явления могли реализоваться только при условии исчезновения *ъ* и *ь* не только как фонем, но и как звуков или призвуков. Как могла произойти известная «перестройка» со-

Л. В. Златоустова, Научная деятельность В. А. Богородицкого, сб. «Памяти В. А. Богородицкого», Казань, 1961.

² Л. В. Златоустова, указ. соч., стр. 30.

гласных, если ъ и ь и их неэтимологические аналоги продолжают сохраняться как элементы звучания? Правда, В. М. Марков говорит о рудиментарном их сохранении, о сохранении в неопределенной «некоторой степени», но вопрос от этого не становится более ясным. В статье П. Г. Богатырева, в наблюдениях некоторых других диалектологов и фольклористов вставочные гласные в середине и в конце слова отмечаются и после позиционно измененных согласных: *галубчик* (= голубчик), *друкъ* (= друг), *заповеть* (= заповедь), *ушь* (= уж), *хъто* (= кто), *конешъно* (= конечно), *сапохъ* (= сапог) и т. д. Наряду с оглушением звонких в абсолютном конце слова в разговорной речи в некоторых былинах произносятся звонкие с призывками: *городъ*, *годъ*, *ведъ* и т. д. Этот параллелизм в некоторых говорах наблюдается и в разговорной речи одних и тех же лиц. Имеем ли мы здесь дело с рудиментарным сохранением звонкости или с ее восстановлением перед вновь возникшими гласными призывками, как могли произойти оглушение звонких согласных и иные изменения согласных, если гласные призывки после них древнего происхождения, как могло сосуществовать древнее и новое произношение в фонетической системе одного и того же говора — эти и многие другие вопросы ждут своего разрешения, которого В. М. Марков пока нам не предложил.

Исследователи, изучавшие вставочные гласные в песенном языке, считают их явлением новым, обусловленным спецификой этого языка (Р. О. Якобсон полагает, что вставочные гласные появились после падения редуцированных для сохранения «силлабической сетки» древнерусской эпической стиха, А. М. Солищев объясняет их наличие ритмическими особенностями песен). Важно отметить, что вставочные гласные имеются в песенном жанре других, неродственных языков. Л. Н. Лебединский говорит об их употреблении в башкирских песнях³, А. С. Измайлова в татарских песнях⁴. Несомненно, найдутся они и в других языках. Что это, случайное совпадение с русским песенным языком или это явление имеет одну общую причину — акцентирование ритмического строя языка посредством озвучивания закрытых слогов и сочетаний согласных? Если верно последнее, то в таком случае вставочные гласные в современном русском языке не являются продолжением истории дефонологии-

зированных глухих и не могут пролить свет на функционирование в древнерусском языке ъ и ь на причину их падения. Однако было бы поспешным делать такое заключение. Надо проверить гипотезу В. М. Маркова путем основательного исследования поставленных выше вопросов, а также и ряда других проблем. То, что гипотеза В. М. Маркова наталкивает нас на необходимость подобных исследований, составляет одну из весьма ценных ее сторон. Если предположения автора оправдаются, его гипотеза получит сильнейшее подтверждение, если же результаты исследований окажутся иными, доказательная сила его концепции будет серьезно ослаблена. Ослаблена, но вовсе не исключена, так как имеются еще данные древнерусской и старославянской письменности и некоторые явления фонетического строя древнеславянской речи.

Данные старославянской и ранней древнерусской письменности свидетельствуют о наличии особых гласных ъ и ь. Этот факт всеми считается установленным. В ранней древнерусской письменности употребление букв ъ и ь, как правило, соответствует этимологическим ъ и ь с сохранением различия между этими гласными. В то же время уже в самых древних из дошедших до нас памятников имеются случаи всякого рода отступлений от этимологии, которые со временем возрастают: пропуски букв ъ и ь и, наоборот, написание ъ и ь вопреки древним реконструируемым нормам. Отступления от «правил» не только в разных памятниках, но и в одном и том же памятнике кажутся беспорядочными, что весьма усложняет расшифровку их фонетических значимостей. Картина становится еще более запутанной в связи с хронологической неравномерностью падения редуцированных и разными путями протекания этого процесса в древнерусском и старославянском языках: древнерусская письменность, как известно, находилась под постоянным мощным воздействием письменности старославянской, а в неоригинальной богослужебной литературе являлась ее прямым продолжением. Пестрота в пропусках и неэтимологических написаниях ъ и ь, трудности в разграничении старославянского воздействия и отражения на письме живой древнерусской речи породили весьма противоречивые истолкования всех этих отступлений.

Еще в XIX в. возникли два противоположных взгляда на фонетическую значимость этих отступлений: 1) пропуски ъ и ь являются, с одной стороны, свидетельством начала исчезновения гласных ъ и ь в древнерусском, с другой стороны, в то же время отражают перенос орфографических норм старославянского языка на древнерусскую почву; неэтимологические написания ъ и ь, замещения их другими буквами — чисто орфографические

³ Л. Н. Лебединский, Башкирские народные песни и наигрыши, М., 1962, стр. 61.

⁴ А. Измайлова, Октябрьге кадәрге чор татар халык жырчыларының жырлау «Техникасының» кайбер үзгөчлекләре, «Совет әдәбияты», Казан, 1962.

явления, перенесенные из старославянского письма или возникшие под воздействием этого письма (не считая некоторых исключений); 2) те же явления древнерусского письма, в основном, отражают нормы живого древнерусского произношения, т. е. имеют определенную фонетическую значимость. Представители первого направления обычно не усматривали никакой фонетической значимости и в надстрочных знаках (паерках), тогда как представители второго направления пытались видеть в паерках определенное звуковое значение. Эти расхождения отражают общее разное отношение к памятникам древнерусской письменности как к источнику исторической фонетики русского языка. А. А. Шахматов считал, что современные народные говоры дают для исторической фонетики больше, чем древнерусские памятники, поскольку в последних имеется много искусственного, наносного. Л. Л. Васильев, учитывая ценность показаний современных говоров, в отличие от А. А. Шахматова, старался раскрыть древнерусские фонетические закономерности прежде всего исходя из орфографических систем самих памятников. Оба указанных направления в том или ином виде сохраняются и в современной русистике. В. М. Марков решительно примкнул ко второму направлению.

Многие явления древнерусской орфографии, связанные с употреблением *ъ* и *ь*, не только по различному расщеплялись, но и представлялись как разрозненные, не связанные между собой особенности, зачастую загадочные в своей изолированности. Предположение о наличии в древнерусском языке вставочных гласных, сближавшихся и наконец совпавших с исконными *ъ* и *ь*, позволяет видеть в этих разрозненных особенностях общую основу. Пропуски букв *ъ* и *ь*, неэтимологические написания этих букв, а также употребление надстрочных знаков оказываются не беспорядочными, а обусловленными определенными сочетаниями согласных в корнях слов, суффиксах и префиксах. Вставочные гласные наиболее отчетливо проявляются именно в тех консонантных сочетаниях, в которых особенно заметным оказывается опущение букв *ъ* и *ь* на месте исконных редуцированных; следовательно, вставочные буквы *ъ* и *ь*, паерки и сочетания с опущенными буквами *ъ* и *ь* фонетически были равнозначны.

К тому же разряду явлений принадлежат в орфографическом отношении разные по происхождению написания плавных согласных с буквами *ъ* и *ь*: *вьръъ*, *вьръь* (орфографический старославянizm) и *вьръьъ* — графическая передача одного и того же древнерусского фонетического комплекса. В. М. Марков считает, что второе полногласие (этому явлению посвящена третья глава книги) также древне,

как и первое. Постпозитивный глухой в сочетании с плавными — по происхождению тот же вставочный гласный, что и в других консонантных сочетаниях. Плавные *р* и *л* могли быть слогаобразующими, но это вовсе не обязательно: в других сочетаниях согласные по самой своей природе не были слогаобразующими, однако между ними все же развились вставочные гласные. В. М. Марков приводит убедительные доказательства в пользу существования второго полногласия до падения редуцированных: чередование написаний *ьръ* и *ьръь* в зависимости от того, стояли ли они перед мягкими или твердыми согласными (*сьвьръьно*, но *сьвьръьны*), преобладающее написание *ьръь* перед группой согласных (*оумьръьтъвьъ*, но *бьсьмьръьтъ*) — здесь гласный призвук слышался особенно явственно, — закрепление двуеровых написаний как нормы в отдельных словах (*ствьльльъ*, *чьръьльъ*, *вьръьъ* и т. п.), что нельзя объяснить чисто графически, и др. Я вполне согласен с автором, что бездоказательные утверждения, будто бы двуеровые написания были графической комбинацией старославянского написания и древнерусского произношения, в ближайшее время перейдут в разряд лингвистических анахронизмов. Второе полногласие имело два этапа в своем развитии: 1) древний, когда двуеровые комплексы произносились независимо от специфических условий закрытости или открытости последующих слогов (все слоги были открытыми); 2) новый, когда произошло падение редуцированных, повлекшее за собой возникновение полногласия с гласными полного образования *о* или *е* перед новыми закрытыми слогами и выпадение древнего вставочного гласного перед слогами открытыми. На втором этапе своего развития второе полногласие из-за некоторых специфических локальных условий, о которых здесь нет возможности говорить, становится диалектным явлением.

Особое место в книге В. М. Маркова занимает четвертая глава «Отражение чередования *о/е*: *ъ/ь*» (стр. 237—261). Уже в памятниках XI—XII вв. передки написания *о* и *е* на месте исконных *ъ* и *ь*: *възъми*, *моноу*, *дова*, *небесенъьъ* и т. п. Автор не считает подобные написания ни описками, ни отражением искусственного церковно-книжного произношения, а видит в них проявление живых древнерусских произносительных норм. По его мнению, редуцированные в слабой позиции перед своим падением акустически сблизились с *о* и *е*, в связи с чем стало происходить смешение букв *ъ* и *о*, *ь* и *е*. Такое развитие *ъ* и *ь* в слабой позиции оказало свое воздействие на развитие «сильных» глухих в сторону *о* и *е*. Правда, автор спешит оговориться, что эта гипотеза представляет собою всего лишь скромную попытку рабочего осмысления

тех отношений, которые подсказываются показаниями текстов» (стр. 241); к тому же она не имеет прямого отношения к общей концепции автора, поэтому оставив четвертую главу без внимания и возвратимся к оценке первых трех глав.

Теория В. М. Маркова очень заманчива, поскольку она дает возможность объединить в одно целое и объяснить весьма пестрые показания древнерусских текстов и представить себе причину падения \bar{y} и \bar{y} . Эта теория вполне заслуживает того, чтобы ее считали рабочей гипотезой для дальнейших исследований в данной области. Она еще не завершена, не исчерпала своих возможностей. Над нею следует поработать. Прежде всего, необходимо расширительное расширение фактической базы исследований. Но не только это.

Анализируя особенности орфографии некоторых древнерусских памятников, прежде всего Путятиной мшени, В. М. Марков приходит к выводу, что древнерусские писцы, опираясь на нормы живого произношения, были достаточно самостоятельны по отношению к орфографии старославянских оригиналов. Орфографические явления, наблюдающиеся в древнерусских списках старославянских памятников, имеются и в оригинальных памятниках древнерусской письменности, в частности в ранних новгородских берестяных грамотах. И все же у разных древнерусских писцов XI—XII вв. проявляется орфографическая пестрота в передаче одних и тех же предполагаемых звуковых норм. «Исключительная пестрота документальных показаний» объясняется тем, что древнерусские писцы по-разному реагировали на орфографические особенности переписываемых ими старославянских книг. А почему по-разному? Эту важную проблему еще предстоит только исследовать, как и историю старославянских и древнерусских орфографических приемов. В. М. Марков, следуя убеждению, что древнерусские писцы были самостоятельны и разными орфографическими средствами отображали нормы живого произношения, оставляет в стороне орфографические особенности старославянского письма. Между тем совершенно очевидно, что без широкого и тщательного сравнительного изучения старославянских и древнерусских орфографических средств нельзя быть уверенным в правильности предположений, опирающихся только на древнерусский материал. Как отмечали исследователи старославянского языка, в старославянских текстах также имеются пропуски букв \bar{y} и \bar{y} в консонантных сочетаниях, вставочные \bar{y} и \bar{y} , надстрочные знаки. Надо конкретно показать, в чем проявлялась самостоятельность древнерусских писцов в использовании этих старосла-

вянских по происхождению орфографических приемов. Какое значение имели паерки в старославянских текстах? Если тоже фонетическое, то в чем заключается их специфика у древнерусских писцов? Кстати, решая вопрос о значении паерков, надо выяснить, почему одни и те же надстрочные знаки ставились не только над группами согласных, но и над согласными в позиции перед гласными и над самими гласными (явление, известное и в древнерусских и в старославянских памятниках). Совершенно очевидно, что в последних случаях паерки не могли обозначать редуцированных или вставочных гласных. Почему надстрочные знаки, восходящие к византийскому письму, оказываются многозначными, и не подрывает ли их «многозначность» убеждения, что они обозначали исконные \bar{y} и \bar{y} и вставочные гласные? Одним словом, чтобы укрепить позиции В. М. Маркова, нужно проделать очень большую дополнительную работу, в которой особое значение будет принадлежать исследованию старославянских памятников.

Несколько слов о показаниях фонетического строя реконструируемого общеславянского языка. Эти показания не могут быть решающими для доказательства древности происхождения вставочных гласных. Во-первых, потому, что наличие вставочных гласных в консонантных сочетаниях типа *tl, dl, gn* и пр. само по себе нуждается в обосновании, а во-вторых, потому, что указанные сочетания составляют лишь небольшую часть консонантных групп и не могут свидетельствовать о широком распространении вставочных гласных. Кроме того, сохранение или преобразование *tl, dl* и др. имело не общеславянский, а диалектный характер.

В книге В. М. Маркова имеется много наблюдений частного значения, представляющих большой интерес для историков русского языка. В настоящей рецензии я остановился только на вопросе о вставочных гласных, которые автор предложил нам рассматривать как причину падения редуцированных. По моему, нет оснований отрицать правдоподобность разработанной В. М. Марковым гипотезы. Более того, из всех существующих гипотез эта гипотеза является относительно наиболее обоснованной. Выказанные здесь замечания имели целью показать, чего еще недостает этой весьма перспективной концепции, что еще нуждается в дополнительной аргументации. Книга В. М. Маркова — значительное явление в русистике и славистике. Это первая монография, специально посвященная выяснению причин одного из самых важных событий в истории фонетического строя славянских языков.

Ф. П. Филин

В. Д. Левин. Очерки стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика). — М., Изд-во «Наука», 1964. 408 стр.

Вторая половина XVIII — начало XIX в., период «последомоносовский» и «предпушкинский», в истории русского литературного языка является одним из самых важных и сложных. Неудивительно, что этот период привлекал и привлекает пристальное внимание исследователей¹.

И все же в истории русского литературного языка второй половины XVIII — начала XIX в. остается еще много явлений, не описанных с достаточной полнотой, и проблем, не раскрытых до конца.

Рецензируемая книга по содержанию одновременно и шире и уже того круга вопросов, который определен ее заглавием. Уже — потому, что в ней рассматривается не вся лексика во всем многообразии ее разновидностей и группировок и взаимоотношений между ними, а главным образом только «высокая», «славенская» лексика. Шире — потому, что В. Д. Левин не только прослеживает судьбу славянизмов в различных жанрах и стилях литературы конца XVIII — начала XIX в., но рассматривает славянизмы в аспекте общего развития русского литературного языка этого периода,

отводя здесь решающую роль так называемым «карамзинским преобразованиям».

Лексический материал, рассмотренный в книге В. Д. Левина, значителен по объему, а анализ его отличается хорошо продуманной методикой и тщательностью. «Славенская» лексика рассматривается как стилистический компонент языка разнообразных литературно-письменных памятников, квалифицированных и систематизированных с точки зрения времени их создания, жанровых особенностей и принадлежности к тому или иному литературному направлению. Тем самым вопросы конкретного лексического анализа необходимо связываются с общими вопросами развития стилистической системы русского литературного языка, среди которых как особо важный выделяется вопрос о месте в этой системе языка художественной литературы (стр. 6). Четкое и последовательное разграничение понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы», выдержанное как в частных наблюдениях, так и в общих выводах, постоянное внимание, уделяемое отношениям между общелитературным языком и языком художественной литературы на различных этапах рассматриваемого периода, является одним из несомненных достоинств рецензируемой книги.

В. Д. Левин привлекает к исследованию не только оригинальные произведения, но и переводы, мотивируя это тем, что в этот период «выбор слога при переводе определялся сложившейся в русском языке традицией для данного содержания или данного жанра» (стр. 59). При широком использовании сопоставления лексики различных переводов одного произведения особенно сказывается стремление автора к четкому определению методики анализа; он совершенно справедливо указывает на необходимость «строго разграничивать различия, связанные с иной стилистической оценкой произведения... и различное представление о составе норм литературного языка и отдельных его стилей» (стр. 181). Такое разграничение важно и при анализе языка оригинальных произведений.

Произведенный анализ лексического материала, извлеченного из многочисленных и разнообразных источников, позволил В. Д. Левину критически пересмотреть некоторые установившиеся ранее взгляды на объем и характер употребления «славенской» лексики во второй половине XVIII — начале XIX в.

Так, в отличие от Г. О. Винокура, который полагал, что «неассимилированные общим употреблением славянизмы были признаком именно высокого а не всякого грамотного, ученого,

¹ Здесь можно назвать и широко известные разysкания крупных ученых от Я. К. Грота до Г. О. Винокура и В. В. Виноградова, и целую серию выполненных в конце 40-х и в 50-х годах кандидатских диссертаций. Кроме диссертаций, упомянутых в рецензируемой книге, можно назвать еще следующие: И. Б. Г о л у б, Церковнославянизмы и их функции в стихотворном языке К. Н. Батюшкова. Канд. диссерт., Киев, 1958; А. И. Г о р ш к о в, Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769—1774 гг. Канд. диссерт., М., 1949; С. Н. К е с т е л ь, Язык русских баснописцев конца XVIII — начала XIX вв. Канд. диссерт., Киев, 1951; И. И. К о в т у н о в а, «Несобственно прямая речь» в языке русской литературы конца XVIII — первой половины XIX в. Канд. диссерт. М., 1955; Е. В. М у з а, Лексика и фразеология ирой-комической поэмы 60—70-х годов XVIII века, М., 1953; М. Д. П е р е х о д к и н а, Борьба журнала «Живописец» за культуру русского национального языка, Л., 1948; Р. К. П р е в р а т у х и н а, К истории борьбы за национально-демократические основы русского литературного языка в 18 веке. О языке комедии В. Лукина «Задумчивой», Казань, 1949; Ю. Д. С о б о л е в а, Общественно-политическая лексика сатирических журналов Н. И. Новикова («Трутень», «Живописец», «Кошелек»), Л., 1956.

письменного языка»², В. Д. Левин показывает, что «высокая» лексика во второй половине XVIII в. оказывается не только средством «возвышаться к важному великолепию», «но и выступает нередко как элемент повествования или рассуждения на всякую, „важную“ тему, как принадлежность образцового книжного языка вообще» (стр. 74).

Особенно значительными представляются выводы В. Д. Левина относительно объема и характера употребления книжно-славянской лексики в «новом слого» и в языке самого Карамзина. Обстоятельные наблюдения заставили автора пересмотреть распространенное мнение о крайнем пуризме Карамзина и его последователей по отношению к славянизмам, о почти полном изгнании славянизмов из «нового слога». В действительности значительные группы книжно-славянской лексики, подвергнутой отбору с позиций «хорошего вкуса», вошли в «новый слог» в качестве одного из его существенных компонентов.

Не столь бесспорным представляется утверждение, что судьба книжно-архаического наследия XVIII в. (речь идет только о нормах общелитературного языка) «определилась уже в „карамзинском“ периоде и дальнейшие изменения в этом отношении уже не имели принципиального значения» (стр. 226—227). Применительно к составу книжно-славянской лексики это утверждение может быть принято, так как на этот счет в книге имеются веские доказательства, но применительно к употреблению, функционированию указанной лексики это утверждение не подкреплено соответствующими конкретными наблюдениями (кроме рассмотренного случая, см. также стр. 234, 333, 349). И хотя В. Д. Левин уже в начале своего труда указывает, что «принципиальное и решающее значение для дальнейшей эволюции системы литературного языка имели изменения не столько в материале языка, сколько в функциях этого материала» (стр. 70), главным предметом исследования в рецензируемой книге все же остается именно материал (в данном случае — лексический) языка³ (ср. стр. 357). Между тем выводы об исторической перспективности или непер-

спективности той или иной группы лексики, о ее месте и роли в системе литературного языка и его различных стилей вряд ли могут быть вполне убедительными, если они основаны преимущественно на анализе состава одной группы, без всестороннего учета ее связей и взаимоотношений с другими лексическими группами.

В книге В. Д. Левина наиболее значительное место отводится анализу лексики «нового слога», тем изменениям лексического состава литературного языка, которые связаны с «карамзинскими преобразованиями». Естественно, что при этом много внимания уделяется проблеме отбора лексических средств, который предполагает, с одной стороны, вовлечение в литературный язык лексики, ранее находившейся за его пределами, а также и «нейтрализацию» лексики, наделенной ярко выраженной стилистической экспрессией, а с другой стороны, устранение из литературного языка лексики, неприемлемой с точки зрения новых формирующихся норм литературного выражения. В «карамзинской реформе» первая сторона этого процесса представлена главным образом «нейтрализацией» некоторых групп «славянской» лексики; безусловно преобладающей является вторая сторона. В соответствии с этим в рецензируемой книге в связи с проблемой отбора говорится преимущественно об устранении из литературного языка различного словарного материала (стр. 145, 200, 208, 209, 235, 237, 265 и др.). Между тем в процессе формирования единой общенациональной нормы литературного выражения не меньшее (если не большее) значение имело вовлечение в литературный язык и объединение в его пределах всех богатых и разнообразных языковых ресурсов — от специфически книжно-славянских до народно-разговорных и — в меньшей степени — просторечных. Немало соответствующего материала можно было бы извлечь из языка произведений Новикова, Фонвизина, Державина, Радищева и других писателей — прозаиков, сатириков и баснописцев второй половины XVIII — начала XIX в.⁴ Но всемо

² Г. О. Винокур, Русский литературный язык во второй половине XVIII века, «Избр. работы по русскому языку», М., 1959, стр. 143—144.

³ Более того, в системе литературного языка значение лексического материала «самого по себе» иногда преувеличивается и даже противопоставляется его стилистическим функциям. Ср. на стр. 277: «речь идет сейчас не о приемах стилистического использования различных лексических групп, а именно о норме общелитературного выражения».

⁴ Кроме упомянутых выше кандидатских диссертаций по этому вопросу, см. еще: Е. А. Боголюбов, Художественные средства сатиры Н. И. Новикова, «Уч. зап. Пермск. пед. ин-та», 10, 1946; И. А. Валентинова, Просторечная лексика и ее использование в литературном языке II пол. XVIII века, «Сборник рефератов докладов научной конференции (24—27 февраля 1959 г.)», Чита, 1959; Е. А. Василевская, Язык и стиль «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Р. яз. в шк.», 1949, 4; А. И. Горшков, О судьбе трех стилей русского литературного языка во второй половине 18 века, «Уч. зап. [Читинск.

тому, что находилось за пределами «нового слога» и противопоставленной ему теории и практики «архаистов» (Шипков и его последователи), В. Д. Левин уделяет значительно меньше внимания, чем «карамзинским преобразованиям». Такой подход к материалу находится в прямой связи с предлагаемой им общей концепцией развития русского литературного языка во второй половине XVIII — начале XIX в.

В этой концепции решающая роль отводится именно «карамзинским преобразованиям», которые знаменуют окончательное преодоление системы трех стилей и открывают новый период в развитии русского литературного языка. Поскольку «новый слог» не может быть непосредственно соотнесен со стилистической системой классицизма, выделяется промежуточный этап, характеризующийся противопоставлением двух основных разновидностей литературного языка: так называемого «славяно-русского языка» и «простого стиля» (который следует отличать от «низкого стиля» классицизма). «Славяно-русский язык», словарный состав которого в своей книжно-славянской части получает в рецензируемой книге подробную характеристику, в дальнейшем оказывается связанным с языковой практикой «архаистов», а тенденции, заложенные в «простом стиле», развиваются и углубляются в «новом слоге» (стр. 135, 136). Но в вопросах формирования «нового слога» В. Д. Левин главное внимание уделяет не его историческим истокам, а критерию вкуса, который «в „карамзинской“ теории и практике является самодовлеющим, не поддающимся рационалистическому толкованию» (стр. 121), представляет собой «центральную и всеобъемлющую категорию» (стр. 125).

С позиций «хорошего вкуса» карамзинисты подходят и к проблеме исторических изменений норм литературного языка, и к важнейшей в их теории и практике проблеме отношений книжной и разговорной речи.

Вопрос об отношениях «нового слога» к разговорной речи русского общества

Гос. пед. ин-та], 5 — Труды кафедр русского языка и литературы, 1961; его же, О некоторых особенностях языка художественной прозы Фонвизина, «Уч. зап. [Коломенск. пед. ин-та]», VII, 1963; С. Ф. Елеонский, Из наблюдений над языком и стилем «Путешествия из Петербурга в Москву», в кн. «XVIII век», сб. 3, М.—Л., 1958; В. И. Кузнецов, К характеристике областной лексики в языке Г. Р. Державина, «Уч. зап. Черновицк. ун-та», 39. Серия филол. наук, 10, 1960; И. Э. Ротман и н. Особенности жанров и языка сатиры Н. И. Новикова, «Уч. зап. МГПИ им. Потемкина», 98, 1959.

конца XVIII в. рассматривается В. Д. Левиным детально и всесторонне. Наиболее важным и вполне справедливым представляется здесь суждение, что в известной формуле «писать как говорят и говорить как пишут» наиболее важной и «реальной» была вторая часть: карамзинисты не столько писали так, как говорили в тогдашнем обществе, сколько стремились к тому, чтобы в обществе говорили так, как они пишут (стр. 128). Рассматривая структурные особенности «нового слога» (точнее — его словарного состава), В. Д. Левин приходит к вполне логичному, хотя на первый взгляд и несколько парадоксальному, выводу, что «карамзинизм» в известной мере повторяет и возрождает некоторые существенные признаки ломоносовской системы: «опора на „средний язык“, на нейтральную норму как структурную основу литературного языка возрождала, хотя и совсем по-новому, актуальность важнейшей категории ломоносовской системы» (стр. 152). «...но это не предполагает непосредственной преемственности между ним („новым слогом“.— А. Г.) и старым

„средним стилем“. Он („новый слог“.— А. Г.) вырос на иной почве, его отношение к тому языковому материалу, который был предстает в литературном языке „докарамзинской“ поры, сложнее и противоречивее» (стр. 153). Обращаясь к вопросу последующего развития «нового слога», его судьбы в начале XIX в., В. Д. Левин указывает, что «в „карамзинских преобразованиях“ надо различать, с одной стороны, я з ы к и, с другой — с л о г в узком смысле этого слова, как своеобразную стилистическую манеру, тесно слитую с септиментализмом как литературным направлением» (стр. 294). Слог «карамзинизма» в этом понимании оставляется за пределами исследования (впрочем справедливо указывается, что он очень скоро устарел), что же касается «карамзинского» языка, то те тенденции, которые вырабатывались в нем в 90-е годы, определили и развитие общелитературных норм в начале XIX в. В смысле этих тенденций даже басенный язык Крылова оказывается сопоставимым с «новым слогом».

Хотя очерченная в рецензируемой книге схема развития русского литературного языка во второй половине XVIII — начале XIX в. имеет прочную опору в сложившейся традиции, она все же не представляется бесспорно доказанной, особенно в части, касающейся «карамзинских преобразований». Причины этого лежат отчасти в ограниченности самого материала исследования и в известной односторонности его анализа (о чем уже говорилось), отчасти в проблемности, дискуссионности некоторых частных, определенных и общих положений, из которых исходит автор.

Это касается прежде всего важнейшего, по нашему мнению, вопроса об исторических истоках «нового слога». Не определив с достаточной четкостью и полнотой этих истоков, вряд ли можно с достоверностью судить о роли «нового слога» в развитии русского литературного языка. Между тем та «почва», на которой вырос «новый слог», в рецензируемой книге характеризуется нечетливо и даже иногда противоречиво. Известная противоречивость обнаруживается уже в оценке системы «трех стилей» с точки зрения ее дальнейшего развития и преобразования. С одной стороны, «средний стиль» объявляется основой этой системы, ее «душой» (стр. 12), и в дальнейшем в книге неоднократно подчеркивается его ведущая, организующая роль в развитии русского литературного языка, с другой стороны, указывается, что «средний стиль» с самого начала был лишен внутреннего единства и оказался практически недостаточно богатым и недостаточно выразительным (стр. 16), что литература «среднего стиля» отличалась жанровой ограниченностью, бедностью и однообразием содержания (стр. 63), что уже в последние десятилетия XVIII в. «не осталось места (по крайней мере, если речь идет о лексике) среднему стилю как какой-то самостоятельной разновидности языка» (стр. 71), что «понятие среднего стиля как особой категории становилось постепенно бессодержательным и неактуальным» (стр. 135). Очевидно, что само понятие «стиль языка» трактуется в том и другом случае различно.

Вообще В. Д. Левин понимает «стиль языка» как «совокупность определенным образом окрашенных языковых элементов» (стр. 11—12, 10, 76 и др.). При таком понимании стиля, отвлеченном от конкретного бытия языка, можно, разумеется, говорить о перспективности «среднего стиля» как некоей идеальной нормы, к которой было направлено (но не во всех своих сторонах) развитие литературного языка. Характерно, что в примечании 142 к стр. 372 В. Д. Левин говорит «об организующей роли в развитии литературного языка среднего стиля, или, лучше сказать, среднелитературных норм». Если исследователь не отождествляет «средний стиль» со «среднелитературной нормой», то хотелось бы видеть в книге большую ясность в использовании этих понятий. Но если понимать стиль языка не как абстрактную совокупность определенным образом окрашенных элементов, а как определенным образом организованную систему стилистически окрашенных и стилистически нейтральных языковых средств, реально воплощенную в более или менее замкнутых языковых контекстах (в данном случае речь идет о различных жанрах художественной и разновидностях нехудожественной литературы), то те скептические

оценки «среднего стиля», которые были процитированы выше, станут вполне естественными. Нам кажется, что при оценке судьбы «трех стилей» в их последующем развитии можно исходить только из такого понимания стиля языка, которое рассматривает языковые средства и живые связи между ними в их конкретном воплощении. Тогда роль «среднего стиля» в развитии русского литературного языка не будет казаться столь универсальной и значительной и большее значение приобретет противоположение и взаимодействие двух изначально существовавших в русском литературном языке разновидностей, которые в древнерусский период функционировали как книжно-славянский и народно-литературный типы языка и которые во второй половине XVIII в., после качественной трансформации, предстают как «славяно-русский язык» и «простой стиль» литературного языка, непосредственно восходящие к «высокому стилю» и «низкому стилю» ломоносовской системы. Но в концепции В. Д. Левина признается только связь «славяно-русского языка» с «высоким стилем», а «простой стиль», наоборот, ограничивается и обособляется от ломоносовского «низкого стиля». О «простом стиле» (или «простом слоге») говорится только, что он формируется «на стыке среднего и низкого стилей» (стр. 70) и что он «соотноситель с... тяготеющим к литературной нормализованности разговорным языком... и взаимодействует с ним» (стр. 105). Таким образом, «языковая материя» «простого стиля» остается не определенной. О преемственности «нового слога» по отношению к «простому стилю» также говорится в очень осторожных выражениях: указывается, что «„новый слог“ развивал и углублял те тенденции, которые были заложены в... „простом стиле“» (стр. 136). В итоге исторические истоки «нового слога» остаются без достаточно ясного истолкования, в книге нет определенного ответа на вопрос, какова же была та «иная почва» (сравнительно со старым «средним стилем»), на которой вырос «новый слог».

Не вызывает никаких возражений суждение В. Д. Левина об определенной связи «карамзинизма» со стилистической теорией Ломоносова. Но в свете сказанного выше эта связь может быть интерпретирована и иначе, чем это сделано в рецензируемом исследовании: «новый слог» можно расценивать как единственную по своим серьезным масштабам и последствиям попытку реализовать, воплотить в действительность те структурные качества, которые были определены для «среднего стиля» в «теории трех стилей». Тогда возникнет вопрос, который не стоит для В. Д. Левина: в какой степени «новый слог» был шагом вперед, а в какой

степени — шагом назад в объективном процессе развития русского литературного языка.

«Карамзинские преобразования» в труде В. Д. Левина сравниваются и сопоставляются преимущественно с деятельностью «архаистов». Этот вопрос рассмотрен настолько полно и всесторонне, что в будущем исследователям вряд ли понадобится к нему возвращаться. В то же время очень фрагментарно и явно однобоко (а прежде всего просто очень мало) говорится о языке Новикова, Фонвизина, Радищева, Державина, Крылова-журналиста; все «внекарамзинское» представляется как архаичное, связанное с теорией и практикой классицизма, или просто наивное, неразвитое (стр. 21, 22—23, 40—41, 73, 93, 98, 114, 349). Между тем за пределами теории и практики «карамзинизма» и «пишкловизма» происходили принципиально важные изменения в лексике литературного языка, прежде всего — освоение просторечной и «простонародной» лексики, ее «нейтрализация», с одной стороны, и разработка приемов ее стилистически выразительного использования, с другой стороны; многообразное и часто противоречивое по формам своего проявления обьединение, «взаимная ассимиляция» лексики «славянской» и народно-разговорной; усиление выразительных функций «нейтральной лексики»⁵.

История литературного языка как никакая другая отрасль языкознания связана с учетом и анализом различных внешнелингвистических факторов в развитии языка. В частности, при оценке «карамзинских преобразований» едва ли можно пройти мимо тех социальных противоречий, той общественной борьбы, которая имела место в конце XVIII — начале XIX в. Известно, что в последнее время с этих позиций делались неоднократные попытки пересмотреть вопрос о роли Карамзина и его «школы» в истории русской литературы и литературного языка. Но эта проблематика остается за пределами рецензируемого исследования. В. Д. Левин ограничивается лишь ссылкой на обзор мнений по этому вопросу, сделанный в книге В. В. Виноградова «Проблема авторства и теория стилей»⁶ (стр. 115). Даже важнейшее для «карамзинизма» понятие «вкуса» не рассматривается с точки зрения его общественной значимости.

⁵ См.: И. А. Валентинова, Лексика художественной прозы М. Д. Чулкова, «Сборник рефератов докладов научной конференции (23—25 апреля 1958)», Чита, 1958.

⁶ Кроме проанализированных там работ, см. еще: Б. С. Мейлах, Историческое значение борьбы Пушкина за развитие русского литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1951, 5.

Мы не склонны оспаривать ту исключительно высокую оценку, которая дается В. Д. Лениным Карамзину и «карамзинским преобразованиям», оценку, которая ставит Карамзина значительно выше всех других писателей второй половины XVIII в. как реформатора русского литературного языка, оценку, согласно которой «сами недостатки карамзинской теории и практики — пуризм, излишняя унификация и отсюда экспрессивная бедность языка, особенно когда дело касалось употребления элементов народно-разговорной речи, — связаны с прогрессивным характером позиции карамзинистов» (стр. 134—135; см. также стр. 128—129, 131, 226—227, 261, 262, 333). Но заметим, что эта оценка не может выглядеть вполне убедительной, если она никак не соотносена и не сопоставлена с оценками другого рода, согласно которым замалчивание роли демократических писателей конца XVIII в. в истории русского литературного языка «способствовало распространению односторонней и, по-видимому, преувеличенной оценки карамзинской стилистической реформы»⁷.

Последний раздел книги В. Д. Левина посвящен проблеме просторечия в литературном языке начала XIX в. Показательно, что обращение к анализу языкового материала, которому во всех предшествовавших разделах книги уделялось лишь эпизодическое внимание, позволило исследователю более широко и даже отчасти критически взглянуть на «новый слог» и его значение, признав, что в это время «был оставлен под сомнение и по существу отвергнут важный для „карамзинской“ системы принцип стилистической нейтральности языковых фактов» (стр. 401), уделить больше внимания «простому стилю» и его прогрессивной роли в истории русского литературного языка, проследить «зарождение новой стилистической категории, которую можно назвать разговорно-литературной речью или разговорной разновидностью литературного языка» (стр. 402) и в то же время — постепенную изоляцию и сужение рамок применения «высокого элемента» (см. стр. 393—405).

В заключение хочется выразить надежду, что выход в свет столь значительного труда, как книга В. Д. Левина, проблематика которой далеко не исчерпывается затронутым нами кругом вопросов, оживит интерес исследователей к истории русского литературного языка, по непонятным причинам явно снизившийся в последние годы.

А. И. Горшков

⁷ В. В. Виноградов, Проблема авторства и теория стилей, М., 1961, стр. 229.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ХАКАССКОМ НИИ ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ

Изучение хакасского языка, начатое М. А. Кастреном, В. В. Радловым, Н. Ф. Катановым и продолженное С. Е. Маловым, С. Д. Майнагашевым и др., приобрело систематический характер лишь после открытия в 1944 г. в Абакане Хакасского НИИ языка, литературы и истории. С этого времени языковыми вопросами занимается сектор языка, привлекая для этой работы также тюркологов из Москвы и других городов страны; начинается кропотливая работа по установлению норм формирующегося младописьменного литературного языка. В хакасском языке имеются четыре диалекта: сагайский, качинский, кызыльский и шорский. После широких обсуждений было признано, что литературный язык развивается на базе двух наиболее крупных диалектов: сагайского и качинского. С момента открытия института трижды уточнялась орфография хакасского языка, письменность на котором была создана в 1924 г. Составлялись словари — двуязычные, орфографические и отраслевые¹.

С открытием института начинается систематическое изучение грамматиче-

ского строя хакасского языка², собрание и описание его диалектов³. В результате ряда лингвистических экспедиций и командировок в разные районы Хакасской автономной области собран значительный диалектологический материал, хранящийся в библиотеке ХакНИИЯЛИ.

В последующие годы сотрудниками сектора языка и другими авторами были написаны работы по вопросам фонетики, морфологии, синтаксиса, диалектологии и лексикологии хакасского языка, которые публиковались на страницах «Ученых записок» ХакНИИЯЛИ, в отдельных сборниках⁴ или выходили отдельными изданиями. Фонетике хакасского языка посвящены две монографии — общий фонетический очерк Ф. Г. Исхакова и экспериментальное исследование согласных, выполненное Д. И. Чанковым⁵. По морфологии и синтаксису хакасского языка были написаны и

² Институтом издана первая описательная грамматика хакасского языка: Н. П. Дыренкова, Грамматика хакасского языка. Фонетика и морфология, Абакан, 1948.

³ Н. Г. Доможаков, Описание кызыльского диалекта хакасского языка. Канд. диссерт., Абакан, 1948; А. И. Инкижекова, Сагайский диалект хакасского языка. Канд. диссерт., М., 1948. В настоящее время Д. Ф. Патачковой завершено описание качинского диалекта; М. И. Боргояковым описан бельтырский говор.

⁴ Институтом опубликовано десять выпусков «Ученых записок» (до седьмого выпуска они назывались «Записками», начиная с седьмого выпуска именуются «Учеными записками»), а также два сборника статей — «Вопросы хакасского языка и литературы» (Абакан, 1955) и «Вопросы хакасской филологии» (Абакан, 1962).

⁵ Ф. Г. Исхаков, Хакасский язык. Краткий очерк по фонетике (материалы и исследования) Абакан, 1956; Д. И. Чанков, Согласные хакасского языка, Абакан, 1957.

¹ См., например: «Хакасско-русский словарь. Для начальных школ», сост. Ц. Д. Номинханов и Д. Ф. Кокова, Абакан, 1948; «Русско-хакасский словарь. Для начальных школ», сост. Ц. Д. Номинханов, Абакан, 1948; Н. Г. Доможаков, Орфографический словарь (для средних школ), 1-е изд. — Абакан, 1948; 2-е изд. — Абакан, 1953 (на хакас. яз.); «Орфография хакасского языка [3-е изд. подготовила Д. Ф. Патачкова] и «Орфографический словарь» [сост. Н. Г. Доможаков, Д. И. Чанков], Абакан, 1962 (на хакас. яз.); «Краткий словарь общественно-политических терминов», сост. Д. Ф. Патачкова, Абакан, 1955 (на хакас. яз.); «Русско-хакасский словарь», под ред. Д. И. Чанкова, М., 1961. Истории изучения хакасского языка посвящены специальные работы: Н. А. Баскаков, К истории изучения хакасского языка, «Зап. [ХакНИИЯЛИ]», 2, 1951; его же, Хакасский язык, сб. «Младописьменные языки народов СССР», М. — Л., 1959.

защищены кандидатские диссертации (некоторые из них изданы)⁶.

Разработка этих проблем дала возможность приступить к написанию более полной научной грамматики современного хакасского языка. Над созданием этой грамматики в настоящее время работает коллектив авторов (местные тюркологи: М. И. Боргояков, В. Г. Карпов, Д. Ф. Патачакова, Д. И. Чанков, Г. Ф. Бабушкин — и тюркологи Москвы: Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул, Г. И. Донидаэ). Грамматика будет завершена в 1965 г.

Жизнь выдвигает новые проблемы и задачи, требующие безотлагательного разрешения. В течение 250 лет, прошедших со времени добровольного присоединения Хакасии к России, происходил процесс постепенного усвоения хакасами русского языка, усилившийся после Октябрьской революции и особенно в последнее десятилетие. Перед сектором наряду с изучением закономерностей развития хакасского литературного языка в современную эпоху встает задача изучения развивающегося двуязычия хакасского населения, важная также и в практических целях народного образования Хакасии.

Неотложной задачей хакасских языковедов является изучение истории хакасского языка.

Вопреки существующему мнению о том, что «до Великой Октябрьской социалистической революции... не было общехакасского разговорного языка», а «национальная консолидация хакасов началась лишь при советской власти»⁷, нам представляется, что та языковая общность, которая наблюдалась у населения Хакасско-Минусинской котловины в XIX в.⁸, восходит к более ранним

периодам истории хакасского народа, возможно, к периоду существования древнехакасского государства⁹.

Для решения проблем истории хакасского языка необходимо привлечь к исследованию данные не только языка енисейских памятников рунической письменности, но и языков древнеорхонских и древнеуйгурских письменных памятников; для сопоставления важно использовать также материалы других тюркских языков, в первую очередь родственных языков Южной Сибири; при этом следует иметь в виду также и субстратные явления хакасского языка.

Важные сведения для исследования истории хакасского языка наряду с диалектологией может дать также изучение языка произведений устно-поэтического творчества, где сохранились архаические грамматические формы и лексика, утраченные современным литературным и даже разговорным языком.

Из-за ограниченного числа штатных единиц в секторе разработка этих вопросов пока остается недостаточной, не ведется и планомерная работа по сбору и изучению топонимики и ономастики юга Красноярского края. Между тем, изучение топонимов в этих районах могло бы дать ценные сведения для изучения истории хакасского языка и древнейшей истории народа¹⁰.

Сектор языка ХАКНИИЯЛИ готовит второе, значительно дополненное издание «Хакасско-русского словаря»¹¹, который намечено выпустить в свет в 1967 г. Продолжается сбор и изучение хакасских диалектов и говоров.

М. И. Боргояков

ское, койбальское, качинское), кызыльское и чулымское (кюзрик), СПб., 1868, стр. X; [Н.] К о с т р о в, Бельтиры, «Зап. Сиб. отдела Русского географ. общества», кн. IV, СПб., 1857, стр. 6.

⁹ О древнехакасском государстве см.: Л. Р. К ы з л а с о в, Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины [М.], 1960; е г о ж е, О южных границах государства древних хакасов в IX—XII вв., «Уч. зап. [ХакНИИЯЛИ]», VIII, 1960; е г о ж е, Новая датировка памятников енисейской письменности, «Сов. археология», 1960, 3.

¹⁰ Внимание исследователей уже привлекли некоторые из тех топонимов, которые не этимологизируются на основе современного хакасского языка, см. А. П. Д у л ь з о н, Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского происхождения, М., 1964 («Доклады на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук»).

¹¹ «Хакасско-русский словарь» составили Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул, М., 1953.

⁶ Г. Ф. Б а б у ш к и н, Вопросы прилагательных в хакасском языке. Канд. диссерт., Абакан, 1953; В. Г. К а р п о в, Изъявительное наклонение в хакасском языке. Канд. диссерт., М., 1955; Г. И. Д о н и д а э, Безличные предложения в хакасском языке, Абакан, 1957; М. И. Б о р г о я к о в, Прямое дополнение в хакасском языке. Канд. диссерт., Абакан, 1961.

⁷ Н. К. Д м и т р и е в, Ф. Г. И с х а к о в, Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов, Абакан, 1954, стр. 19.

⁸ См. об этом: Словник Г. Ф. Миллера, побывавшего в Хакасии в 1735 г. (Центральный государственный архив древних актов, Портфель Г. Ф. Миллера, портфель 513, д. 1, лл. 1—13 и сл.); В. В. Р а д л о в, Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи, ч. II — Подваречия абаканские (сагай-

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

15—17 декабря 1964 г. в Москве проходила научная конференция «Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии», организованная Научным советом по координации научно-исследовательских работ в области славяноведения и Институтом славяноведения АН СССР. В ней принимали участие лингвисты, историки, археологи и этнографы институтов АН СССР и республиканских академий, педпед-тов и ун-тов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Риги, Вильнюса, Кишинева, Фрунзе, Львова, Горького, Пскова, Свердловска, Благовещенска, Владивостока; сотрудники Главного управления геодезии и картографирования, Географического общества, Военно-инженерной академии; иностранные ученые: И. Вукович (Югославия), И. Пэтруц, И. Вимулер (Румыния), Е. Русек, В. Витковский, Т. Зданевич (Польша), Б. Симеонов (Болгария).

Центральное место в работе конференции занимали два круга проблем: 1) разработка теории ареальных исследований и, в частности, определение возможностей историко-географического метода интерпретации данных археологии, этнографии и языкознания в решении вопросов этногенеза и древнейшей этнической истории; 2) критическая оценка применяемых в этно- и лингвистической географии методов и приемов картографирования и обоснование необходимости введения ряда новых методов подхода к сбору и анализу материала, главным образом языкового, для решения важнейших проблем ареальной диалектологии.

В своем вступительном слове Б. А. Рыбаков (Москва), определив значение исторической географии как одного из современных методов исторического исследования, подчеркнул особую важность синтеза данных языковых, топонимических, археологических, этнографических и антропологических изоглоссов для решения смежных проблем этих наук и призвал к разработке методики наложенных указанных изоглоссов.

А. Л. Монгайт (Москва) в докладе «Некоторые возможности картографирования археологических культур» отметил, что представляется об археологической культуре и изучение ее возникновения, распространения и исчезновения нередко позволяют реконструировать историю племен и народов в эпохи, предшествующие возникновению письменных источников, и даже иногда связать определенную археологическую культуру с известными из письменных источников племенами (например, латенская культура — кельты). В то же время докладчик призвал к особой осторожности в решении этнических вопросов по археологическим источникам. В сходных соци-

альных и географических условиях, при наличии примитивной техники, сходные явления в быту и материальной культуре различных племен могли возникнуть независимо, отдельные элементы культуры могли заимствоваться в результате распространения идей или переселения народа, носителя этой культуры. Поэтому данные картографирования элементов культуры обретают значимость лишь при сопоставлении со всеми известными историческими данными, в том числе с данными языка как одного из важнейших признаков этнической общности.

По мнению М. В. Витова (Москва), выступившего с докладом «Некоторые вопросы этнологического картографирования», для разработки методики научного синтеза показаний различных дисциплин в области изучения этнической истории целесообразно привлекать картографические данные этих дисциплин, полученные при исследовании поздно заселенных областей, где показания письменных источников дают возможность датировки ареалов (этнографических, антропологических, языковых) и установления их исторической связи. Докладчик подчеркнул необходимость при этом тщательного критического анализа источников, положенных в основу картографирования.

Доклад В. В. Мартынова (Минск) «Проблема славянского этногенеза и лингвогеографическое изучение Припятского Полесья» содержал попытку определить место лингвистики среди других наук, занимающихся вопросами этногенеза. Центральной задачей лингвистики в этой области, по мнению докладчика, является установление серии пространственно-временных характеристик исторически известной нам этнической группы. Выдвинув в качестве рабочей гипотезы идею максимальной близости фонологических характеристик праязыка и диалекта, носители которого остались на территории прародины и, наоборот, лучшей сохранности древнейших семантических микроструктур в иноязычном окружении, В. В. Мартынов определяет значение картографирования фонологических систем, семантических микроструктур и создания топонимических атласов на основе методики топонимической стратиграфии для решения вопросов этногенеза. В частности, для решения проблемы этногенеза славян большую роль сыграло бы подобное картографирование района Припятского Полесья.

В докладе С. Б. Берштейна (Москва) «Карпатский диалектологический атлас» было показано особое значение изучения методами лингвистической географии диалектов карпатского ареала, где было пережито много общих этнических и языковых процессов

отдельными восточно-, западно- и южно-славянскими племенами, для решения вопросов славянского этногенеза и для истории отдельных славянских (особенно болгарского и сербского) и неславянских (главным образом румынского) языков.

Идеи доклада С. Б. Бернштейна вызвали большой интерес и были поддержаны в выступлении Ф. Т. Жилко (Киев), который остановился на вопросе этнической истории и формирования карпатских украинских говоров по материалам лингвистического атласа украинских говоров. Они нашли отклик также в выступлениях Б. Симеонова (Болгария), Н. И. Толстого (Москва), которые затронули вопрос о путях движения предков южных славян на Балканах. М. Я. Салманович (Москва), в свою очередь, подчеркнула, что выводы этнографического изучения Прутско-днепровского района во многом совпадают с выводами лингвистов, содержащимися в сообщениях С. Б. Бернштейна и Ф. Т. Жилко, и выдвинула идею организации комплексных экспедиций лингвистов и этнографов. В прениях по докладом, связанным с проблематикой этногенеза, выступили также Б. А. Рыбаков и Б. В. Горнунг (Москва).

Оценке методов лингвистической географии, применяемых в изучении вопросов индоевропейской диалектологии, были посвящены доклады Э. А. Макаева (Москва) «Вопросы индоевропейской диалектологии» и Вяч. Вс. Иванова (Москва) «Вопросы лингвистической географии и типологии применительно к древним индоевропейским диалектам». Подвергнув резкой критике применяемую в компаративистике процедуру вычленения отдельных ареалов индоевропейской общности в виде конституирования большего или меньшего количества диалектных изоглосс без разграничения их возможной хронологической и пространственной соотнесенности, Э. А. Макаев предложил заменить ее процедурой вычленения микросистем разных уровней языка при строгом соблюдении принципа иерархии как микросистем, так и самих уровней языка. Сопоставление и наложение ряда микросистем различных индоевропейских языков позволит установить наличие / отсутствие определенных континуумов, позволяющих говорить о стабилизации отдельных индоевропейских ареалов. Докладчик предлагает отбросить утвердившееся в компаративистике членение индоевропейской общности на два ареала — восточный и западный — ввиду отсутствия глобальных конститутивных особенностей каждого из ареалов, а также отвергнуть теорию волн, не учитывающую роль контактирования родственных и неродственных языков, втягивавшихся в различ-

ные языковые союзы. Индоевропейская диалектология, по мнению Э. А. Макаева, должна строиться как научная дисциплина, посвященная раскрытию многообразных и мощных языковых контактов.

Б. В. Горнунг, выступивший по докладу Э. А. Макаева, высказал мнение, что деление индоевропейских языков на восточный и западный ареалы стало возможным после выделения анатолийских языков, а также выразил свое несогласие с употреблением термина «языковый союз» для характеристики процессов интеграции близкородственных языков.

Вяч. Вс. Иванов в своем докладе обосновал необходимость более строгой типологической и хронологической проверки данных, которыми оперирует индоевропейская лингвистическая география, поскольку однотипные явления могли возникнуть как в результате общих инноваций, объединяющих группы диалектов, так и в результате независимого, типологически сходного развития одного и того же материала, унаследованного всеми диалектами, если этот материал содержал в самом себе предпосылки такого развития. В связи с этим докладчик вносит уточнение в понятие языковой семьи: в нее входят языки с унаследованными общими чертами и унаследованными тенденциями их дальнейшего развития. Идея доклада Вяч. Вс. Иванова была поддержана в выступлениях Б. В. Горнунга и Э. А. Макаева, последний из которых, однако, отметил, что совпадение современных моделей не всегда дает основания для восстановления непрерывной линии развития.

В коллективном докладе Т. М. Судник, В. Н. Топорова, С. М. Шур (Москва) «К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза» на примере языковой ситуации на территории литовско-белорусского пограничья доказывается зависимость типологических характеристик языков от их географического расположения. Установлено типологическое выравнивание фонологических систем диалектов данного союза. Тенденция к интеграции обнаружена также в морфологии, синтаксисе, лексике, словообразовании. В связи с этим авторы ставят вопрос о необходимости разработки методов и приемов картографирования материала, соответствующих типологическому аспекту исследования. Выступившие в прениях литовские диалектологи К. Ф. Меркупас (Вильнюс), В. З. Гринавяцкис (Вильнюс), А. Ю. Видучирис (Вильнюс) поддержали предложение докладчиков о необходимости совместного ареально-типологического исследования говоров литовско-белорусского пограничья и сделали ряд интерес-

ных дополнений, содержащих анализ конкретного материала.

Разработке сходных проблем был посвящен доклад Т. В. Цивьян (Москва) «К проблеме построения лингвистического атласа балканского языкового союза». Докладчик поставила перед собой задачу определить формы сочетания типологического и ареального методов исследования при изучении балканского языкового сообщества, объединенного по территориальному признаку и отличающегося существенными типологическими сходствами. Исходя из гипотезы о первостепенной роли коммуникации на уровне диалектов в оформлении балканского языкового союза, Т. В. Цивьян пытается определить специфические приемы сбора диалектного материала, при которых предусматривается анализ и синтез информатором простых конструкций, статистически наиболее часто встречающихся при полилингвистических контактах, перевод с родного языка и на родной язык некоторых специально подобранных фраз и синтагм, что даст возможность комплексного исследования морфологического и синтаксического уровней балканского языкового союза.

В докладе О. С. Широкова (Минск) «Принципы картографирования фонологических явлений (для балканских языков)» предлагается процедура описания балканских фонематических систем в терминах априорно заданной единой метасхемы, что позволит в дальнейшем картографировать лишь те немногие звенья, которыми фонематические схемы балканских языков будут отличаться друг от друга.

В прениях по докладам Т. В. Цивьян и О. С. Широкова выступили И. Пётруц (Румыния), Б. Симеонов, Г. Цихун (Минск), Р. Я. Удлер (Кишинев).

В докладе «О некоторых возможностях лексико-семантической реконструкции праславянских диалектов» Н. И. Толстой, исходя из убеждения, что при реконструкции праславянского лексического фонда следует обращаться в первую очередь к диалектному материалу, выдвигает задачу лингвогеографического изучения современного славянского диалектного континуума с применением разработанного докладчиком метода картографирования типов семантических полей. Поскольку в понятие семантического поля входит не только определение набора и дистрибуция лексем и их словообразовательно-деривационных возможностей, но также и установление взаимоисключающихся и взаимообуславливающих семантических и словообразовательных отношений, становится возможной предсказуемость некоторых отношений при реконструкции лексико-семантической струк-

туры праславянских диалектов поздней поры. Праславянское состояние при этом может быть представлено как ряд диалектно дифференцированных семантических полей. Автор продемонстрировал возможности своего метода на примере анализа семантической группы «названия деревьев леса и определенной породы деревьев» в говорах Припятского Полесья. С конкретным применением метода, предложенного Н. И. Толстым, участники конференции познакомились также по выступлениям А. С. Соколовской (Минск) и Г. П. Клепиковой (Москва). А. С. Соколовская сообщила о результатах исследования некоторых семантических полей методом статистического анализа с целью определения лексической и семантической близости говоров Припятского Полесья. Г. П. Клепикова на материалах Карпатского диалектологического атласа продемонстрировала опыт картографирования семантических микрополей, позволяющий экономно передать большую информацию и исследовать лексику и семантику в единой системе.

На вопросах о необходимости картографирования грамматических микросистем, о плодотворности введения статистических показателей в лингвогеографические описания, о важности типологического сопоставления диалектных данных остановился в своем докладе «К системной интерпретации грамматических данных лингвогеографии» А. Е. Супрун (Фрунзе). Он выразил пожелание, чтобы в общеславянском диалектологическом атласе были показаны системные отношения между говорами и между системами говоров. Выступившая по докладу А. Н. Булатова (Москва) сформулировала свои принципы построения идеальной грамматической системы, которая служила бы эталоном при картографировании типологических различий грамматических систем.

Доклад В. А. Никонова (Москва) «Геофонетика» был посвящен обоснованию научной ценности введения в лингвистическую географию мира фоностатистических методов, позволяющих выявить синхронные черты, пересекающие границы языков и языковых семей. Познакомив собравшихся с результатами картографирования статистических характеристик употребляемости некоторых звуков и звуковых комплексов в языках мира, докладчик подчеркнул, что территориальная монолитность выделенных при этом геофонетических массивов и последовательное изменение частотности исключает случайность его выводов. И. Вукович (Югославия) поддержал идею доклада и предложил включить в геофонетику также и интонационные структуры. Доклад вызвал много вопросов, связанных с атомистичностью построений автора.

Оживленная дискуссия развернулась по докладу Е. М. Поспелова (Москва) «Картографический анализ лингвистических атласов», в котором были подвергнуты критическому рассмотрению приемы лингвистического картографирования и типы лингвистических карт. Подчеркнув, что подавляющее большинство включаемых в лингвистические атласы карт, в том числе карты изоглосс, являются аналитическими, содержащими необобщенные сведения, полученные в результате сбора материала непосредственно на местности, докладчик характеризует современный этап лингвогеографических исследований как лингвистическую топографию и призывает к созданию синтетических карт, отражающих результаты сопоставления распространения языковых фактов с фактами социально-экономического или физикогеографического характера. Принципиальным сторонником лингвотопографии выступил Р. Я. Удлер, который придает особую ценность аналитическим картам, поскольку в синтетических картах неизбежен элемент субъективизма. В защиту современных методов лингвистического картографирования высказался Ф. Т. Жилко. Напротив, в выступлениях С. Б. Бернштейна, Н. И. Толстого, И. Пэтруца и В. А. Никонова была одобрена и обоснована новыми фактами основная идея доклада Е. М. Поспелова. Именно синтетические карты, не только сопоставляющие лингвистические данные с географическими, но главным образом представляющие результаты обобщения самих лингвистических данных, по мне-

нию С. Б. Бернштейна, могли бы облегчить использование и интерпретацию лингвогеографического материала историками языка и представителями других исторических дисциплин. Особую роль при этом, указал Н. И. Толстой, играет составление специальных программ сбора материала, предусматривающих возможность синтеза. В ходе прений были также обсуждены основные приемы лингвистического картографирования.

Конференция приняла решение одобрить и шире развернуть работу по комплексным темам «Полесский словарь» и «Карпатский диалектологический атлас» с привлечением украинских, польских, словацких и румынских диалектологов и представителей смежных дисциплин; организовать совместную работу Ин-та славяноведения с литовскими и белорусскими диалектологами по изучению балто-славянских языковых контактов; подготовить сборник работ по балкашистке силами балканской комиссии и коллектива «Карпатского диалектологического атласа».

Живой интерес, проявленный участниками конференции к ее тематике (было прослушано 32 выступления в прениях), свидетельствует об актуальности затронутых вопросов. Конференция, бесспорно, будет способствовать решению смежных проблем, стоящих перед историками, археологами, этнографами, лингвистами. Она сыграет большую роль в разработке методологии лингвогеографических исследований, особенно во внедрении структурно-типологических методов в лингвистическую географию¹.

Е. И. Демича (Москва)

ную структуру словаря в целом и построения отдельных словарных статей; в заключение наметил основные этапы работы над словарем Н. А. Некрасова.

Н. В. Сурова (Киев) представила доклад «Публицистические черты в лексике стихотворений Н. А. Некрасова середины 60-х гг. („Газетная“, „Песни о свободном слове“, „Балет“). Т. Н. Кондратьева (Казань) в докладе «Синонимические повторы как стилистическое средство поэтических произведений Н. А. Некрасова» отметила широкие возможности синонимических повторов у Н. А. Некрасова при передаче многообразных смысловых оттенков. Лексические диалектизмы в поэзии Н. А. Некрасова были рассмотрены в докладе А. Ф. Ивановой (Москва) «Диалектная лексика говоров Московской области и ее элементы в поэзии Н. А. Некрасова». К. П. Орлов (Астрахань) про-

*
26—28 января 1965 г. в Ярославском педин-те им. К. Д. Ушинского состоялась первая межвузовская конференция лингвистов, работающих над изучением языка Н. А. Некрасова. В ней приняли участие языковеды Казанского, Латвийского, Пермского ун-тов, Астраханского, Киевского, Московского областного, Рязанского, Ярославского и некоторых других педин-тов. Было прослушано 16 докладов.

Во вступительном слове зав. кафедрой русского языка Ярославского педин-та Г. Г. Мельниченко подчеркнул значение конференции лингвистов-некрасоведов, созданной с целью объединить силы ученых, исследующих язык Н. А. Некрасова, и наметить конкретную программу их совместной работы в этой области. В Ярославском ип-те уже ведется работа по созданию словаря Н. А. Некрасова, пишутся кандидатские диссертации по языку Н. А. Некрасова.

В особом докладе «О принципах сопоставления словаря Н. А. Некрасова» Г. Г. Мельниченко сформулировал основные требования к словарю языка писателя и изложил подробно разработан-

¹ Тезисы докладов опубликованы в брошюре «Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии», М., 1964.

читал доклад «Стилистические функции приложений в поэзии Н. А. Некрасова».

В ряде докладов рассматривался синтаксис произведений Н. А. Некрасова. М. Ф. В л а с о в (Пермь) в докладе «Синтаксис разговорной речи в поэме Н. А. Некрасова „Мороз, Красный нос“» в качестве наиболее существенных особенностей синтаксиса поэмы выделил, с одной стороны, его ритмические свойства и, с другой стороны, близость к синтаксису живой разговорной речи и фольклора.

В докладах Е. А. П р о в о т о р о в о й (Елецк) «Обстоятельства причины как рациональная характеристика действия в творчестве Н. А. Некрасова» и А. М. Ш у к и н о й (Рязань) «Сложные предложения с придаточными причинами в творчестве Н. А. Некрасова» было дано краткое описание средств выражения причины в творчестве Н. А. Некрасова, их особенностей, обусловленных требованиями поэзии.

В докладе В. М. Н и к и т и н а (Рязань) «Место сравнения в системе выразительных средств и способы его выражения в поэзии Н. А. Некрасова» рассматривались структурные особенности некрасовских сравнений, их общезыковые и индивидуально-авторские свойства.

В докладе Г. В. З о р и н о й (Ярославль) «Союзные сравнительные конструкции в поэме Н. А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“» были выделены различные виды придаточно-сравнительных предложений, рассмотрены синтаксические и стилистические функции сравнительных союзов.

В докладе В. А. П а р ш и н о й (Ярославль) «Семантическая предложно-падежная синонимика в кругу предлогов *в, на, с, по* в произведениях Н. А. Некрасова» показаны семантические оттенки синонимических сочетаний с данными предлогами.

В докладе Д. И. Г а н и ч (Киев) «Модальные функции частиц в поэме Н. А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“» выражаемые частицами модальные значения и оттенки значений рассматривались в связи со структурой предложения, грамматическими формами сказуемого, интонационной оформленностью фразы. Автор показывает влияние стилей народной поэзии на язык поэмы Н. А. Некрасова.

Исследование акцентологических явлений в поэзии Н. А. Некрасова проводится в докладах Н. П. Р а з д о р о в о й (Рига) «Глагольные ударения в по-

этическом языке Н. А. Некрасова» и А. С. М у з ы ч е н к о (Лужк) «Имена существительные с ударением, колеблющимся и отступающим от современного в стихотворном языке Н. А. Некрасова». Н. П. Раздорова исследовала глаголы с ударяемой основой (подвижное ударение) и глаголы с неударяемой основой (наконечное ударение). Поэзия Н. А. Некрасова, наряду с литературной нормой эпохи, отражает значительное количество диалектных ударений, а именно — севернорусское произношение многих глагольных форм. В докладе А. С. Музыченко ударение имен существительных в поэзии Н. А. Некрасова также анализировалось с точки зрения нормативности для второй половины XIX в., дается его стилистическая характеристика.

С. А. Ч е р в я к о в с к и й (Горький) в докладе «О языке поэмы Н. А. Некрасова „Современники“» сделал попытку сочетать литературоведческий и лингвистический анализ произведения, выявляя роль сатирической экспрессии в языке поэмы и определяя семантико-стилистические функции гиперболы, гротеска, алогизма.

В докладе Е. П. Д у б р о в и н о й (Мичуринск) «Слово и образ в поэзии Н. А. Некрасова» говорилось о значении различных изобразительных средств словаря Н. А. Некрасова в создании художественных образов.

Участники конференции пришли к общему выводу, что глубокое и разностороннее изучение языка Н. А. Некрасова может быть осуществлено только большим коллективом исследователей, объединенным вокруг одного центра, направляющего и координирующего работу этого коллектива в течение длительного времени. Конференция одобрила инициативу кафедры русского языка Ярославского педин-та, взявшей на себя обязанности быть таким центром и создавшей данную конференцию.

Решено, что в дальнейшем объединенные усилия исследователей-некрасоведов должны быть направлены: 1) на создание полного словаря Н. А. Некрасова; 2) на составление словаря синонимов по произведениям Н. А. Некрасова; 3) на разработку стилистики произведений Н. А. Некрасова — стилистический анализ отдельных произведений, циклов произведений, стилистические функции отдельных частей речи, синтаксических конструкций и пр.; 4) на изучение словосочетаний; 5) на изучение акцентологической системы.

* А. Г. М о с к а л е в а, А. М. М е л е р о в и ч (Ярославль)

11—12 февраля 1965 г. в Институте русского языка АН СССР (Москва), в связи с ведущейся в настоящее время в этом Институте работой по созданию новой краткой академической грамматики со-

временного русского литературного языка, состоялось расширенное заседание Ученого совета, посвященное обсуждению принципов построения описательной грамматики современного русского литературного языка.

Во вступительном слове руководитель этой работы Н. Ю. Шведова (Москва) подчеркнула значение уже существующей Академической грамматики² как нормативного пособия и вместе с тем, говоря об ориентации этой грамматики на школьную грамматическую систему, указала, что сейчас, в связи с интенсивным развитием грамматической теории, назрела необходимость в создании новой академической грамматики.

Новая академическая грамматика, стремясь к максимально полному отражению и освещению языкового материала и опираясь на лучшие достижения современной грамматической теории, должна содержать в себе характеристику строя русского литературного языка середины XX в., не допускающую никаких искусственных схематизаций в целях «удобства» либо подтверждения умозрительных теорий. Однако эта грамматика должна в ряде случаев произвести реорганизацию и реинтерпретацию существующих схем там, где это поддается самой языковой реальностью.

Новая грамматика исходит из того, что современный русский литературный язык представляет собой органическое единство взаимосвязанных подсистем, варьирующих в отдельных чертах, в зависимости от сферы функционирования или формы языка, действующие в нем правила образования слов, форм слов, словосочетаний и предложений; что грамматические категории всех ярусов языковой системы представляют собой сложное единство формы и значения; что всякая синхрония существует в языке как условно ограниченный момент развития, а потому является динамической, и синхронное описание предплагает внимание к живым тенденциям развития.

Отношение разделов будущей грамматики (1. Морфология, 2. Словообразование, 3. Морфология, 4. Синтаксис словосочетания и простого предложения, 5. Синтаксис сложного предложения) друг к другу должно быть отношением логически последовательной конструктивной связи, исключающей возможность повторений, противоречий и не вытекающих из предыдущего изложения выводов.

С докладами на совещании выступили авторы будущих разделов «Грамматики».

В. А. Редькин (Москва) в докладе «Принципы построения раздела „Морфология“» определил морфологию как дисциплину, которая изучает средства координации грамматики и фонологии, образующие систему ограничений, определяющих звуковую структуру слова как члена синтагматического и парадигматического целого.

Охарактеризовав ударение, интерфик-

сы, чередование фонем, порядок следования и правила сочетаемости компонентов слова как морфонологические средства русского языка, докладчик сообщил, что в разделе «Морфология» будут описаны общие морфонологические законы. Само же действие морфонологических законов будет описано в других разделах «Грамматики».

В докладе была приведена система определений для описания акцентологических единиц русского языка и охарактеризованы понятия морфонологической синонимии, омофонии, инвариантности и иерархии, составляющие круг проблем, исследуемых при описании системы морфонологических средств.

Авторы доклада «Принципы построения раздела „Словообразование“» В. В. Лопатин и И. С. Удеханов (Москва) исходят из того положения, что словообразование — это самостоятельный ярус структуры языка, создаваемый словообразовательными, или деривационными, значениями и материальными средствами их выражения. Задачам синхронного описания словообразовательной системы языка соответствует выделение словообразования в единый самостоятельный раздел грамматики. Докладчики также считают, что построение словообразовательной системы как системы типов, моделей невозможно только с помощью методов морфемного анализа. Словообразовательный анализ, строящийся на принципе сопоставления мотивирующей и мотивированной основ не только последовательно выявляет все морфемы слова, но и реально отражает синхронные иерархические взаимоотношения, существующие между ними.

В докладе были охарактеризованы основные понятия, используемые при описании словообразовательной системы — словообразовательный тип и модель, словообразовательная регулярность и продуктивность. Большое внимание в докладе было уделено принципам разграничения словообразовательных и лексических значений и методам установления общего словообразовательного значения типа. При характеристике типов с точки зрения их продуктивности принимается во внимание прежде всего существующая в системе возможность новообразований, а не эмпирически зафиксированное их количество.

Описание каждого словообразовательного типа должно содержать следующую информацию: 1) общее словообразовательное значение типа и общая схема формальных отношений мотивирующего и мотивированного слова, а также морфологическая характеристика относящихся к данному типу слов; 2) отклонения от регулярных отношений типа: а) отклонения от общей схемы формальных отношений; б) отклонения от общего словообра-

² «Грамматика русского языка», М., Изд-во АН СССР, 1960.

зовательного значения типа; 3) продуктивность типа; 4) стилистическая характеристика типа.

В. А. Робинсон (Москва) в докладе «Принципы построения раздела „Морфология“», определив предмет морфологии как включающий в себя парадигматику, грамматические разряды слов, объединенных по признаку общности парадигм, и грамматические категории, указала соответственно на следующие задачи и состав раздела «Морфология» в грамматике: 1) определение и описание грамматических разрядов слов или частей речи (раздел первый «Части речи»); 2) описание парадигм и типология парадигм (раздел второй «Парадигматика»); 3) описание грамматических категорий (раздел третий «Грамматические категории»). В. А. Робинсон указала, что в основу классификации частей речи предполагается положить звуковость собственно формальных признаков слова — его парадигматику и его общие синтаксические свойства, в зависимости от характера которых выделяются три разряда: 1) слова склоняемые — имя существительное; 2) слова склоняемые и изменяющиеся по родам — имя прилагательное; 3) слова спрягаемые — глагол. Данная классификация предполагает объединение в пределах одной части речи следующих традиционно разделяемых групп слов: в имени существительном будут объединены собственно существительные, количественные числительные и личные местоимения; в имени прилагательном объединяются все слова, изменяющиеся по образцу прилагательных; слова со значением сравнительной степени и деепричастия войдут в состав наречия.

В докладе было охарактеризовано содержание основных разделов и система понятий, принятых в работе.

В. А. Робинсон подчеркнула роль формального фактора в определении типологии парадигм частей речи, а также семантических групп при грамматической характеристике частей речи, указала на необходимость разграничения терминов «грамматическая категория» и «грамматическое значение» и выделения в грамматических категориях собственно грамматических и лексико-грамматических категорий, а также рассмотрения грамматических категорий с точки зрения их «обращенности» к морфологии или синтаксису и в их отношении к словообразовательным формантам.

По мнению автора доклада «Принципы построения раздела „Виды и залоги глагола“» Б. Н. Головина (Горький), в современном русском литературном языке категория залога постфиксом *-ся* и типовой сочетаемостью различает процессы по наличию (отсутствию) соответствия между действием и вызванным им состоянием. Б. Н. Головин предло-

жил принять такую лингвистическую «модель» залогов, которая сводит их число к трем типам (действительный, страдательный и средний). Б. Н. Головин подчеркнул, что категория залога должна рассматриваться как морфологическая, а не синтаксическая, и не должна связываться жесткой зависимостью с понятиями грамматического субъекта и объекта.

Категория вида, указал Б. Н. Головин, соотносением глагольных основ различает два аспекта осознания реальных процессов: а) процессы в их исполненности и предельности и б) процессы в их течении и неопределенности. Противопоставление совершенного вида несовершенному охватывает прямо или косвенно все глаголы современного русского языка и носит, как правило, грамматико-словообразовательный либо грамматический характер. Докладчик выделяет четыре функциональные разновидности несовершенного вида (а. значение моментности, б. значение обычности, повторности, в. значение способности, свойства и г. значение постоянства проявления) и три структурно-словообразовательные разновидности совершенного вида (а. начинательность, б. окончательность и в. разовость, целостность). Б. Н. Головин отметил связь категории вида с категориями времени и залога.

В докладе «Принципы построения раздела „Синтаксис словосочетания и простого предложения“» Н. Ю. Шведова сообщила, что построение синтаксиса предполагается осуществить как описание конструктивных единиц двух ярусов языка — некоммуникативного (словосочетание) и коммуникативного (предложение) в их взаимодействии. В докладе было раскрыто содержание основных частей раздела: 1) «Система подчинительных связей слова», 2) «Система словосочетания в ее отношении к системе связей слова», 3) «Простое предложение». В докладе было изложено принятое автором понимание соотношения словосочетания и предложения, а также раскрыты понятия парадигмы предложения и формы предложения. Предполагается, что в новой грамматике не будет главы о «второстепенных членах предложения»; обычно включаемый в эту главу материал распределится между разделами: а) о словосочетании; б) о функционировании словосочетаний, отдельных словоформ в предложено-надежных группах, совпадающих по форме с зависимым компонентом словосочетания в отношении к предложению; в) о группах слов, формирующихся только в предложении.

В докладе «Принципы построения раздела „Синтаксис сложного предложения“» В. А. Белошапкина (Москва) подчеркнула, что сложное предложение составляет как в конструктивном, так и в коммуникативном аспекте структурное

и семантическое целое, предложила определения структуры и значения сложного предложения и охарактеризовала основные конструктивные признаки, образующие эту структуру (количество компонентов, структурные особенности компонентов, средства соединения и выражения отношений между ними, характер ограничений в лексическом наполнении структурных элементов, порядок компонентов), а также перечислила основные типы сложных предложений, которые будут описаны в «Грамматике».

В обсуждении докладов приняли участие 17 человек.

Особенно много внимания было уделено в прениях проблемам морфологии. Указывая на необходимость введения раздела «Морфонология» в новую грамматику, выступавшие подчеркивали, что всякий новый аспект изучения предполагает особо строгую четкость принципов и последовательность терминов (П. С. Кузнецов, Н. С. Поспелов, К. В. Горшкова, Е. А. Земская). Н. С. Поспелов (Москва) признал ценным изучение ударения под знаком структуры слова в качестве центральной морфонологической проблемы. Вместе с тем было указано на неполноту определения в докладе самого предмета «Морфонологии», возникающую, с одной стороны, из-за недостатка внимания к сегментным субморфам (В. Г. Чурганова), с другой — из-за неравномерного растворения в морфологию всех аспектов акцентологии (Б. В. Горнунг, В. Д. Левиц), на отсутствие характеристики основных единиц и отношений, изучаемых морфологией (К. В. Горшкова). С. К. Шаумян (Москва) сказал, что представленное в докладе В. А. Редькина понимание морфологии не вызывает возражений и признал целесообразным учет в морфологии принципа двуступенчатости ударения (ударение как абстрактный элемент и как физический субстрат кульминатора). Как отметили К. В. Горшкова (Москва) и Е. А. Земская (Москва), в разделе должно быть показано отношение морфологии к другим разделам грамматики. В. А. Дыбо (Москва) и В. Г. Чурганова (Москва) высказали мнение, что без раздела «Фонология» раздел «Морфонология» в новой грамматике оказывается неподготовленным. На неопределенность некоторых понятий (морфонологическая синонимия) и смешение синхронного и диахронного планов в разделе указали в своих выступлениях Е. А. Земская и В. Д. Левиц (Москва).

При обсуждении принципов построения раздела «Словообразование» выступавшими (Е. А. Земской, В. Д. Левиным, С. Е. Крючковым и др.) была высказана общая положительная оценка доклада. Е. А. Земская, согласившись с ос-

новными положениями доклада, предложила свое понимание словообразовательного типа и словообразовательной модели. И. П. Мучник (Москва) предостерег в своем выступлении от механического разграничения словообразования и морфологии: по его мнению, необходимо обратить внимание на многообразные явления, лежащие на грани словообразования и морфологии. Этому же вопросу коснулась в своем выступлении и Е. А. Земская. Б. В. Горнунг (Москва) подчеркнул значение выделения лексико-семантических групп слов при изучении словообразования. Н. С. Поспелов высказал удовлетворение тем, что словообразование выделено в самостоятельный раздел.

Одобрив основные принципы построения раздела «Морфология», ряд выступавших, однако, не согласились с формальными методами выделения частей речи, в основу которых кладутся не грамматические категории, а парадигматика (П. С. Кузнецов, Н. С. Поспелов, И. П. Мучник, С. Е. Крючков). Как отметил Н. С. Поспелов, подведение под категорию имен существительных местоимений и числительных неравномерно, поскольку между ними существуют определенные морфологические различия. В выступлениях П. С. Кузнецова (Москва) и Л. Н. Булатовой (Москва) отмечалась нечеткость разграничения в докладе собственно грамматических и лексико-грамматических категорий. Б. В. Горнунг предложил начинать рассмотрение основных разделов «Морфология» не с частей речи, а с грамматических категорий, поскольку такое построение больше соответствует построению других частей грамматики, в частности, раздела «Синтаксис словосочетания и простого предложения».

Ряд критических замечаний вызвал доклад Б. Н. Головина о принципах построения раздела «Виды и залого глагола». И. П. Мучник указал, что докладчик не дает единого основания для выделения трех залогов и в этом отношении делает шаг назад по сравнению с современной теорией залогов. Никак не отражено отношение автора к вопросам современной теории и в разделе о видах. Докладчик проходит мимо таких актуальных проблем, как синтаксическая сторона вида, вскрываемая трансформационным анализом, проблема соотношения видов с лексическими значениями, проблема маркированности и немаркированности видов и т. д. Е. М. Галкина-Федорова (Москва), в целом положительно оценив доклад Б. Н. Головина, отметила отсутствие четкости и определенности в отдельных его частях. К. В. Горшкова, обратив внимание на то, что в докладе Б. Н. Головина начальность, окончательность и разо-

вость рассмотрены как структурно-словообразовательные разновидности совершенного вида, отметила несогласованность этих положений с предполагаемым в разделе «Словообразование» описанием словообразовательно выраженных способов глагольного действия и согласилась в этом вопросе с авторами раздела «Словообразование».

Оценив положительно в целом принципы построения синтаксических разделов новой грамматики, Н. Н. Прокопович (Москва) сказал, что более естественным, по его мнению, явилось бы объединение простого и сложного предложения в разделе «Предложение» и противопоставление этого раздела «Словосочетанию». Н. Н. Прокопович настаивал на большей четкости разграничения понятий «словосочетание» и «предложение». В. В. Виноградов (Москва) подчеркнул необходимость различения понятий словосочетания и синтагмы в современном синтаксисе и, предостерегая исследователей от механизации понятия «словосочетание», указал на важность введения в описание строя литературного языка противопоставления «слово — словосочетание». В. В. Горнунг говорил о том, что в описании словосочетаний и предложений данного языка должны учитываться особенности, определяемые спецификой этого языка. Большой интерес вызвало в докладе Н. Ю. Шведовой понятие парадигмы предложения. В. Д. Левин высказал пожелание, чтобы в дальнейшем была вскрыта принципиальная ценность этого понятия. О необходимости внимания к проблемам интонации и недопустимости смешения морфологических и синтаксических категорий в грамматике говорила Е. М. Галкина-Федорова. Ею же была предложена интерпретация модальности как семантико-логической, а не собственно языковой категории. Т. П. Ломтев (Москва) высказался за введение в раздел «Синтаксис простого предложения» главы о второстепенных членах на том основании, что в противном случае второстепенные члены вообще не будут описаны грамматикой. В связи с вопросом о разграничении предикативных и непредикативных синтаксических отношений Т. П. Ломтев на примере безличных и номинативных предложений показал, что синтаксическая семантика должна описываться с помощью единиц семантического уровня, если только признать, что всякое различие возможно лишь на базе определенных правил.

*

С 21 февраля по 14 марта 1965 г. на филологическом факультете МГУ проводилась 1-я олимпиада по языковедению и математике среди учащихся средних учебных заведений г. Москвы.

Было признано правильным и основное направление, представленное проектом раздела «Сложное предложение» (С. Е. Крючков, Н. С. Поспелов). На уточнении ряда определений («гибкие, негибкие конструкции», «часть» и «компонент предложения», «многочленность») настаивали Т. В. Валимова (Ростов), С. Е. Крючков (Москва) и Н. С. Поспелов. О необходимости введения некоторых новых теоретически важных понятий говорили В. В. Виноградов («нейтрализация предикативности»), Н. С. Поспелов («закрытый и незамкнутый ряд»), Т. В. Валимова («минимальная конструкция»). Н. С. Поспелов предложил изучать проекцию строя словосочетания и простого предложения на сложное (соответствие синсемантической словосочетания двучленности сложного предложения, соответствие предикативности простого предложения одночленности сложного).

В целом, как отметил в своем выступлении В. В. Виноградов, составление новой грамматики идет в нужном направлении. Большая согласованность разделов и большая тщательность описания будут достигнуты в процессе дальнейшей работы и ее обсуждения на открытых заседаниях грамматической группы Сектора истории русского литературного языка.

Как на положительные моменты принятого для новой грамматики направления в выступлениях указывалось на тесную связь с русской грамматической традицией и учет новейших достижений грамматической мысли (С. Е. Крючков), на новое «ступенчатое» построение в отличие от «линейного» построения предшествующей грамматики (Н. С. Поспелов).

Вместе с тем выступавшие подчеркивали необходимость соблюдения меры в сочетании традиции и новизны (В. Д. Левин), предостерегали от опасности механизма (Н. Н. Прокопович), от невнимания к школьной грамматике (Е. М. Галкина-Федорова).

Как говорилось в прениях, в новой академической грамматике не должно быть места непроверенным положениям (Т. В. Валимова), непоследиальному употреблению терминов (Т. П. Ломтев, С. К. Шаумян), противоречивым теориям (К. В. Горшков).

В заключение Н. Ю. Шведова поблагодарила всех выступавших за их замечания, которые будут содействовать дальнейшей работе над книгой.

И. А. Василевская, Е. С. Корюкская
(Москва)

Целью олимпиады являлось, с одной стороны, ознакомить в широком масштабе школы и школьников с новой для них дисциплиной — языковедением и с возможностью применения математических

методов при исследовании языка и, с другой стороны, выявить среди школьников наиболее способных к занятию современным языковедением.

Олимпиада проводилась в два тура отдельно по выпускным (11-м) и невыпускным (9—10-м) классам.

Оргкомитет (в составе: Б. Ю. Городецкий, А. Н. Журинский, А. А. Зализняк, А. Е. Кибрик — отв. секретарь, И. Г. Милославский — зам. председателя, В. В. Раскин, В. А. Успенский — председатель) отработал текст и состав задач для первого и второго туров (их предполагается опубликовать в журнале «Наука и жизнь»). Задачи делились на лингвистические и математические; ввиду основного упора на лингвистический характер олимпиады к математическим задачам не предъявлялось требование абсолютной оригинальности. Основную трудность представляли задачи лингвистические, при решении которых школьник должен был столкнуться с наукой, которая в школе не изучалась. В то же время решение этих задач должно было основываться не только на знании конкретных языков, но и на некотором представлении о свойствах языка вообще; причем в условиях ряда задач фигурировали заведомо не известные учащимся языки (суахили, санскрит, арабский и др.)^{*}.

Лингвистические задачи (автором большей части их был А. Н. Журинский) преследовали в основном следующие цели: 1) (наиболее простая) проверить знание иностранного(ых) языка(ов); 2) проверить понимание различия между

23 марта 1965 г. состоялось заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР (Москва), посвященное чествованию заслуженного деятеля науки Туркм. ССР и Каракалпакской АССР доктора филологических наук Николая Александровича Баскакова в связи с шестидесятилетием со дня рождения и тридцативосьмилетием научно-педагогической деятельности. После вступительного слова директора ИЯ АН СССР Ф. П. Филина выступили А. А. Юлдашев с докладом о научно-педагогической деятельности Н. А. Баскакова.

Научные интересы Н. А. Баскакова сосредоточены главным образом на изучении ранее не исследованных либо малоисследованных младописьменных языков, которым посвящены его наиболее

устной и письменной речью; 3) обратить внимание на структурное сходство реальных языков и искусственных кодов; 4) заставить взглянуть на проблему перевода как на семиотическую проблему.

На первом туре учащимся невыпускных классов предлагалось восемь задач в двух вариантах (из восьми задач — три математические), учащимся выпускных классов — семь задач в одном варианте (из них три задачи математические). На втором туре было по шесть задач (из них две математические) для выпускных и невыпускных классов.

Первый тур состоялся 21 февраля, второй — 7 марта. После каждого тура проводился публичный разбор всех задач. 14 марта состоялось закрытие олимпиады и премирование победителей. В первом туре, носившем отборочный характер, участвовало около 300 человек. Участие во втором туре приняло около 120 человек.

На основании работ второго тура (с привлечением итогов первого тура) были определены победители олимпиады. По 11-м классам было установлено две первые премии, которые присуждены В. И. Корниленко и В. А. Терентьеву, показавшим блестящие результаты на олимпиаде; среди 10-х классов первых премий не присуждалось; среди 9-х классов — одна первая премия (А. Н. Привалову).

Поставленные перед оргкомитетом цели олимпиады можно считать в значительной степени достигнутыми. Решено сделать проведение олимпиады по языковедению и математике традицией филологического факультета.

А. Е. Кибрик (Москва)

крупные монографические труды: «Ногайский язык и его диалекты», «Каракалпакский язык», «Алтайский язык», подытоживающие его многолетние самостоятельные исследования; многочисленные работы Н. А. Баскакова посвящены грамматическому строю тюркских языков. Большие заслуги принадлежат Н. А. Баскакову в составлении двуязычных тюркских словарей. Н. А. Баскаков принимает активное участие в языковом строительстве в тюркоязычных республиках и в областях; им составлен ряд учебников и учебных пособий по некоторым тюркским языкам. Большую роль сыграли его работы, посвященные орфографии, терминологии, орфоэпии, литературной норме различных тюркских языков.

Многолетняя работа по исследованию конкретных тюркских языков позволила Н. А. Баскакову выступить с трудами на общетюркологические темы: монографиями «Тюркские языки», «Введение в изучение тюркских языков», а также многочисленными статьями.

Н. А. Баскаков принимает активное участие в подготовке национальных языковедческих кадров; он деятельно участ-

^{*} Общее представление о характере большинства предлагавшихся задач могут дать следующие работы: Н. А. Gleason, *Workbook in descriptive linguistics*, New York, 1955; А. А. Зализняк, *Лингвистические задачи*, сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963.

вует в научно-организационной работе учреждений АН СССР, Министерства высшего и среднего специального образования СССР и Министерства просвещения РСФСР. Н. А. Баскаков является не только ответственным редактором сборников, монографий и словарей, но и организатором издания трудов ряда советских и зарубежных ученых.

После доклада были оглашены многочисленные приветственные адреса юбиляру от различных центральных, республиканских, областных, а также зарубежных учреждений их представителями.

23—25 марта 1965 г. во Львове состоялось совещание, посвященное обсуждению пробного выпуска «Словаря староукраинского языка XIV—XV вв.»³, подготовленного сотрудниками отдела языкознания Ин-та общественных наук Львовского гос. ун-та им. И. Франко. В работе совещания приняли участие научные сотрудники Ин-та русского языка АН СССР, Ин-та языкознания АН СССР, Ин-та языкознания АН УССР, языковеды вузов Украины, а также Вильнюсского, Ташкентского и Самаркандского ун-тов.

Высоко оценивая проделанную коллективом составителей словаря, руководимым д-ром филол. наук Л. Л. Гумецкой, работу по составлению картотеки словаря и выработке основных правил составления и редактирования статей, выступающие одобрили обоснование хронологических рамок словаря староукраинского языка. Словарь явится закономерным продолжением словаря древнерусского языка XI—XIV вв. и вместе с издающимися в настоящее время историческими словарями польского и чешского языков, также фиксирующими материал по XV в. включительно, даст возможность для сопоставительно-типологического изучения этих языков и в диахроническом плане. В отношении грамматической части словаря были высказаны опасения, что детальная документация словоформ чрезмерно увеличит объем словаря. Полностью одобрен был метод подачи в словаре ономастического материала.

При обсуждении вопроса об источниках словаря, в частности, вопроса о размежевании украинских и белорусских памятников, взгляды участников совещания разошлись. Многие выступающие, считая, что в грамотах не полностью отражена лексика языка XIV—XV вв., предлагали дополнить картотеку словаря за счет памятников церковной литературы, летописей, житий святых и т. п., из которых при этом можно было бы выбирать только украинские лекси-

В адрес юбиляра поступило множество телеграмм от советских и зарубежных организаций и учреждений ученых и других лиц.

В ответной речи юбиляр поделился своими планами на будущее. Составление двузвучных, инверсионного и этимологического словарей отдельных языков, исследование строя тюркских языков, их истории и диалектологии, издание трудов крупнейших тюркологов и алтаистов — далеко неполный перечень его творческих замыслов.

* *К. Мусаев* (Москва)

ческие элементы. Предлагалось также, с одной стороны, отказаться от части молдавских грамот, чтобы уравновесить соотношение памятников западно- и восточноукраинского территориального происхождения, а с другой — охватить ряд восточноукраинских и волинских памятников. Оказалось, однако, что большинство этих памятников уже расписаны для словаря из других изданий.

В связи с тем, что словарь староукраинского языка XIV—XV вв. создается главным образом на материалах деловых актов, предлагалось также уточнить его название, а именно: «Словарь староукраинского актового языка XIV—XV вв.» (Я. А. Спринчак, Нежин), «Словарь украинской письменности XIV—XV вв.» или «Словарь украинского литературного языка XIV—XV вв.» (П. Д. Тимошенко, Киев).

Широко обсуждались вопросы определения порядка подачи значений (в соответствии с частотой употребления или по генетико-историческому принципу) и определения основного варианта заглавного слова. Исходя из опыта работы над словарем древнерусского языка XI—XIV вв., Т. А. Сумникова (Москва) предложила указывать только абсолютную частоту употребления слова, а при изложении значений статистических данных не давать. Ю. С. Сорокин (Ленинград), Л. Л. Кутина (Ленинград), Т. А. Сумникова высказались за метод определения и толкования значений слов, предпочитая его методу передачи значения с помощью современных аналогов.

На совещании были прослушаны также доклады, посвященные различным вопросам исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. Я. А. Спринчак в докладе «О задачах, методах и принципах историко-этимологического изучения восточнославянской лексики» подробно остановился на критериях определения восточнославянских слов и применении принципа системности в исследованиях по исторической лексикологии. А. И. Журский (Минск) прочел доклад о принципах составления словаря старобелорусского языка XIV—XVIII вв. Ю. С. Со-

³ «Словник староукраїнської мови XIV—XV вв.», Пробний зошит, Київ, 1964.

рок ин доложил о состоянии и актуальных задачах изучения лексики русского языка XVIII в. Е. И. Кедайтене (Вильнюс) сообщила о работе по составлению словарей «Диариуша» А. Филипповича и «Перестороги» Борецкого. Л. Л. Кутина на большом фактическом материале осветила теоретические проблемы формирования русской терминологии (географической, физической и др.). На материале литературоведческой терминологии старорусского языка аналогичные вопросы поставил в своем докладе П. Д. Тимошенко.

В большинстве докладов рассматривались вопросы, непосредственно и тесно связанные с проблематикой словаря старорусского языка. Ф. Е. Ткач (Одесса), остановившись на особенностях графики памятников украинской письменности, подчеркнул, что условный квижный характер старого украинского письма не всегда способствовал воспроизведению произносительных норм народного языка. А. А. Москаленко (Одесса), основываясь на анализе орфографии изданных В. Розовым, Д. Богданом и З. Радзиминым памятников, посоветовал составителям словаря подавать в реестре на первом месте те варианты написаний, которые наиболее близки к орфографической норме того времени и не отражают второго болгарского влияния. М. Ф. Станивский (Черновцы) рассмотрел некоторые компоненты формулярно-славяно-молдавских грамот XIV—XV вв., в которых творчески использовались различные по происхождению образцы формул средневековой дипломатики.

В докладах У. Я. Едлинской (Львов) «Грамматика в словаре старорусского языка» и Д. Г. Гринчишина (Львов) «Сложные слова в словаре старорусского языка» рассматриваемые проблемы получили теоретическое осмысление.

П. М. Лизанец (Ужгород), остановившись на вопросах подачи заимствований в словаре, высказал пожелание, чтобы в словаре указывались не только источники заимствования, но и языкопосредники. В. Д. Коваль (Черновцы) доложил о западнославянских лексических элементах в украинских грамотах

XIV—XV вв., для выделения которых был применен не только семантический и фонетико-морфологический, но и историко-филологический принципы.

В докладе Л. И. Ройзензона (Самарканд) «Многосоставочные глаголы в старорусском и старобелорусском языках» подчеркивалась тождественность словообразовательной системы этих языков, различавшихся в XIV—XV вв. лишь в области фонетики. Большой интерес вызвали доклады, посвященные анализу языка отдельных памятников и отдельных категорий их лексики.

Г. И. Коляда (Ташкент), показав, что в некоторых посланиях Ивана Грозного содержится несвойственные для русского языка того времени лексические украинизмы, высказал предположение, что эти грамоты написаны по поручению Грозного выходцем из Украины. Л. А. Бова (Сумы), анализируя лексику «Перестороги», памятника украинского языка начала XVII в., выделила в ней группу слов, по происхождению общеславянских, собственно украинских, старославянских, польских, латинских и греческих. О. И. Брицына (Камешиц-Подольский) проанализировала общественно-политические термины ряд, *опека* и производные от них в языке XVI—XVII вв. В сообщении А. Г. Ломова (Самарканд) рассматривались типы глагольных фразеологизмов в древнерусском языке (на материале Киевской и Галицко-Волынской летоисей Ипатьевского списка).

В. А. Горпинич (Глухов) доложил об исследованных им фонетических и морфологических вариантах прилагательных, образованных от топонимов, и названий жителей в древнерусском языке.

Были заслушаны также информации Т. А. Сумниковой о работе над словарем древнерусского языка XI—XIV вв. и Г. А. Богатовой (Москва) о работе над малым древнерусским словарем XI—XVII вв.

В резолюции, принятой на совещании, подчеркивалась необходимость более тесного творческого сотрудничества и обмена опытом между научными коллективами, работающими в области исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков.

В. К.

С 25 по 27 марта 1965 г. в Институте германистики Йенского университета им. Шиллера проходила конференция на тему «Проблемы истории немецкого языка». Цель конференции заключалась прежде всего во взаимной информации и в выяснении наиболее острых проблем, нуждающихся в разработке.

Большое внимание в докладе проф. Меттке (Йена) «Проблемы и задачи в изучении истории немецкого языка» и информационном сообщении проф. Гро-

се (Лейпциг) было уделено распределению наиболее важных и актуальных языковедческих проблем между университетами и отделениями АН, а также диссертационным работам и отдельным исследованиям. Среди этих проблем следует особо выделить следующие: фундаментальная грамматика современного немецкого языка, становление и развитие национального немецкого языка, сопоставление структуры немецкого языка с

другими языками, применение в языкознании точных методов математической логики и статистики, выработка терминологии народного хозяйства и техники, диалектология и ономастика. Немалое внимание уделено вопросам методического характера.

Д-р Ш и б (Лейпциг) на материале различных списков «Энеиды» Вельдеке наглядно продемонстрировал всю сложность филологического изучения текста и восстановления его первоначального вида.

Актуально прозвучал доклад проф. Б е к е р а (Йена), в котором автор, исходя из мысли, что современное состояние языка является последним отрезком истории, настоятельно подчеркнул необходимость связывать изучение современного языка с его историей, особенно в целях борьбы за чистоту языка.

Д-р Ф л е й ш е р (Лейпциг) в своем докладе «О соотношении фонем и графем в период образования немецкого литературного языка» по-новому поставил эту далеко не решенную проблему. На материале дрезденских грамот XVI в. автор показывает определенную самостоятельность системы графем, обнаруживающую оппозиции и варианты. В развитии системы графем прослеживаются телеологические (целенаправленные) тенденции.

С 6 по 10 апреля 1965 г. в университете Ганы (Аккра, Легон) проходил V конгресс по языкам Западной Африки. В его работе приняло участие около 200 специалистов из различных стран мира.

Открывая конгресс, министр просвещения Ганы Кваку Боатенг подчеркнул важность и актуальность изучения африканских языков. Он отметил, что право говорить и писать на родном языке есть одно из неотъемлемых и важнейших человеческих прав и что действительно массовой может быть только грамотность на родном языке. Перед лингвистами стоит также задача глубокого изучения устной африканской литературы и перевода ее в письменную форму; решение этой задачи позволит сделать устную африканскую литературу достоянием не только всей Африки, но и всего мира.

В задачи конгресса входило: оценить достижения лингвистов за последние пять лет (со времени основания в апреле 1960 г. журнала «The West African languages survey»), составить перспективный план собирания и транскрибирования произведений устной литературы и преданий, организовать публикацию материалов по наименее изученным языкам и, наконец, учредить Западно-африканское лингвистическое общество.

Участники конгресса получили возможность ознакомиться с 47 докладами, представленными в письменном виде, и обсудить их.

На секции сравнительных и исторических исследований большое внимание

В докладе д-ра Зухсланда (Йена) подвергнуто всестороннему анализу йонские грамоты XIV—XV вв.

Д-р Л е р х н е р (Лейпциг) в докладе «К проблеме игнеонизмов в историко-географическом освещении» остановился на значении глоттохронологии при изучении генетически родственных языков.

На заключительном заседании 27 марта доктор Н е р и у с (Росток) сделал доклад на тему «К вопросу о создании нормы немецкого литературного языка во второй половине XVIII в.». В докладе была сделана попытка уточнить такие важные понятия, как понятие нормы литературного языка и национального языка, причем автор в большой мере базировался на работах проф. Гухман «От языка немецкой народности к немецкому национальному языку».

Оживленная дискуссия по проблемам понимания нормы литературного языка, а также по вопросам, связанным с применением статистического метода, показала своевременность и актуальность данной конференции. Доклады будут опубликованы в «Ученых записках» Йенского университета [«Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität Jena, gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe»].

Е. В. Гулыга, М. Р. Королева (Москва)

уделялось глоттохронологическим исследованиям в области западноафриканских языков, только незначительная часть сложной истории которых зарегистрирована документально. В коллективном докладе М. С в а д е ш а, Д. Т. Б е н д о р - С а м у э л а, В. А. В и л с о н а и Е. А р а н а «Предварительная глоттохронология языков гур» была сделана попытка изучения языков гур с точки зрения лексико-статистической глоттохронологии. В докладе К. П е й н т е р а (университет Ганы) «Глоттохронологическое изучение диалектов гуанг» языки гуанг сопоставлялись с тремя из гур-языков; докладчик прослеживал общие черты, тенденцию к стиранию различий между языками гур и ква. Европейским заимствованиям в языке га, распространенном в Аккре, был посвящен доклад М. К р о ц а (университет Ганы) (этот же доклад обсуждался в секции прикладного языкознания и языковых контактов). П. З и м а (Ин-т востоковедения, Прага) изложил свои замечания к изучению западноафриканских языков в диаспоре.

Из докладов, обсуждавшихся на секции синтаксиса, среди других несомненный интерес представлял доклад Г. А н с р е (Лондон), в котором на материале языка эве рассматривались «вербидные конструкции»⁴, которые при всем своем

⁴ Впервые этот термин употреблен Ес-персенем в его «Аналитическом синтаксисе» (1937).

сходстве с «последовательными глагольными конструкциями» («serial verbal constructions»), по мнению автора, не могут быть включены в их систему.

Д. Бендор-Самуэл (Ин-т лингвистики, Западная Африка) посвятил свой доклад проблемам анализа независимого предложения и частей сложного целого в языке бимоба.

Ч. Бэрд (Калифорнийский университет) в своем докладе затронул мало изученный вопрос о значении ударения в языке бамбара и указал на важную грамматическую и лексическую роль ударения, отметив, что сферой его действия является крупная единица, названная Бэрдом «фонологическое слово».

Ф. В. Парсонс (Лондон) в докладе «К трансформационной грамматике хауса» сделал попытку применить метод трансформационного анализа к языку хауса, полагая, что этот метод окажет неоценимую помощь в деле обучения языку, а также систематического изучения стилистики.

В секции фонологии и фонетики также обсуждался ряд докладов. Дж. Р. Апплегейт (Калифорнийский университет) в своем докладе о специфике кон-

сонантов в берберских языках выделил три типа слоговой артикуляции (фонетические корреляты «fortis», «lenis» и «emphatic» артикуляций) и, находя параллельные системы в других африканских языках, высказал предположение о возможности пересмотра вопроса о родстве между берберскими и чадо-хамитскими языками. По мнению К. Хоффмана (Ибаданский университет), выступившего с докладом «Опыт фонологического анализа языков хиджи», такой анализ этих малоисследованных языков, принадлежащих к чадо-хамитской группе, мог бы привести в дальнейшем к обобщению их практической орфографии.

Ряд докладов был посвящен вопросам морфологии, лексикографии и стилистики и обсуждался на соответствующих секциях. Отметим доклады Х. Нугуэ о глагольной системе в языке аданге и Р. Раулэнда о группах существительных в языке сисала.

В секции устной литературы обсуждались вопросы, связанные с устным творчеством преимущественно на языке йоруба; на заседании специальной секции разбиралась программа этнографического изучения народа фульфульде.

К. А. Рогова (Ленинград)

13—15 апреля 1965 г. в Челябинском педин-те проводилась межвузовская конференция преподавателей кафедр иностранных языков педин-тов Урала, Сибири и Дальнего Востока. В работе конференции участвовали также работники ряда вузов Европейской части РСФСР и Средней Азии.

Во вступительном слове проректор Челябинского педин-та по научной работе канд. ист. наук Л. Г. Ахумова отметила полезность обмена мнениями для лингвистов, работающих на обширной территории востока РСФСР.

Ряд докладов, заслушанных на конференции, был посвящен общезыковедческой проблематике и истории языка. Канд. филол. наук Р. Р. Каспранский (Уфа) в докладе «К вопросу о нормативных и системных изменениях в фонетике» говорил, в частности, о том, что основным источником фонетических изменений является избыточность языковой информации. Эта избыточность приводит к субъективной небрежности в нормах реализации фонем и их различительных признаков; в результате количественного накопления эта «небрежность» превращается в новую норму. Загрязняя систему, конкретная инновация вызывает последующую инновацию и далее возникает нечто подобное цепной реакции. В докладе канд. филол. наук В. М. Андриященко (Москва) «О модели автоматической дескриптивной грамматики текстов, относящихся к истории языка» была сформулирована задача сплошного лингвистического об-

следования немецких текстов XVI в. на базе модели грамматики, в основе которой лежат понятия минимальных и максимальных синтаксических единиц и процедур их выделения из текста. В частности, была предложена схема автоматизации этого процесса при помощи алгоритмов полного грамматического разбора текста. Докладчик подготовил инвентарь базисных моделей предложений ранненововерхнемецкого языка, количественно намного превосходящий уже известные списки такого рода. Канд. филол. наук С. Б. Эстулина (Ленинград) в докладе «„Спор о языке“ в Италии XIV в. и Дантова концепция языка и стиля» привела основания для новой датировки формирования итальянского литературного языка. Вопросам истории языка были посвящены также доклады канд. филол. наук Е. С. Смушкевича (Магнитогорск) «К истории формирования рефлексива в английском языке» и канд. филол. наук Л. В. Богаевой (Москва) «Из истории словообразования. Словопроизводство посредством суффикса -ee со значением липа — объекта действия».

Значительное число докладов было посвящено вопросам сравнительного и сопоставительного изучения германских и романских языков. Таковы доклады канд. филол. наук Я. Г. Биребаума (Магнитогорск) «Английские адъективные образования типа „существительное плюс прилагательное“ в сопоставлении с бурятскими», канд. филол. наук Б. М. Балдина (Челябинск) «Германский инфинитив в аспектологическом

плане», и. о. доцента Э. Х. Ротта (Челябинск) «Фразеологические сравнения немецкого, французского и русского языков», канд. филол. наук Ю. М. Скребнева (Уфа) «Об одном типе безглагольных предложений в некоторых германских и романских языках», канд. филол. наук Л. П. Зайцевой (Саратов) и М. С. Веденьковой (Челябинск). «К вопросу о синхронно-сопоставительном изучении родственных языков», канд. филол. наук Л. М. Ковалевой (Иркутск) «О путях сопоставительного изучения системы предлогов в родственных языках (на материале английского и немецкого языков)», М. Л. Рудника (Барнаул) «Структурное разграничение лексических значений слов, обозначающих „говорение“, в современном английском и современном русском языке в сопоставительном плане», Я. И. Гельблу (Уфа) «К вопросу об антонимах в русском и немецком языках», В. В. Захарова (Улан-Удэ) «Пассив и статив в современном немецком языке в сопоставлении с английским страдательным залогом» и канд. филол. наук А. Б. Горштейн (Краснодар) «К вопросу о системе грамматических форм будущего времени в русском и немецком языках».

В докладе Г. И. Богина (Уфа) «Сравнительно-типологические проблемы двуязычной лексикографии» была сделана попытка решить вопрос о технических приемлемом способе отражения в словарной статье национально-иностранного словаря основных моделей грамматической и лексической сочетаемости слов. Вопросы стилистически адекватного перевода слов в двуязычном словаре были затронуты в докладе Б. А. Князева (Челябинск) «К проблеме сопоставительного изучения стилистической структуры русского и английского языков».

Ряд докладов был посвящен вопросам стилистики. Таковы доклады канд. пед. наук С. Д. Береснева (Свердловск) «О стандартности речи и некоторых других понятий стилистики», В. М. Аврашина (Курган) «О стилевых чертах», канд. филол. наук И. А. Исенина (Иваново) «О первой сотне частотного словаря подязыка современной французской газеты», канд. филол. наук И. Н. Куделина (Ульяновск) «Некоторые замечания о числительных в немецких пословицах и поговорках». Вопросам лексикологии и стилистики были посвящены также доклады Н. А. Шехтама (Оренбург) «Частотность слова и частотность его семантических множителей» и Л. Б. Гарифуллина (Челябинск) «Аспектологические особенности немецкой фразеологии».

Вопросам словообразования были посвящены доклады канд. филол. наук М. И. Берлин (Минск) «К вопросу

о сокращениях», канд. филол. наук Е. М. Гойдо (Челябинск) «Суффиксальное образование существительных в итальянском и французском языках», Р. Л. Итенберг (Челябинск) «Производные существительные на *-ure (ature)* со значением предметности во французском языке сравнительно с итальянским».

Грамматические и лексико-стилистические характеристики отдельных частей речи в конкретных романских и германских языках рассматривались в докладах канд. филол. наук И. А. Мыльниковой (Челябинск) «Синонимика немецких предлогов при выражении временных соотношений», Я. И. Гельблу (Уфа) «О некоторых лексико-стилистических функциях числительных в немецком языке», З. И. Котовой (Шадринск) «К вопросу о категории числа существительных в английском языке», З. М. Моревой (Москва) «О выделении разрядов внутри категорий прилагательных» и в двух докладах М. Г. Полякова (Шадринск): «Общие признаки экспрессивных частиц в современном английском языке» и «К проблеме выделения модальных частиц в английском языке и мнимой модальности отрицательных частиц».

Различным вопросам синтаксиса романских и германских языков были посвящены доклады И. Г. Сапрыкиной (Уфа) «Конструкции с обособленным аппозитивом (полупредикативные аппозиционные структуры)», Л. С. Коренц и Т. (Свердловск) «Атрибутивные конструкции с поликомпонентным препозитивным определением в современной технической литературе», Е. А. Молчановой (Пермь) «Комплексация простого предложения при обратном порядке слов», Е. В. Трапезникова (Шадринск) «Конструкции с причастием II в немецком языке», канд. пед. наук Г. Н. Классена (Уфа) «К вопросу о коопъюнктиве в косвенной речи немецкого языка», П. Г. Карелина (Шадринск) «О синтаксических функциях прилагательных и причастий в немецком предложении», канд. филол. наук Л. М. Микина (Самарканд) «К типологической классификации вопросительных предложений».

На конференции работала также секция методики преподавания иностранных языков.

Многие доклады на пленарных и секционных заседаниях вызвали оживленные прения.

Совместно с конференцией была проведена сессия экспертной комиссии по иностранным языкам Уральского совета координации и планирования научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам. Конференция и экспертная комиссия приняли решение, предусматривающее улучшение координации пока

еще разрозненных исследований по романо-германской филологии в педагогических институтах, расположенных на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. В частности, на 1966—1967 гг. намечен ряд конференций в городах, где соответствующая тематика наиболее интенсивно разрабатывается коллективами

*

В Германской Демократической Республике издается много новых словарей. В 1952 г. Институт немецкого языка и литературы АН ГДР организовал группу ученых для составления пятитомного словаря произведений Маркса — Энгельса («Marx—Engels Wörterbuch»). Предполагается, что в словарь будет включено около 25 000 основных терминов и слов.

Вновь выпускается «Большой словарь немецкого языка» братьев Grimm. Как известно, братья Якоб и Вильгельм Grimm начали издавать большой словарь немецкого языка в 1851 г. Смерть прервала их работу. Словарь был выпущен до слова *Frucht*. После большого перерыва их работу стали продолжать другие языковеды. Составление словаря было закончено в 1960 г. Он был издан в объеме 32 томов. В конце 1963 г. отмечалось столетие со дня смерти Я. Гримма, в связи с чем Институт немецкого языка и литературы АН ГДР созвал пятидневную международную конференцию (на конференции, кроме лингвистов ГДР, присутствовали ученые Советского Союза, Англии, Швеции, Дании, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Чехословакии и Венгрии), на которой был обсужден вопрос о новом издании словаря братьев Grimm. Новое издание будет подготовлено на основе принципов современной лексикографии.

*

Факультет гуманитарных наук Республиканского университета в Монтевидео сообщает:

На I Конференции латиноамериканской ассоциации лингвистики и филологии, состоявшейся в г. Вилья-дель-Мар (Чили) в январе 1964 г. было принято решение созвать в Уругвае Латиноамериканский конгресс по случаю столетия со дня смерти выдающегося испано-американского филолога и грамматиста Андреаса Белью.

Позднее, в августе 1964 г., II Всеамериканский симпозиум по языкознанию и преподаванию языков, проходивший в Блумингтоне (Иллинойс, США), принял решение о том, чтобы III Всеамериканский симпозиум также был созван в Уругвае в ознаменование столетия со дня смерти А. Белью.

Лингвистический кружок Монтевидео на своем последнем общем собрании решил взять на себя организацию Объеди-

языковых кафедр и где, следовательно, целесообразно установить центры разработки тех или иных широких языковедческих тем. Были также приняты рекомендации по подготовке научных кадров в области романо-германской филологии для вузов востока РСФСР.

Г. И. Богин (Уфа)

будет включено больше фразеологии из диалектов, разговорной речи и литературы. В своем словаре братья Grimm избегали иностранных слов, в новое издание войдет много таких слов. Участники конференции одобрили принципы работы над новым изданием «Большого словаря немецкого языка» братьев Grimm.

В ГДР намечается издать «Словарь современного немецкого языка» («Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache»). Он будет выпущен в 5—6 томах, из которых пока подготовлены разделы первого тома на буквы *A, B, C* и часть на *D*. Подготавливается также «Словарь названий животных Германии» («Wörterbuch der deutschen Tiernamen»). Издается «Стилистический словарь» («Stilwörterbuch»).

Вышел в свет «Словарь немецкого произношения» («Wörterbuch der deutschen Aussprache»), в котором собрано 42 000 основных слов (Stichwörter), весь материал изложен на основах указаний ассоциации «Phonétique Internationale». Выпущен также словарь «Слова и обороты речи» («Wörter und Wendungen»), содержащий 8000 основных слов, употребляемых в повседневной речи, и 150 000 оборотов речи как примеров. Словарь очень полезен для иностранцев, изучающих немецкий язык.

А. Ю. Валашинас (Каунас)

непного конгресса латиноамериканской ассоциации лингвистики и филологии и Организации всеамериканской программы языкознания и преподавания языков. Конгресс состоится 4—13 января 1966 г. в Монтевидео под председательством Х. П. Рона.

Он будет одновременно II Латиноамериканским конгрессом лингвистики и филологии и III Всеамериканским симпозиумом по языкознанию и преподаванию языков.

Был принят следующий календарный порядок мероприятий, осуществляемых по случаю столетия со дня смерти А. Белью:

27 декабря 1965 г. — торжественное открытие цикла памятных мероприятий; 27 декабря 1965 г. — открытие двухмесячного Лингвистического института, в работе которого будут участвовать профессора из США, Латинской Америки и Европы и слушатели которого приедут из различных стран Западного полушария.

4 января 1966 г. — открытие объединенного конгресса двух названных ассоциаций, работа которого продолжится в течение 10 дней.

28 февраля 1966 г.— закрытие цикла мероприятий, посвященных памяти А. Бельо.

На конгрессе будут работать следующие секции:

А. Секции от Латиноамериканской ассоциации лингвистики и филологии:

1. Андрес Бельо и грамматическая теория.

2. Андрес Бельо и латиноамериканская литература.

3. Структурная и традиционная грамматика в преподавании языков.

4. Лингвистика в Латинской Америке и различные тенденции современного общего языкознания.

5. Исследование языков Америки как языков культуры.

6. Периодизация истории испано-американской литературы.

7. Общие и местные особенности в испанском языке Латинской Америки и в португальском языке Бразилии.

Б. Секции от Организации всеамериканской программы языкознания и преподавания языков:

8. Иностранные языки.

9. Национальные языки.

10. Языки индейцев.

11. Создание письменности.

12. Латиноамериканская лингвистика и диалектология.

13. Социолингвистика.

14. Вычислительная лингвистика.

15. Теоретическая и прикладная лингвистика.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Г. Ф. Б л а г о в а. Формы пассива, представленные в «Бабур-наме», и особенности их синтактико-стилевого использования [Отд. отт. из «Asian and African studies», I, 1965.— Bratislava].

Г. Б. Д ж а у к я н. Урартский и индоевропейские языки.— Ереван, 1963. 156 стр.; е г о ж е. Этапы развития армянского языка.— Ереван, 1964. 70 стр. (на арм. яз.); е г о ж е. Хайасский язык и его отношение к индоевропейским языкам.— Ереван, 1964. 96 стр.

Ю. О. Ж л у к т е н к о. Українсько-англійські міжмовні відносини. (Изд-во Киевского гос. ун-та), 1964. 168 стр.

А. М. К у р б а т о в. Словарный состав современного азербайджанского языка.— Баку, 1964. 24 стр.; е г о ж е. Лексикология азербайджанского языка.— Баку, 1964. 39 стр.

Г. А. М е п о в щ и к о в. Язык сиренических эскимосов.— М.—Л., 1964. 219 стр. Български диалектен атлас I. Югоизточна България. Съст. под ръковод. на Ст. Стойков и С. Б. Бернщейн. Часть втора. Статии. Коментари. Показалци.— София, 1964. [207 стр. + карты].

Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. VII.— Нови Сад, 1962—1963. 278 стр.

Československá rusistika. X, 1, 2.— 1965. Стр. 1—129.

Jezyk polski. XLIV, 5.— 1964. Стр. 257—312.

Journal of linguistics, I, 1.— Cambridge University Press, Great Britain, 1965. Стр. 1—96.

Onomastica slavogermanica. I [«Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig», Philol.-hist. Klasse, 58, 1].— Berlin, Akademie — Verlag, 1965.

Revista de psihologie. X, 1—4.— 1964. Стр. 1—367.

Revue roumaine de linguistique. IX, 4—6.— 1964. Стр. 483—706.

Slavia orientalis. XIII, 3, 4.— 1964. Стр. 223—480.

Slavia orientalis. XIV, 1.— 1965. Стр. 1—140.

Slovo a slovesnost. XXVI, 1.— 1965. Стр. 1—100.

Språkliga bidrag. Meddelanden från seminarierna för slaviska språk, jämförande språkforskning, finsk-ugriska språk och östasiatiska språk vid Lunds Universitet. IV, 19.— 1964. 152 [ротанпринт].

Travaux linguistiques de Prague. 1.— Prague, 1964. 300 стр.

Zpravodaj mistopisné komise CSAV, V, 4, 5.— 1964. Стр. 197—345.

Б. В и д о е с к и. Кумановскиот говор.— Скопје, 1962. 349 стр.

N. С h o m s k y. Current issues in linguistic theory.— The Hague, 1964. 120 стр.

D. C r u s t a l and R. Q u i r k. Systems of prosodic and paralinguistic features in English.— The Hague, 1964. 94 стр.

J. Ď u r o v i č. Paradigmatika spisovnej ruštiny.— Bratislava, 1964. 313 стр.

H. G i p p e r, H. S c h w a r z. Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltforschung. Schrifttum zur Sprachinhaltforschung in alphabetischer Folge nach Verfassern mit Besprechungen und Inhaltshinweisen. Lief. 6. (Gipper — Gulkowitsch). — Köln — Opladen [1962]. Стр. 641—768.

E. G r u b a ě i ě. Untersuchungen zur Frage der Wortstellung in der Deutschen Prosadichtung der letzten Jahrzehnte. — Zagreb, 1965. 144 стр.

M. J o o s. The English verb. Form and meanings. — Madison-Milwaukee, 1964. 251 стр.

A. J u i l l a n d, E. C h a n g - R o d r i g u e z. Frequency dictionary of Spanish words («The Romance languages and their structures», directed by A. Juilland, First series S I). — The Hague, 1964. 500 стр.

W. A. K o c h. A generative model of language and the typology of languages. [Отд. отт. из «Orbis», XIII, 1, 1964]; е г о ж е. Einige Gedanken zur linguistisch-strukturellen Literaturbetrachtung. [Отд. отт. из «Orbis», XIII, 1, 1964]; е г о ж е. Filosofía, psicología y signo lingüístico. [Отд. отт. из «Archivum», XIII, 1963. Universidad de Oviedo]; е г о ж е. On the principles of stylistics. [Отд. отт. из «Lingua», XII, 4, 1963]; е г о ж е. Zur Homonomie und Synonymie. [Отд. отт. из «Acta linguist. Hung.», XIII, 1—2, 1963].

J. O n d r á ě k o v á. Rentgenologický výzkum českých vokálů. — Praha, 1964. 189 стр.

J. O r n s t e i n, W. W. G a g e. The ABC's of languages and linguistics. — Philadelphia and New York, 1964. 206 стр.

N. R e i t e r. Der Dialekt von Titov — Veles. — Berlin, 1964. 297 стр.

H. S c h e l e s n i k e r. Beiträge zur historischen Kasusentwicklung des Slavischen. («Wiener slavistisches Jahrbuch», Ergänzungsband V). — Graz — Köln, 1964. 76 стр.

Исправления в журнале «Вопросы языкознания»

№ 2, 1965 г.

На стр. 46 (статья Т. М. Лайтнера) строки 3—4 снизу следует читать: E. S. K l i m a, Verb phrase structure in Russian, подготавливается для публикации в «Quarterly progress report» [Research laboratory of electronics. MIT].

На стр. 53 строки 23—22 снизу следует читать: (1^а) Перед неокругленным гласным, за которым следует округленный, следует вставить *j*.

№ 3, 1965 г.

На стр. 62 (статья Ю. В. Рождественского) строки 8—14 сверху всюду следует читать знак η . На строке 10 сверху следует читать: *ġaġ* «сума».

На стр. 70 (статья А. Н. Колмогорова) схема (2) должна иметь вид

$0/1 - 1/2 - 1/4 - 1/2$.

Схемы (1) и (2) должны описывать закономерности, действующие б е з и с к л ю ч е н и й. Из-за наличия стиха

откуда, мол

и что это за ...

в такого рода схеме ч е т н ы х стихов третья доля должна быть обозначена знаком —, а не знаком '.

Автор статьи очень сожалеет, что при обработке рукописи для печати знак — перекочевал из схем (4) и (6) в схему (2).

CONTENTS

Articles: E. A. Makajev (Moscow). Problems and methods of modern Indo-European linguistics; B. A. Serebrennikov (Moscow). Some ways of reconstruction of archaic traits in grammar; **Discussions:** V. K. Z ur a v l e v (Minsk). Genesis of prothetic consonants in Slavonic languages; V. I. L y t k i n (Moscow). On the origin of the Russian akanje; N. Z. K o t e l o v a (Leningrad). On the use of objective and exact criteria for the description of possible word-combinations; O. M. B a r s o v a (Moscow). Principal problems of transformational syntax; **Materials and notes:** S. B. B r o m l e y, L. N. B u l a t o v a (Moscow). On the standard for the comparative description of morphology in Russian dialects; V. A. M o s k o v i č (Moscow). An experiment of quantitative typology of the semantic field; I. A. M e l č u k (Moscow). On the phonological treatment of «semi-vowels» in Spanish; Z. P. S t e p a n o v a (Moscow). Linguistic area of *-e*-verbs in Indo-European languages; **Letters to the editorial-office:** L. F. P i č u r i n (Tomsk). On the use of mathematical methods in linguistics; **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: E. A. Makajev (Moscou). Problèmes et méthodes de la linguistique indo-européenne moderne; B. A. Serebrennikov (Moscou). Quelques méthodes pour la reconstruction des traits archaïques en grammaire; **Discussions:** V. K. Ž u r a v l e v (Minsk). Genèse des consonnes prothétiques dans les langues slaves; V. I. L y t k i n (Moscou). Sur l'origine de l'akanje en russe; N. Z. K o t e l o v a (Léningrad). L'application des critères objectives et exactes pour la description des combinaisons de mots possibles en russe; O. M. B a r s o v a (Moscou). Problèmes principaux de syntaxe transformationnelle; **Matériaux et notices:** S. B. B r o m l e y, L. N. B u l a t o v a (Moscou). Sur l'étalon pour la description comparée de morphologie des dialectes russes; V. A. M o s k o v i č (Moscou). Essai de typologie quantitative du champ sémantique; I. A. M e l č u k (Moscou). Sur le traitement phonologique de «semi-voyelles» en espagnol; Z. P. S t e p a n o v a (Moscou). Aréal linguistique des verbes en *-e* dans les langues indo-européennes; **Lettres à la rédaction:** L. F. P i č u r i n (Tomsk). Sur l'application des méthodes mathématiques en linguistique; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

SUBSCRIPTION FOR THIS JOURNAL IS ACCEPTED BY FIRMS DOING BUSINESS WITH V/O «MEZHDUNARODNAJA KNIGA».

Технический редактор Г. П. Фролова

Т-0931, Подписано к печати 5/VI — 1965 г. Тираж 5525 экз.
Формат бумаги 70×108 $\frac{1}{2}$. Печ. л. 14,7 Бум. л. 5 $\frac{1}{2}$

Зак. 2470

Уч.-изд. листов 16,5

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Азманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев,*
М. В. Панов, В. Э. Панфилов, И. И. Резвиц, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебрянников, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*